

Михаил ДАВЫДОВ



Оппозиция его Величества

*Герои великих сражений начала XIX в.,
они сумели сохранить себя и свое достоинство
и в дни мира, когда жизнь поставила
перед ними непростой выбор.*



МИХАИЛ ДАВЫДОВ

ОППОЗИЦИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА



МИХАИЛ ДАВЫДОВ

ОППОЗИЦИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Москва

ЗебраЕ

2005

УДК 94(47)(092)

ББК 63.3(2)51-8

Д13

Серия «Историческая библиотека» основана в 2001 году

Художественное оформление А. Зарубина

Подписано в печать 11.03.05. Формат 84×108^{1/32}.
Усл. печ. л. 18,48. Тираж 3000 экз. Заказ № 622.

Давыдов, М.А.

Д13 Оппозиция его Величества / Михаил Давыдов. — М.: Зебра Е, 2005. — 350 [2] с. — (Историческая библиотека).

ISBN 5-94663-197-7

Эта книга о генералах 1812 г. — М.С. Воронцове, Д.В. Давыдове, А.П. Ермолаеве, А.А. Закревском, П.Д. Киселеве и И.В. Сабанееве, о шести друзьях, принадлежащих к лучшим русским людям своего времени. Герои великих сражений начала 19 в., они сумели сохранить себя и свое достоинство и в дни мира, когда жизнь поставила перед ними непростой выбор. Судьбы героев книги, людей отважных, благородных и искренних, не оставят равнодушными любителей истории и в наши дни.

Сip РГБ

УДК 94(47)(092)

ББК 63.3(2)51-8

© Давыдов А., 2005

© Зарубин А., оформление, 2005

© Издательский Дом «Зебра Е», 2005

ISBN 5-94663-197-7

Содержание

Введение	7
Из послужных списков	13
Государь или Отечество?	31
«Правила»	48
После войны	69
Закревский в Петербурге	74
Воронцов во Франции	81
Ермолов на Кавказе — I	98
Сабанеев в Бессарабии	107
Киселев на Украине	119
Ермолов на Кавказе — II	129
«Смирись, Кавказ»?	138
«Бредни препорядочные»	153
«Ужаснейшие последствия» «речи прекрасной»	163
О вреде модных мыслей	171
Ермолов в Персии	181
Нужны ли России реформы?	197

Слепой на скале	211
Немного о консерватизме правящих классов и российских в особенности	226
«Конституционные прения»	233
«Чего хотят сии злодеи?»	242
Мирный бунт	247
Идеал	262
«Самое трудное ремесло»	270
«Мятеж не может кончиться удачей...»	301
Похмелье на чужом пиру	310
«История прославит наше время...»	315
«Порядок дел в нашем государстве никогда не улучшится»	320
«Кто же может угодить?»	328
«Оппозиция его величества»	335
Примечания	345

Введение

В последние годы все отчетливее вырисовывается истинное значение второй половины царствования Александра I, 1815—1825 гг. Историографическая ситуация такова, что это вечно привлекательное время для нас тесно связано с противостоянием декабристов и Аракчеева, т. е. революции и реакции. Промежуток, условно говоря, между ними так мал, что в нем с трудом «умещаются» Карамзин, Пушкин, Вяземский и еще несколько самых видных фигур, которым как бы «разрешено» автономное существование. Неясно, правда, где находятся и что делают в это время 100 тысяч русских дворян. О них не то, чтобы забывают, просто считается, что Противоборство (во многом мнимое!) как бы в основном исчерпывает содержание эпохи. Между тем оно — лишь часть ее.

Это было время, когда после победы над Наполеоном происходит переосмысление роли и значения России в мировой истории, когда формируются и утверждаются некоторые важные стереотипы мышления российского дворянства и бюрократии, в измененном виде дожившие до наших дней.

Это было время практически последнего серьезного приступа самодержавия к глобальным преобразо-

ваниям вплоть до эпохи Великих реформ. В высшей степени показательно, что проблемы освобождения крестьян и коренных преобразований государственного строя России подняли не будущие декабристы, а сам император Александр I.

Вероятно, рассмотрение эпохи традиционным путем — «через» революционеров — во многом исчерпало себя. Нужны новые ракурсы анализа, новые подходы.

Как известно, Александр I неоднократно говорил, что одним из основных препятствий на пути реформ в России является то, что преобразования «некем взять», у него нет единомышленников и помощников. Когда в 1814 г. Г.Р.Державин поздравлял императора с победой, тот отвечал ему: «Да, Гаврила Романович, мне Господь помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние, но людей нет». «Они есть, Ваше Величество,.. их искать надобно», — ответил Державин.

Кто был прав — царь или сановник-поэт?

Имелись ли в элите бюрократии того времени люди, на которых Александр I мог бы опереться при проведении реформ?

Предлагаемая книга — попытка ответа на этот вопрос. В центре повествования — генералы М.С.Воронцов, Д.В.Давыдов, А.П.Ермолов, А.А.Закревский, П.Д.Киселев, И.В.Сабанеев, относившиеся к числу наиболее ярких представителей недекабристской и не-аракчеевской России, к числу тех, кто как бы «несет» эпоху, как опоры несут мост. Прославленные участники великих войн начала XIX в., любимцы армии, они входили в элиту русского общества 1-й половины XIX в. не только по чинам и положению, но и по тому нрав-

ственному влиянию, которое они (конечно, в разной степени) оказывали на подчиненных, а Воронцов и Ермолов — на общество в целом. Их с полным правом можно отнести к лучшим людям той эпохи. Взгляды этих людей, полагая, в концентрированном виде отражали позицию весьма широкого круга их современников, принадлежавших к новой генерации русского дворянства, появившейся после «Манифеста» 18 февраля 1762 г. и воспринявшей и развившей все лучшее, что было в поколении их отцов, — поколении Суворова, Щербатова, Потемкина, Орловых и др.

Неформальная группа, которую образовывали наши герои, позволяет судить о двух тенденциях, противоборствовавших в имперской просвещенной бюрократии: консервативной и либеральной. Ермолов и его друзья прекрасно видели все пороки существующей системы, причем тем яснее, что принадлежали к высшему эшелону ее властных структур. И тем не менее, единые в неприятии как «мечтаний» декабристов, так и аракчеевщины, они по-разному видели пути развития страны. Анализируя их воззрения по важнейшим проблемам современности, можно определить причины неприятия российским дворянством реформаторских замыслов Александра I. Кстати, и декабристы, возможно, станут нам понятнее, ведь познание необычного требует уяснения порога обыденности. Всегда важно определить, насколько, условно говоря, факт жительства Диогена в пифосе отражал стремление если не греческих философов, то, по крайней мере, жителей Синопы к минимуму житейских удобств.

Книга имеет следующую структуру. После кратких биографических справок о наших героях рассматриваются некоторые важные составляющие их мировоззре-

ния — отношение к императору, к службе и то, что в исследуемую эпоху называлось «правилами», т. е. компоненты самоидентификации людей их круга. Затем следует обзор их служебной деятельности, анализ восприятия ими главных событий и проблем эпохи: военных поселений, образования Царства Польского, проблемы конституции и освобождения крестьян, шире — реформ в России вообще; Семеновской истории 1820 г. и, в связи с ней, наиболее острых вопросов армейской жизни. Предпринимается попытка наметить характерные черты рокового разрыва между верховной властью и лучшей частью русского общества, который будет прогрессировать в течение следующего столетия и который будет иметь катастрофические последствия для страны.

* * *

Эта работа построена в основном на письмах ее героев друг другу за 1815—1825 гг. Главная часть используемой переписки опубликована зятем Закревского кн. Д.В. Друцким-Соколинским в 73 и 78 томах сборника Русского исторического общества и П.Б.Бартечевым в 36, 37 и 39 томах «Архива князя Воронцова»^{1*}. Общее число писем за этот период превышает 400, причем более половины их адресовано Закревскому.

Переписка обладает, по-меньшей мере, двумя достоинствами. Во-первых, она весьма откровенна, в чем нетрудно будет убедиться ниже. «Я буду писать

* См. примечание на стр. 354 и далее

также и по почте ... разумеется не на крепком бульоне»² — так обозначил в 1822 г. Давыдов проблему достоверности и репрезентативности эпистолярных источников для того времени. В стране, где перлюстрировались письма членов императорской фамилии, способ доставки корреспонденции прямо определял содержание переписки. И хотя, как и в XVIII в., корреспонденты просили (и обещали) сжигать даже «верные» письма, к счастью для историков просьбы исполнялись не чаще обещаний, т. е. нередко не исполнялись вовсе. Наши герои имели уникальную возможность писать все, что вздумается. Должность дежурного генерала Главного штаба, занимаемая Закревским, позволяла ему и его друзьям вести переписку через фельдъегерей, развозивших служебную корреспонденцию, которые были не только самыми быстрыми, но и самыми надежными почтальонами. Второе достоинство этой переписки — то, что это комплексы писем за ряд лет. Понятно, что их анализ дает возможность куда точнее судить о колебаниях настроения корреспондентов, чем отдельные случайные письма. Здесь соотношение примерно такое же, как между археологическим комплексом и находками из отвала.

Переписка — не только исторический, но и литературный памятник эпохи, сохраняющий ее аромат, который невозможно передать никаким пересказом. Читатели, надеюсь, оценят прекрасный русский язык, которым написаны письма, язык старших современников Пушкина и Грибоедова, сумеют отдать должное яркой индивидуальности человеческой талантливости, классу мышления этих людей, уровню их остроумия. Чем заполнена переписка военных людей?

Служебными новостями, новостями о друзьях и знакомых всех категорий, сообщениями о себе и мнениями об окружающей действительности. И постепенно из писем вырастает Эпоха — с проблемами, которые время разжаловало в пустяки, и мелочами, произведенными в проблемы, с радостной самоуверенностью незнания и тревогой вещей предчувствий.

Из послужных списков

Меня хвалили цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили... Я бывал при дворе, но не придворным.

А. В. Суворов

Жизнь каждого человека, как известно, стоит романа. Поэтому нелепо претендовать на то, чтобы в нескольких строках сколь-нибудь полно охарактеризовать людей, заслуживающих целой библиотеки. Мы и не претендуем, однако полагаем необходимым в самых общих чертах обрисовать их жизненный путь.

Михаил Семенович Воронцов (1782—1856), граф, с 1845 г.— светлейший князь, фельдмаршал.

Судьба благоволила к нему при жизни больше, чем к другим, с внешней стороны, конечно, и он как будто расплачивается после смерти за это. Главную роль в этом, разумеется, сыграли его злосчастные отношения с Пушкиным. Однако достаточно беглого взгляда на жизненный путь М.С.Воронцова, чтобы убедиться в том, что он не «умещается» в хлесткую эпиграмму, по которой он преимущественно и известен.

По рождению Михаил Семенович принадлежал к элите русского дворянства. Канцлер империи в 1802—1804 гг. А.Р.Воронцов был его родным дядей, знаменитая княгиня Е.Р.Дашкова — родной теткой. Его

отец — граф Семен Романович — одна из виднейших фигур русской истории конца XVIII — начала XIX в. В течение многих лет был послом России в Англии и снискал дружное уважение всей Европы. Михаил Семенович получил образование в Англии — и образование блестящее. Вообще англофильство было семейной чертой Воронцовых (отсюда — «полумилорд»).

Военную службу он начал в 1803 г. на Кавказе. Быстро заслужил Георгия и Владимира 4-ой степени за храбрость и распорядительность. Дебют его как офицера весьма показателен. Подобно другим отпрыскам знаменитых фамилий, Воронцов уже в 18 лет был камергером, т. е. имел чин IV класса по Табели о рангах. В таких случаях юные вельможи, переходя в военную службу, нередко становились сразу же генерал-майорами, а камер-юнкеры — полковниками. Так начинал службу, например, И.В.Васильчиков. Однако Воронцов не пожелал воспользоваться этой привилегией (отмена ее Сперанским в 1809 г. была одной из важных причин ненависти к нему сановного Петербурга). При содействии дяди-канцлера двадцатилетний камергер отправился «по протекции» воевать на Кавказ в чине поручика. В 1805—1807 гг. он участвовал в кампаниях против Франции, в 1806 г. стал полковником. В 1809—1811 гг. во главе Нарвского полка Воронцов воевал против турок. Характерно, что именно под его командованием Нарвский полк получил Георгиевские знамена. В Молдавии Михаил Семенович стал генерал-майором.

Отечественную войну Воронцов встретил, командуя Сводно-Гренадерской дивизией, что считалось более почетным, чем командование обычной пехотной дивизией. В составе 2-ой армии кн. П.И.Баграти-

она он сражался при Мире, Романове, Дашковке и у Смоленска. При Бородине дивизия обороняла Багра-тионовы флеши, на которые пришелся главный удар Наполеона. К 12 часам дня из четырех тысяч человек в живых едва ли оставалось четыреста (по другим дан-ным — триста). Воронцов сам водил гренадер в шты-ки и был тяжело ранен в рукопашной. Когда его при-везли в Москву, он увидел 200 подвод, на которые было погружено имущество их московского дома. Тогда Михаил Семенович сделал то, что Л.Н.Толстой «зас-тавил» сделать Ростовых в «Войне и мире» — ценнос-ти были брошены, а на телеги погрузили раненых. До конца войны более 300 солдат и примерно 50 офице-ров и генералов лечились во владимирском имении Воронцовых за счет хозяина. В своих кратких воспо-минаниях Михаил Семенович лаконично пишет об этом: «Значительное количество моих друзей и това-рищей по несчастью согласились поехать со мной».

С осени 1812 г. Воронцов снова в строю. В загра-ничном походе он особенно отличился в сражении при Краоне в 1814 г., где в течение целого дня сам Наполе-он, причем во главе превосходящих сил, не смог сло-мить его сопротивления. Михаил Семенович лично командовал огнем пехоты и артиллерии, бивших по врагу с дистанции 200—400 м, и, как всегда, служил образцом редкого мужества и хладнокровия. Отступил он только по приказу и в полном порядке. Наградой ему был Георгиевский орден 2-й степени.

Разумеется, в довольно быстром продвижении 32-летнего генерал-лейтенанта проще всего искать следы могущества фамилии. Но это не так: как мы убе-димся ниже, карьера Михаила Семеновича не пред-ставляла собой чего-то необычного для того времени.

В любом случае Воронцов был вполне достоин заслуженных им почестей. Не случайно, даже не любивший его Ф.Ф.Вигель говорил, что он и Ермолов были кумирами русской армии новейшего времени, хотя им и не суждена была роль Суворова и Потемкина.

В 1815—1818 гг. Воронцов командовал русским оккупационным корпусом во Франции, в 1820 г. стал командовать III корпусом. С 1823 по 1844 г. он был новороссийским генерал-губернатором и на этом посту сделал очень много для благоустройства громадного края, расширения торговли через южные порты, развития земледелия, виноделия, лесоводства, строительства новых дорог и т. д. В том же направлении он действовал, став наместником Кавказа (1844—1854).

Не хочется разбирать однообразные упреки пушкинистов в адрес Воронцова. Полагаю, у читателей будет возможность убедиться в том, что его образ никак не укладывается в рамки одесских историй с обожателями его жены.

Денис Васильевич Давыдов (1784—1839), генерал-лейтенант.

Это имя не нуждается в рекомендациях. Посмертная слава Давыдова, намного превосходит прижизненную, что с генералами бывает нечасто. Увы, далеко не всегда расхожее представление о нем соответствует действительности. Нелегко разрушить стереотип, на создание которого он положил всю жизнь и который благополучно продолжает довлеть над нами: партизан верхом на Пегасе, крытом попоной Ахтырского гусарского полка. Конечно, всякая маска рано или поздно с большим или меньшим успехом прирастает к лицу.

Было все, о чем писал Давыдов в своих «гусарских» стихах — кутежи, проказы и т. п. Но было не только, а большей частью и не столько это. Был человек, которому пришлось больше страдать, чем радоваться. Был герой, чье геройство не хотели замечать. Был офицер, много раз обойденный по службе. Был один из способнейших генералов русской армии, которому не дали применить свои таланты даже на треть. Был отвергнутый жених, скромный и застенчивый человек, всю жизнь страдавший из-за своей неказистой внешности. И который при этом веселился и даже сумел убедить почти всех в том, что он едва ли не главный кутила русского воинства. Сам себя он, правда, ощущал как «самую поэтическую фигуру» последнего. И был не очень далек от истины.

Условно говоря, Давыдов, осознав, что не может стать призером ни в одном из узаконенных тогда «видов спорта», изобрел свой собственный и стал в нем чемпионом.

Денис Васильевич, как известно, принадлежал к семье, оставившей заметный след в русской истории этого периода. Его двоюродными братьями, в частности, были А.П.Ермолов и В.Л.Давыдов, известный член Южного общества; Н.Н.Раевский и А.М.Каховский находились в свойстве с кланом Давыдовых. Давыдов поступил в Кавалергардский полк в 1801 г. Однако первую громкую славу он снискал отнюдь не на бранном поприще. В 1804 г. он был уже известен как автор вольнодумных басен «Река и Зеркало», «Голова и Ноги», которые в списках ходили по всей России. В сентябре того же года он был выписан из гвардии в Белорусский гусарский полк. Долго считалось, что причиной этого был гнев царя на сочинителя. В.Э.Вацуро отмечает, что

пока неизвестны конкретные обстоятельства высылки Дениса Васильевича из Петербурга. Можно полагать, однако, что, скорее всего, непосредственным поводом послужило нарушение Давыдовым дисциплины*, что, впрочем, не отменяет значимости царской немилости. Реабилитировать себя в глазах императора он так и не смог.

«Гусарские» стихи, написанные Д.В. в 1804—1805 гг. принесли ему еще большую известность. На них без преувеличения выросло не одно поколение русских офицеров.

В 1806 г. ему удалось вернуться в гвардию, но воевать он начал только в следующем году в качестве адъютанта кн. П.И.Багратиона. Давыдов принимал активное участие в кампании 1807 г., в русско-шведской войне 1808—1809 гг. и русско-турецкой войне 1806—1812 гг. Несмотря на многократно отмечавшуюся Багратионом храбрость, награды он получал с большим трудом, ибо его репутацию в глазах царя никто и ничто не могло поколебать.

1812 год был, как считал сам Давыдов, главным в его жизни. Инициатор партизанского движения, он уже этим заслужил место в первом ряду героев Отече-

* «Поручик Давыдов 2-й за отлучку бывши дежурным, по представлению полковника Давыдова 1-го за нерадение о части ему порученной (взвод) и, наконец, за дерзость оказанную им полковнику Давыдову когда он его хотел арестовать — за неотдачу шпаги — арестуется на две недели с замечанием, что хотя поступок, особливо последний, заслуживает гораздо строжайшего сего штрафа, но сие делается во уважение молодых его лет и что впредь не осмеливаться против начальства ничего противного закону делать, чем избавит себя от несчастья». — Выписка из приказа по Кавалергардскому полку 1804 г. от 3 сентября. (РГВИА, ф.3545, оп.1, д. 174, л. 16.) Выражаю глубокую благодарность С.А.Малышкину за сообщение этого факта.

ственной войны. В заграничном походе он прославился, в частности, взятием Дрездена. Войну он закончил генерал-майором. Однако в 1815 г. выяснилось, что его произвели в генералы «по ошибке», и носимые уже год генеральские эполеты были с него сняты. Только в 1816 г. он стал «настоящим» генералом. В 1818—1819 гг. Денис Васильевич был начальником штаба корпуса, а затем вышел в отставку, периодически возвращаясь на службу. В 1826 г. участвовал в русско-персидской войне, в 1831 г. — в польской кампании, за которую получил чин генерал-лейтенанта. Последние годы его жизни были посвящены литературным и историческим трудам.

Алексей Петрович Ермолов (1777—1861), генерал от инфантерии.

Знаменитый «Проконсул» Кавказа начал службу 15-ти лет от роду, а через два года, в 1794 г., артиллерийским капитаном принял участие в штурме Суворовым Праги, предместья Варшавы, за что был награжден Георгием 4-й степени. В 1795 г. Алексей Петрович был отправлен в служебную командировку в Италию, где воевал в составе австрийской армии с французами. В 1796 г. он участвовал в Персидском походе гр. Валериана Зубова и был награжден орденом св.Владимира 4-й степени с бантом. Ермолов сам признавал, что начал службу при «сильном покровительстве» — его отец был правителем канцелярии влиятельного гр. Самойлова. Однако с воцарением Павла судьба Ермолова резко изменилась. За участие в так называемом Смоленском заговоре против императора его единоутробный брат А.М.Каховский, любимец Суворова, попал в Ди-

намюндскую крепость, а Ермолов — в ссылку в Кострому.

После переворота 11 марта 1801 г. Алексей Петрович был возвращен на службу и стал командовать конно-артиллерийской ротой. В 1805 г. произошло знаменитое столкновение его с Аракчеевым. Д.В.Давыдов излагает события так. Во время смотра ермоловской роты Аракчеев все время придирался к нему и, наконец, заметив якобы беспорядок в расположении орудий, спросил: «Так ли поставлены орудия на случай наступления неприятеля?». Ермолов отвечал: «Я имел лишь в виду показать вашему сиятельству, как выдержаны лошади мои, которые крайне утомлены». «Хорошо, — отвечал граф, — содержание лошадей в артиллерии весьма важно». Это вызвало резкий ответ Ермолова в присутствии многих зрителей: «Жаль, ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов». Эти слова заставили взбешенного Аракчеева поспешно возвратиться в город.

Понятно, что с этих пор строптивый подполковник находился под особым наблюдением могущественного временщика. Ермолов сражался при Аустерлице. Он был одним из героев кампании 1806—1807 гг., в которой командовал артиллерией авангарда кн. Багратиона и заслужил репутацию лучшего артиллериста в России, а также похвалы М.И.Кутузова, цесаревича Константина Павловича и, конечно, самого Багратиона. Однако его откровенно обходили наградами и производством.

В 1808 г. в его отношениях с Аракчеевым произошел перелом, который объясняется исследователями по-разному. Во всяком случае, тот сменил гнев на милость. Ермолову вернули старшинство в чине, произ-

вели в генерал-майоры, но притом он не участвовал ни в русско-шведской, ни в русско-турецкой войнах, несмотря на неоднократные просьбы отправить его в действующую армию. В 1810 г. по личному настоянию Александра I Алексей Петрович принял командование сначала гвардейской артиллерийской бригадой, а в начале 1812 г. — гвардейской пехотной дивизией. Время было горячее, и император искал людей.

В июле 1812 г. Ермолов неожиданно был назначен начальником штаба 1-й Западной армии Барклая де Толли. Роль Алексея Петровича в событиях 1812 г. велика и в полной мере еще не оценена. Он отличился в сражениях при Валутиной горе, на Бородинском поле, где сумел отбить у врага батарею Раевского, лично возглавив штыковую атаку. При Малоярославце он сдерживал атаки неприятеля до подхода главных сил, в результате чего Наполеон не смог пробиться к Калуге.

В заграничном походе Ермолов, командуя гвардейской пехотной дивизией, принял после ранения гр. Остермана-Толстого начальство над русскими войсками при Кульме и одержал чрезвычайно важную победу над превосходящими силами французов. В Париж он вступил во главе всей русской гвардии, причем на заключительном этапе войны ему подчинялась и прусская гвардия. Интересно, что Ермолов — автор манифеста о вступлении русской армии в Париж.

После войны Ермолов получил давно желаемое назначение — должность командира Отдельного Грузинского (позднее Кавказского) корпуса. За успешное завершение посольства в Персию в 1818 г. ему было присвоено звание полного генерала. Как известно, кавказский период его деятельности оценивается, мяг-

ко говоря, неоднозначно. Жестокость, с которой Ермолов устанавливал там российское владычество, давно стала сакраментальной. Она резко диссонировала с его устоявшейся репутацией вольнодумца и вызывала к нему ненависть не только со стороны горцев, но и таких людей, как, например Л.Н.Толстой.

Отставка Алексея Петровича в 1827 г. была предрешена еще в декабре 1825 г. Николай I не верил ему и боялся его. В 1832 г. Ермолов вернулся на службу — поступок, по мнению горячо любившего его Д.В.Давыдова, «вполне непростительный». С 1839 г. Ермолов окончательно отошел от активной деятельности. Популярность его в николаевское время достигла апогея. Во время Крымской войны московское (и не только московское) дворянство в пику императору избрало его предводителем ополчения своей губернии.

Арсений Андреевич Закревский (1786—1865), с 1828 г. граф, генерал от инфантерии.

Закревский в 1802 г. закончил Гродненский кадетский корпус, принимал участие в кампаниях 1805—1807 гг. Своей храбростью он обратил на себя внимание Н.М.Каменского-младшего (сына фельдмаршала М.Ф.Каменского), который взял его в адъютанты и одновременно начальником канцелярии (с русско-шведской войны 1808—1809 гг.) Во время русско-турецкой войны 1806—1812 гг. Закревский отличился в нескольких сражениях, был произведен в майоры, награжден золотым оружием за храбрость, Георгиевским орденом 4-й степени. После смерти Каменского Арсений Андреевич стал адъютантом Барклая де Толли, тогдашнего военного министра. В конце января

1812 г. был произведен в подполковники, а через 2 недели — в полковники и вскоре назначен директором Особенной канцелярии при военном министре, т. е. главой русской разведки. Он активно участвовал в сражениях 1812 г., включая Бородинское. В декабре 1812 г. Александр I сделал его своим флигель-адъютантом. Уже в следующем году Закревский был произведен в генералы, а затем стал генерал-адъютантом.

Эта поистине блистательная карьера выглядит тем удивительнее, что Арсений Андреевич был человеком, не имевшим абсолютно никаких связей при дворе или около двора. В 1815 г. он стал дежурным генералом Главного штаба русской армии, в становлении и формировании которого ему принадлежит очень важная роль. Эта должность была видной и ответственной: ему подчинялись инспекторский департамент, т. е. «отдел кадров» русской армии, и аудиториат, ее военно-судная часть. Фактически он управлял делами штаба во время постоянных разъездов его начальника, кн. П.М.Волконского. После отставки последнего в 1823 г. Закревский стал генерал-губернатором Финляндии и командиром Отдельного Финляндского корпуса. Участвовал в суде над декабристами.

В 1828 г. Николай I назначил его министром внутренних дел. На этом посту Закревский пробыл до 1831 г., когда был уволен из-за провала полицейских мер, которыми он пытался остановить эпидемию холеры. Кстати, именно ему мы в определенной степени «обязаны» «Болдинской осенью» — это он не пустил Пушкина в Москву. Полагаю, немалое значение в его отставке, видимо, имело и то, что он определенно не сработался с А.Х.Бенкендорфом. В 1848—1859 гг. Арсений Андреевич был московским генерал-губер-

натором. На этом посту он яростно преследовал все, что принимал за либерализм. Герцен писал его имя с маленькой буквы. Отставка Закревского была воспринята всеми как один из важных симптомов перемен, начавшейся после Крымской войны «оттепели».

Павел Дмитриевич Киселев (1788—1872), с 1839 г. граф, генерал от инфантерии.

П.Д. Киселев известен не столько как военный, сколько как государственный деятель. С его именем связана знаменитая реформа, касавшаяся положения государственных крестьян, которая так и называется — реформа Киселева.

Службу Киселев начал в 1805 г. «архивным юношей», т. е. юнкером коллегии иностранных дел при Московском архиве. В 1807 г. он поступил в Кавалергардский полк, принимая участие в кампании 1807 г., в Отечественной войне и заграничном походе. В 1812 г. он был адъютантом Милорадовича и весьма рано обратил на себя внимание Александра I, сделавшего его флигель-, а затем и генерал-адъютантом. Сравнительно позднее начало военной карьеры — в 19 лет, не отразилось не темпах его продвижения по служебной лестнице: через 10 лет он был генералом. В 1816—1817 гг. Киселев выполнил ряд ответственных поручений императора, в частности, ревизовал Бессарабию. Тогда же он подал Александру I свой первый проект изменения положения крестьян. В те годы император относился к нему с большим доверием, свидетельством чего явилось назначение Киселева в 1819 г. начальником штаба 2-й армии. На этом важном посту Павел Дмитриевич проявил себя выдающимся адми-

нистратором. Близость Киселева к служившим во 2-й армии декабристам — Пестелю, Бурцеву, Басаргину и другим стала причиной его опалы, хотя, как и в случае с Ермоловым, никаких прямых свидетельств причастности Киселева к Тайному обществу у Николая I не было. С началом русско-турецкой войны 1828—1829 гг. его отношения с царем наладились. Киселев стал управлять Молдавией и Валахией, где провел ряд прогрессивных реформ. Крестьяне получили личную свободу и право перехода от одного помещика к другому, их повинности были строго регламентированы законом. Киселев был постоянным членом всех секретных комитетов по крестьянскому вопросу в царствование Николая, который называл его своим «начальником штаба» по этой проблеме. В 1835 г. под его руководством был выработан план освобождения крестьян, проваленный в то время крепостническим окружением императора. С 1837 г. Киселев — министр государственных имуществ. С 1837—1841 гг. под его началом была проведена реформа управления государственными крестьянами, организованные в деревнях приходские училища стали называться «киселевскими» школами. Только с воцарением Александра II многочисленным врагам удалось свалить Киселева. Его отправили послом в Париж (1856—1862 гг.), где он и провел последние годы жизни.

Личность Киселева оценивалась современниками неоднозначно. В нем видели прежде всего любимца царя, и для многих уже этого факта было довольно для неприязни. Широко известен следующий факт. В 1821 г. Киселева вызвал на дуэль генерал-майор Мордвинов, один из бригадных командиров 2-й армии. Дуэль состоялась, Киселев застрелил Мордвинова. В целом

общественное мнение было на стороне Павла Дмитриевича, поскольку считалось некорректным компенсировать служебные неудовольствия у барьера. Исключение составил А.С.Пушкин, который считал, что Мордвинов поступил смело, бросив перчатку своему начальнику и, к тому же, любимцу царя. К числу врагов Киселева, как, впрочем, и Ермолова (до поры) и Закревского (постоянно) принадлежал Аракчеев, неприязни к которому Киселев, подобно остальным героям нашего рассказа, не скрывал.

Иван Васильевич Сабанеев (1772—1829), генерал от инфантерии.

П.Бартенев, издавший в 39-м томе «Архива князя Воронцова» письма Сабанеева М.С.Воронцову, совершенно справедливо относит Ивана Васильевича «к числу замечательнейших людей русской земли». Сабанеев, человек крайне интересный, был незаслуженно обделен славой при жизни и довольно быстро позабыт после смерти. Уже в 1893 г. тот же Бартенев писал, что имя Сабанеева «известно нынешнему поколению разве по названному в его память князем Воронцовым Сабанеевскому мосту в Одессе» (в конце XX в. фамилия Сабанеева связывается с его родственником, чьи труды по рыболовству и охоте остаются бестселлерами до сих пор).

Сабанеев окончил Московский университет, после чего поступил на военную службу. В 1791 г. он отличился в сражении с турками под Мачином. Затем под началом Суворова служил в Польше и участвовал в знаменитых Итальянском и Швейцарском походах. Он командовал передовыми цепями одной из колонн, был дважды ранен в боях за Чертов мост и при Мут-

тентале, оказался в плену в числе других тяжело раненых, которых Суворов оставил «на милосердие» французов в Гларисе.

Вернувшись из плена, Сабанеев привез составленный на основании опыта последней войны проект обучения пехоты рассыпному строю, который вскоре был принят во всей русской армии (!). Сабанеев некоторое время пробыл в отставке, затем вернулся в строй и отличился в 1805—1807 гг., командуя полком в авангарде Багратиона. В Пруссии он был ранен штыком в лицо. Во время русско-шведской войны он стал генералом, получил Георгия 3-й степени, снова был ранен. В это время его заметил Барклай де Толли. В молдавской армии в 1810—1812 гг. Сабанеев был одним из наиболее заметных военачальников. Неоднократно его действия решали успешный исход сражений. Сабанеева очень высоко ценил Кутузов.

В 1812 г. Сабанеев был начальником штаба армии Чичагова, а во время заграничного похода — всей русской армии у Барклая де Толли. В этом-то как раз одна из причин малой известности Сабанеева. Ему не повезло: мы знаем имена сколько-нибудь заметных генералов и офицеров, сражавшихся в 1812 г. на главном направлении, и куда хуже осведомлены о тех, кто присоединился к армии Кутузова возле Березины и позднее, кто отличился в заграничном походе.

С 1816 г. и до смерти Сабанеев командовал 6-м корпусом, дислоцированным в Бессарабии, причем в 1824 г. несколько месяцев командовал 2-й армией. Александр I его не жаловал, в частности потому, что Сабанеев был откровенным противником аракчеевщины. Дважды его обходили производством в полные генералы; этот чин он получил только в 1824 г.

В состав 6-го корпуса входила 16-я дивизия, которой командовал в 1819—1822 гг. декабрист М.Ф.Орлов. Когда произошли беспорядки в Камчатском полку, приведшие к аресту В.Ф.Раевского, Сабанеев возглавил следствие по его делу. Крайне неприязненное отношение Сабанеева к Орлову, отстранения которого от командования дивизией он добивался, дало некоторым исследователям основание ставить чуть ли не знак равенства между Иваном Васильевичем и Аракчеевым, что разумеется, абсолютно, неверно. «Крикун Сабанеев», как он однажды назвал себя, был одним из гуманнейших генералов русской армии, одним из самых достойных продолжателей дела Суворова, и уже поэтому заслужил добрую память.

* * *

Итак, фельдмаршал, четыре полных генерала и генерал-лейтенант, притом двое из них министры. Карьеры благополучные в разной степени, но, кажется, неудачными их не назовешь. Впрочем, все относительно.

Можно ли считать неудачниками, например, декабристов?

Вероятно, и да, и нет. Но если «нет», то зачем мы все время твердим, что они могли жить спокойно, счастливо, безбедно, а если бедно, то не в Сибири; могли, по крайней мере, некоторые, выйти в генералы, стать сенаторами и т. п.

То есть, видимо, существует некая потребность измерять, оценивать величие Личности с точки зрения бытового, «мещанского», среднестатистического успеха, благополучия. Мог, но не стал! Не стал, потому что не захотел.

С таких позиций наши герои, конечно, «удачники». Генералами они стали в возрасте от 25 до 31 (лишь Сабанеев в 36 лет, но у него был перерыв в службе). И скольких из полных генералов XIX в. знают и помнят? И многие ли из них могут равняться, например, с Ермоловым или Сабанеевым?

А с другой стороны, разве тот же Ермолов менее достоин фельдмаршальства, чем Воронцов, не говоря уже о любимцах Николая I — Паскевиче и Дибиче? И как измерить десятилетия, проведенные им в полном бездействии, причем в расцвете сил, в роли наблюдателя за торжеством чистопородной серости?

Видимо, в свое время каждый из них мог быть единственным, но оказался одним из...



Биографии большинства генералов первой четверти XIX в. не могут не внушать уважения. Даже Бенкендорф прежде, чем стать начальником III Отделения, был героем 1812 г. Но об этом мы предпочитаем не вспоминать.

В некоторой степени нечто похожее наблюдается и в отношении героев этого рассказа. Их «невоенная» репутация часто перевешивает боевую. Практически каждый из них небезупречен в глазах позднейших исследователей. Один — «полуподлец», преследовал великого поэта, другой — расправлялся с горцами, третий — с либерализмом, четвертый — «бюрократ», который и реформу-то провел бюрократическую, пятый — не любил и преследовал декабристов. Так, однажды поклонник Чаадаева, не зная, чем уж уязвить 140 лет спустя Дениса Давыдова, упрекнул его в том, что он

«хвастался подвигами в Польше» в 1831 г., оставив почему-то без внимания пушкинское стихотворение «Бородинская годовщина».

Конечно за последние годы много сделано для того, чтобы очистить наше восприятие истории от вульгарного социологизма. Однако в полном соответствии с известной мыслью Ст.Е. Леца о том, что, свергая памятники, нужно оставлять пьедесталы — всегда пригодятся, на место старых мифов тут же пытаются поставить новые. И История снова оказывается гербарием, причем таким, где подпись под экспонатом важнее самого экспоната.

Историками давно введен в научный оборот термин «презентизм». В данном случае смысл его можно определить примерно так: оценка прошлого, исходя из представлений и нравственных ценностей сегодняшнего дня. Этот подход весьма похож на ту реставрацию памятников, после которой остаются руины. Ну, например, что сказали бы о нравственности прекрасной половины человечества конца XX в. люди, жившие 100 лет назад, если бы оценивали ее только по длине юбок?

Наши герои — люди своего времени. И только когда мы будем рассматривать их жизнь, исходя из этого, мы сможем приблизиться к пониманию и их самих, и их времени, сумеем ответить на вопрос, почему солдатский защитник Сабанеев терпеть не мог солдатского защитника М.Ф.Орлова, почему вольнодумец и фрондер Ермолов так расправлялся с жителями Кавказа, что и теперь его имя не могут спокойно слышать их правнуки и др.

Государь или Отечество?

В прошлом веке Кольбер еще смешивал королевство и родину.

Энциклопедия Дидро и д'Аламбера

Честь моя мне милее всего.

А. В. Суворов

Итак, дружба...

«Любя и почитая вас с тех пор, как знаю, никогда не думал переменяться» (Закревский — Воронцову, 1817 г.);

«Каждый знак твоей ко мне дружбы и памяти сердечно меня радует, ибо ты мне старый друг, я тебя люблю душевно, познакомились мы не в передних и не [на] вахт-параде, а там, где людей узнают и где связи основываются твердые, ибо начало оных, смею сказать, взаимное уважение» (Воронцов — Закревскому, 1820 г.);

«Люблю тебя, Арсений, и всякий раз более научаюсь почитать благороднейшие свойства твои, которые редко природа сотворяет. Это написал бы я тебе кровью моею! правде Бог свидетель!» (Ермолов — Закревскому, 1818 г.);

«Стыдно писать ко мне: **«в нынешнем веке люди переменчивы»**. После сих терминов смело могу сказать тебе, любезный друг, что ты не хочешь знать меня хорошо. Но Закревский раз полюбить может как друг и после по гроб неперменчив» (Закревский — Киселеву, 1815 г.)¹.

В анализируемой переписке легко найти еще немало подобных уверений, которыми осыпают друг друга

самые что ни на есть боевые генералы, которым далеко за 30 и даже за 40 лет (право, трудно представить что-либо подобное, вышедшее из-под пера генералов XX века, например, письмо Конева Жукову?!) У каждого времени множество примет. Дружба, дружество в высоком смысле слова — в крови у этих людей. Россия в целом еще не созрела до переводов Байрона, и мысль о том, что в дружбе всегда один раб другого — из другой эпохи.

Впрочем, способ выражения дружеских чувств — а это тоже знак времени — мог быть и не столь сентиментальным: «Я твою рожу знаю, а сестры твоей не знаю, а потому прошу прислать ее портрет. Я люблю все, что любит Воронцов. Дай бог, чтобы она родила такого же уродца как ты» (Сабанеев — Воронцову). Или: «Забыл тебе послать Мадатова портрет, теперь препровождаю. Нет ли у вас еще таких уродов, присылайте их ко мне... Приготовь мне свой портрет и пришли. Я к тебе прикомандирую свою рожу, снятую, когда я в ярости говорю речи грузинцам. Нельзя ли с брата Василия снять план. Мне бы очень хотелось» (Ермолов — Закревскому).

Полагалось также на людях быть скромным и считать, что друзья непременно способнее тебя. Но признания такого рода делались уже без пафоса или иронии, а с серьезным видом, делавшим эту кокетливую скромность несколько сумрачной:

«С Ермоловым в достоинствах и пользе, которую он, конечно, принесет в Грузии, я равняться не могу» (Воронцов — Закревскому);

«Охотно признаюсь, что не имею равных ему (Воронцову — М.Д.) способностей и состояние бедное не могло доставить мне равных способов воспитания» (Ермолов — Закревскому);

«Перешли приказ мой ... Воронцову. Вот и письмо мое к этой собаке. Зачем, зачем его не произведут: вот бы кстати 12-го декабря, и чтобы Алексей наш (Ермолов — *М.Д.*) не обижался — обоих; ведь они оба и по местам и по достоинствам главнокомандующие. Другие надуются... а я порадуюсь» (Сабанеев — Закревскому)².

Вместе с тем как бы допускалась ревность («чтобы Алексей наш не обижался»), которая, если не определить ее природы, нам (не им!) легко может показаться завистью.

Итак, дружба. Из шестерых лишь Воронцов и Киселев не были близко знакомы, и отношения между Воронцовым и Давыдовым были неприязненными. Остальных же связывали весьма тесные дружеские узы. 10 лет непрерывных войн предоставили русским офицерам хорошие возможности для знакомства. Но знакомство — это еще не дружба.

«Дружба складывается из воспоминаний и привычки», — сказал как-то Дюма и наметил путь, который ведет к появлению совместных воспоминаний: «Сударь, я очень люблю людей вашего склада и вижу: если мы не убьем друг друга, мне впоследствии будет весьма приятно беседовать с вами».

Любопытно попытаться выяснить, что же их объединяло, что привлекло друг в друге и позволило создаться «воспоминаниям и привычке». Ответ, разумеется, не будет полным, но нередко у нас есть возможность найти «общий знаменатель».

Ясно, что немалую роль в сближении сыграла их человеческая талантливость, если так можно выразиться, а также прекрасные боевые репутации. Но храбр и талантлив, например, был и Дибич, но наши

герои его не жаловали; впрочем, о репутации — ниже, а пока рассмотрим весьма важные аспекты их мировосприятия.

Для них Россия — европейская монархия (по Монтескье), император — монарх, а они — те самые дворяне, носители принципа Чести, системообразующего принципа монархии, которые являются посредниками между верховной властью и народом и без которых монархия превращается либо в народное государство, либо в деспотию. Их понимание чести вполне укладывается в известную формулу того же Монтескье: желание почестей при сохранении независимости от власти. Честь, несомненно, ключевое понятие, на которое замкнуто все мироощущение наших героев. Об этом свидетельствует характер тех ситуаций, в которых они прямо говорят о личной чести. Например, описывая Закревскому свою дуэль с Мордвиновым, Киселев замечает: «Мог ли я поступить иначе... Я исполнил долг честного человека... Не знаю, как дело сие будет истолковано в столице... Воля царская, и я готов пожертвовать местом за честь свою, которую в жертву принести не могу».*

Показательно также, что, доказывая деспотический характер правления Персии, Ермолов пишет: «честь... здесь нечто баснословное»³.

* Нельзя в связи с этим не вспомнить допрос Николаем I братьев Раевских в 1826 г.: «Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу; но имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство; где же ваша присяга?» Александр Раевский отвечал: «Государь! Честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще». (Н.Лорер. Записки декабриста. Иркутск, 1984. с. 381)

Едва ли не главная черта мировосприятия наших героев — внутренняя независимость. Право на собственное мнение для них априорно. Независимость, своего рода суверенитет личности, неразрывно связана с их отношением к службе и очень многое определяет в этом отношении. Любой из них с полным правом мог заявить вслед за Ермоловым, что служба — его «единственная цель» и «господствующая страсть». Или за Воронцовым, что «все планы, не сопряженные со службою... кажутся скучными»⁴. Служба для них не только главное занятие. В ней — основной смысл их жизни. Она — стержень, на котором эта жизнь держится. Она — возможность отдать тот долг, которым каждый гражданин, по их мнению, обязан Отечеству, России. Служба имеет смысл, если приносит пользу. Стремление сделать карьеру обосновывается (или оправдывается?) именно возможностью принести больше пользы стране. «Мне необходимо одно то награждение, чтобы я сам был доволен отпращиванием должности и чувствовал приносимую служением моим пользу»; «дай Бог ... и мне быть тебя чиновнее, то есть полезнее России, ибо первое у меня ценится последним... Дай Бог тебе исполнить все, что предпринимаешь, ибо рвение твое имеет целью общую пользу»⁵ — вот обычные их мысли. Коллективным девизом этих людей могут быть знаменитые слова: «*Videant consules ne quid detrimenti respublica capiant*». Личностный суверенитет не позволяет им смотреть на себя как на слепых исполнителей, как на «телеграф» для передачи приказаний начальства, по удачному выражению Д.В.Давыдова. Они всегда «большие католики, чем папа», но притом не признают буллы «Силлабус», утверждающей его непогрешимость.

Какое же место занимал в системе их воззрений император? Как соотносились в их сознании понятия «Государь», «Россия», «служба»?

Царь для них прежде всего европейский государь, который правит на **основании законов**. Существует точка зрения, по которой в «сознании дворянства» происходило «поглощение государства личностью самодержца», что «не только служба императору и государственная служба были тождественны, но и понятия «Государь» — «государство» — «Отечество» являлись синонимами... В эпистолярных источниках понятия «государственная служба» и «служба императору» либо встречаются вместе, либо заменяют друг друга как абсолютно тождественные для авторов писем»⁶. Не говоря о том, что факт совместной встречаемости терминов вовсе не доказывает их полной тождественности, замечу, что вряд ли правомерно распространять эти оценки не только на русское дворянство в целом, но и на тот узкий слой, который в данном случае является предметом анализа.

Аракчеев, как известно, заявил в 1812 г., что ему дела нет до России, а беспокоит его одно — угрожает ли что-то государю. Полагаю, что его взгляд разделялся, мягко говоря, не всеми современниками.

Для наших героев в понятии «Государь» сливалось то, что можно назвать тайной престола, тайной самодержавной власти, и тот, кто в данный момент являлся носителем, воплощением этой тайны. Царь — живое олицетворение России. В известном смысле она персонифицирована в нем. Оба понятия действительно очень часто встречаются вместе: «Только нужно дать разуместь, что такое Россия и Государь российский»; «любя славу Царя и Отечества»; «знаю, чем обязан

Царю и Царству»⁷ и т. д. Сразу не совсем ясно, стандартный ли это эпистолярный или вербальный штамп или же за связкой «Государь» — «Отечество» стоит что-то иное.

Специальный анализ случаев одиночного употребления слова «Государь» показывает, что оно использовалось преимущественно для описания самых разных аспектов служебной деятельности: «у меня все время на службу Государю»; «воля моего и их Государя»; «обязан я доводить до Государя стон угнетаемых»; «буду служить Ему верою и правдою до последнего издыхания или до тех пор, пока служба моя будет ему угодна»⁸ и т. д. Роль монарха в их жизни огромна. И все-таки для этих людей между понятиями «император» и «Россия» есть сущностные различия. Они легко усматриваются, например, в ермоловском резюме по поводу Бородинского сражения: «Никогда любовь к отечеству, преданность к Государю не имели достойнейших жертв». О разжалованном в солдаты офицере Розене он же пишет: «Исходатайствуйте ему прощение в память дяди его покойного генерала Вавржецкого, который привержен был собственно Государю и всегда усердствовал пользам России»⁹.

Другими словами, приверженность «собственно Государю» и «любовь к отечеству», содействие «пользам России» не совсем одно и то же. Эти понятия могли совпадать, точнее накладываться друг на друга, а могли и не совпадать. Примечательно замечание Воронцова, сделанное им в 1812 г.: «Приятно жертвовать жизнию, когда любовь к Отечеству ничем не отделяется от любви к своим Государям и ничто иное, как одно и то же». И если «усердствовать пользам» своей страны и любить ее человек должен был всегда, то пре-

данность и любовь к царю — вопрос индивидуальный. Каждый его решает для себя сам, что наглядно демонстрируют судьбы отца и деда Александра I.

Как известно, Петр I личным примером немало сделал для того, чтобы убедить своих подданных в необходимости служения России. Однако создание не лишённого признаков харизмы образа царя-труженника, царя-слуги Отечества (и, одновременно, его Отца!), который образцово исполняет свою царскую **должность** и требует такой же самоотверженной службы от всех подданных, наряду с желаемым эффектом имело и иной, который вряд ли принимался Петром в расчет. В мыслящей части дворянства постепенно утвердилась мысль о том, что дворяне и император в определенном смысле равны — именно равны! — как слуги Отечества. Монарх стал восприниматься не только как суверен, но и как партнер по выполнению важнейшей социальной миссии — служению России. В этом смысле он, хотя и «самый» первый, но все же среди равных. Россия, несомненно, выше, значительнее и царя, и дворянства, по мнению наших героев.

Отсюда среди прочего следовало, что как слуга Отечества царь подвержен критике со стороны других таких же слуг, т. е. дворян, которые иногда могут даже лучше него знать, что полезно, а что нет для интересов страны. В этом, кстати, одно из моральных оснований не только дворянской фронды в ее русском варианте, но и переворотов и даже цареубийства (Пален, как известно, до конца жизни считал себя Брутом; впрочем, начало этой «патриотической», этатистской линии положил сам Петр I в истории с царевичем Алексеем, не подозревая, конечно, чем все это кончится).

В письме Ермолова кн. П.И.Багратиону, написанном в разгар ссоры последнего с Барклаем де Толли в 1812 г., есть примечательные строки: «Я говорил министру о вашем желании сдать команду. Я заметил, что это даже его испугало, ибо впоследствии надо будет дать отчет России в своем поведении. Конечно, мы счастливы под кротким правлением Государя милосердного; но нынешние обстоятельства и состояние России, выходя из порядка обыкновенного, налагают на всех нас обязанность и соотношения необыкновенные. Не одному Государю надо будет дать отчет в действиях своих отечеству, но также людям, каковы вы, ваше сиятельство, и военный министр» (подчеркнутой — *М.Д.*). Требование отчета у самодержца не самый привычный в нашей истории сюжет, но ясно, что нестандартность ситуации лета 1812 г. позволяла увидеть то, что не всегда было заметно при «порядке обыкновенном». А вот не менее показательный пример. В 1815 г. Александр I, недовольный тем, как маршировали в Париже русские гренадеры, приказал посадить на гаупвахту трех полковых командиров. Мнения генералов разделились. Одни считали, что это неприлично, а те, кто искал милости при дворе, говорили, что надо было наказать еще строже. Ермолов, командир гренадерского корпуса, был, конечно, на стороне первых. Он сказал императору, что на союзной гаупвахте сегодня дежурят англичане, и если уж арестовывать русских офицеров, то охранять их должен русский караул. Царь отвечал, что «пусть они для большего стыда будут содержаны у англичан». Ермолов тянул с выполнением царского приказа до вечера, пока его в театре не нашел адъютант, вручивший под роспись записку разгневанного Александра. В театре находились

«молодые» великие князья Николай и Михаил Павловичи, которым разъяренный Ермолов не упустил случая высказать свое мнение: «Разве полагаете, Ваши Высочества, что русские военные служат Государю, а не Отечеству? Они пришли в Париж защищать Россию, а не для парадов. Таковыми поступками нельзя приобрести привязанности армии»¹⁰. Один этот ермоловский монолог разъясняет ситуацию лучше всяких рассуждений о тождественности понятий «Государь» и «Отечество» и о поглощении первого вторым. Ведь важно не то, что человек говорит, а как он проговаривается.

Конечно, не все могли отважиться на подобное столкновение. Но друзья Ермолова тоже вели себя вполне независимо, действовали на своих весьма видных постах так, как считали нужным, не нарушая, разумеется, «обязанности повиновения в точном смысле» и вызывая при этом зачастую неудовольствие императора.

Именно по линии независимости, личного суверенитета проходит граница между ними и Аракчеевым, который в их переписке (и не только в их) фигурировал как «Змей Горыныч» или просто «Змей». Его они ненавидят яростно и, если так можно выразиться, квалифицированно. Причина? Для них, как и для множества современников, Аракчеев — злой гений России и, одновременно, ее позор. Он олицетворение всего худшего, что есть в стране. И дело не только в том, что он главный исполнитель глубоко порочной, по их мнению, программы поселения войск, не только в его грубости, оскорбительной для всякого порядочного человека, и т. п. Все это следствие основного, коренного различия между ними, которое состоит в

разном понимании своих обязанностей, в разном отношении к службе и, соответственно, к власти. «В жизни моей я руководствовался всегда одними правилами — никогда не рассуждал по службе и исполнял приказания буквально»¹¹, — написал однажды Аракчеев о себе самом. Вот это «нерассуждение по службе» и опасно, и вредно, по мнению противников Аракчеева. Не нужно при этом думать, что собственное мнение для Ермолова и его единомышленников — самоцель или способ самоутверждения (для этого были и другие возможности). К тому же как военные люди они хорошо знали, что такое дисциплина. Дело в другом. Не все решения Власти безупречны, не всегда они направлены к общему благу. И поэтому «прямой верный слуга», «честный человек» должен, обязан высказать свое мнение в этих случаях, даже если это грозит ему неприятными последствиями.

Между тем значительная группа высокопоставленных военных и гражданских чиновников ориентировалась на Аракчеева и разделяла его мнение о необходимости буквального исполнения приказаний. При этом среди них были люди далеко не бездарные (но тем хуже, тем опаснее!). Они хорошо поняли, что карьеру проще, удобнее делать «по Аракчееву» и при Аракчееве, в плане, так сказать, вассальной верности ему, и не только не рассуждая, но даже и предугадывая желания власти. А сделать это было не очень сложно: парад значил куда больше, чем боевая подготовка. Рецепт преуспевания был прост. Показательно в этом смысле мнение Закревского о И.И.Дибиче, уверенно шедшем в гору в то время. Дибич, заслуженно прославившийся в 1812 г., храбрый, умный и образованный строил карьеру средствами, которые наши герои от-

вергали: он женился на племяннице Барклая де Толли и считался одной из креатур Аракчеева: «Дибич ... **Государю потакает во всем отлично-хорошо** и сим возьмет очень много...» (подчеркнуто мной — М.Д.).

«Потакание» царю, в том числе плац-парадное усердие (Дибич не раз специально приезжал в Петербург смотреть учения гвардии), изобретение очередных новшеств этого рода и есть одна из главных претензий наших героев к клиентеле Аракчеева. Не менее выгодным было и участие в управлении военными поселениями. Словом, «не рассуждать» было просто и одновременно приносило ощутимые результаты. Однако для Воронцова, Ермолова и их друзей такой подход к службе был невозможен.

Вышесказанное позволяет точнее уяснить понимание нашими героями феномена монаршей милости. Проблема эта важна, ибо, напомним, честь — это желание почестей. «Я служу Государю, служу немного и собственному имени моему, — говорит Ермолов и добавляет: — я очень (хорошо) знаю, где польза моя собственная должна молчать пред пользою моего отечества»¹². Разумеется, они считают, что усердная служба должна вознаграждаться. Однако, как можно заметить, они не всякое усердие считают полезным. Поэтому и отношение к монаршей милости, точнее всего определяется афористической мыслью Сабанеева: «Гнев царский без вины, а награда без заслуги суть близнецы»¹³. Понятно, что они, как и любые генералы во все времена, имеют собственное понимание «заслуг» и свое мнение о масштабах личных отличий. Но поощрение ревностной службы для них, как и для большинства современников — непреложный закон. Идея соразмерного воздаяния за заслуги определяет

критическое отношение к тем, кто делает карьеру негодными, по их мнению, средствами: «подвигами в экзерциргаузе», угодничеством, «сильными связями», «ловкостью у двора» и т. п. Для себя они такой путь исключают, что доказывают реальные обстоятельства их карьеры. Воронцов выразился в письме к Закревскому очень точно: «Познакомились мы не в передних и не [на] вахт-параде». Одна эта фраза отсекает наших героев (и их карьеры) от «тех, других». Познакомились они на войне.

Вообще беспроblemное продвижение по службе не соответствует их представлениям о справедливости. Ермолов, к примеру, так высказался о своем племяннике: «Он был неблагопристойно счастлив по службе и потому надобно еще то заслуживать»¹⁴. В своих воспоминаниях Алексей Петрович обязательно обращает внимание на то, как сделана карьера, если хочет по каким-либо причинам выделить генерала: «Быстрый ход по службе не допустил нужной опытности, не представились случаи обнаружить особенные способности военного человека. Из всех наилучших качеств, украшающих Строганова, военные не суть превосходнейшие. Никому не уступая в отважности, готовый встречать опасность, но не среди звука оружия может возгреть имя его»; «В царствование императрицы Екатерины II Коновницын был полковником... Отец его, значительный сановник, по важности занимаемых им должностей, в связи со многими могущественными особами, разными путями с необыкновенною скоростью проводил сына в чины... Утративши в продолжительной отставке прежний, практически приобретенный навык, Коновницын возвратился в службу, и совершенно сказывались военные его знания. Блистательна была не-

устрашимость его, но не могла заменить недостатка их»¹⁵.

Если отличия накладывают на Власть обязанность воздаяния служащим, то последних награда обязывает продолжать службу с еще большим усердием. И, наоборот, невнимание Власти как бы лишает ее морального основания требовать от подчиненных ревностного служения. Игнорирование заслуг обижает и даже оскорбляет чиновников. У каждого из наших героев можно встретить жалобы на несправедливость начальства вплоть до «Белого» (так они иногда называли царя). Обиды подсчитываются ими с тщательностью канцеляристов. Так, на 11 страницах «Записок» Ермолова (издания 1865 г.), содержащих аннотированное описание главных событий его жизни в 1801–1811 гг. (без 1805–1807 гг.), приводится 17 конкретных случаев, когда он с «равными правами на награду неравные имел успехи со многими другими», когда ему отказывали в служебных назначениях, награждали менее престижными орденами или вовсе не награждали, не повышали в чине, а также говорить о конфликтах с командованием, прежде всего с Аракчеевым. С Давыдовым вообще произошла неслыханная вещь: у него, как говорилось, отняли присвоенный уже генеральский чин. Легко понять его чувства: «Если... не буду произведен, то намерение мое непоколебимо, я оставляю службу... Если мои просьбы останутся втуне, то я рапортуюсь больным и до тех пор останусь дома, пока не отдадут должного, то есть чин и Георгия 3-го, к коим я представлен».

Воронцов, комментируя немилость императора, пишет: «Потеряв теперь остатки куража и надежды, не могу не видеть особенное против меня неблагово-

ление», что «убивает всякую охоту и склонность к службе..., служить как будто под наказанием, без всякой, по совести, причины, никак не могу»¹⁶. Подобных примеров множество.

Спору нет, частое упоминание о несправедливостях, обидах, несколько разрушает тот коллективный стоический образ, который возникает при чтении их переписки и воспоминаний, — образ рыцарей Службы, «усердных ревнителей пользы», у которых «все время на службу Государю» и т. п. Но это лишь на первый взгляд. Ведь чувство обиды за неоцененные по достоинству заслуги — чувство всемирное и вневременное. Вопрос в форме и способах его выражения, которые доминируют в данное время в данном обществе. Как и в XVIII в., в рассматриваемый период такого рода эмоции отнюдь не принято было скрывать. Более того, в глазах общественного мнения они считались вполне справедливыми, их высказывали вслух и громко. И квалифицировать подобное недовольство героев 1812 г. (а ранее Потемкина, Суворова и множества других людей) как «искательность», «эгоистичность» — презентизм чистой воды. Это также неисторично, как видеть причину местнических споров в дележе мест за царским столом.

Односторонность такого взгляда подтверждают экстремальные ситуации, когда наши герои допускают отступления от принципа воздаяния. Так, в 1812 г. в момент отхода русских армий к Москве, когда с новой силой разгорелись споры между командующими, Ермолов, много сделавший для их примирения, в цитированном уже письме к кн. Багратиону писал: «Вам, как человеку, боготворимому подчиненными, тому, на коего возложена надежда многих и всей России, я обя-

зан говорить истину: да будет стыдно вам принимать частные неудовольствия к сердцу, когда стремления всех должны быть направлены к пользе общей, что одно может спасти погибающее наше отечество»¹⁷.

Император выступает как посредник между Службой и служащими, посредник могущественный, но не всемогущий. Это важно. Хотя в то время слово «отечество» писали со строчной буквы, а «государь» с прописной, реально для людей этого круга первое было важнее второго. Монаршая милость — индекс общественного признания заслуг дворянина, пользы его службы для страны и самого монарха как олицетворения (в идеале) страны. Эта милость по многим позициям определяет социальный рейтинг человека. По многим, но не по всем, ибо нашим героям хорошо известен механизм функционирования «источника милостей», иногда далекий от справедливости. Поэтому более существенным для них нередко оказывается неофициальный счет заслуг, то, что называется репутацией. Не случайно заботы о ней занимают видное место в их жизни. Именно репутация дает им возможность, например, грозить отставкой, говоря, что «не все поверят», что «вдруг» сделались неспособны. В тех случаях, когда их собственное понимание Пользы, их принципы вступают в противоречие с требованиями верховной власти, принципы могут оказаться более важными, в известных пределах, конечно. В этом мы еще не раз убедимся, как и в том, что пределы эти каждый устанавливал для себя сам. Так, когда царь несправедливо, по мнению Ермолова, выключил из службы испанского революционера Хуана Ван-Галена, служившего на Кавказе, и приказал выслать его из России, Ермолов не только ослушался его, но и позволил себе открыто по-

учать императора, разумеется, в рамках этикета: «Не решился я, Государь, отправить его с фельдъегерем и передать австрийскому правительству, и исполнение воли Вашего Императорского Величества искал сделать приличествующим образом великодушию и милосердию Государя, коего люблю я славу... Не ожидаю подвергнуться гневу Вашего Величества, но не менее должен бы был скорбеть, если бы иноземец, верно и с честью служивший, мог сказать, что за вину, в коей не изобличен, получил наказание от Государя правосудного. Строгие правила мои не допускают поблажать вольнодумствующим, но и сего в течение года не замечено в майоре Вангалене»¹⁸. Примечательна не только забота Ермолова о репутации императора, но и убежденность, с которой он позволяет себе корректировать его распоряжение. Очень важно заметить, что наши герои отнюдь не были социальными «робинзонами». Закревский однажды заметил: «Я правил моих ни для кого не переменю»¹⁹. Под этими словами подписались бы многие русские дворяне того времени.

«Правила»

Доколе жив — служить, хотя
иногда отдыхать — так долг хри-
стианина.

Не разумея изгибов лести, час-
то неугоден.

А. В. Суворов

В войнах того времени подчиненные видели коман-
диров высокого ранга рядом с собой в бою гораздо
чаще, чем их потомки в XX в. Понятно, что репутация
генерала в огромной степени зависела от того, как он
вел себя в эти минуты.

Боевые биографии наших героев в этом смысле
соответствуют лучшим образцам эпохи и полны эпи-
зодов, блестящих и по содержанию, и, условно гово-
ря, по форме. Что касается последней, то, как извест-
но, по обилию исторических фраз и «жестов» начало
XIX в. могло поспорить со временем героев Плутарха
и Тацита.

Несколько примеров.

В сражении при Прейсиш-Эйлау Ермолов коман-
довал 30-пушечной батареей. Объявив подчиненным,
что «об отступлении помышлять не должно», он ото-
слал в тыл лошадей и передки орудий. После каждого
залпа батарея под собственной дымовой завесой пе-
редвигалась вперед в полном смысле слова на руках.
Командующий русской армией Беннигсен был очень
удивлен, увидев в тылу лошадей и передки без едино-
го орудия, но, узнав об этом варианте «сожженных

кораблей», был «чрезвычайно доволен», пишет Ермолов в своих «Записках».

Внимание цесаревича Константина Павловича Ермолов обратил на себя при следующих обстоятельствах. Цесаревичу показалось, что ермоловская батарея слишком долго не открывает огня. Присланному адъютанту Алексей Петрович отвечал, что будет стрелять тогда, когда отличит «белокурых от черноволосых». Колонна была рассеяна¹.

Хладнокровие Воронцова в бою было притчей во языцах, и даже возраст не изменил его. Вот что писал о 65-летнем Михаиле Семеновиче его адъютант 2-го кавказского периода кн. Дондуков-Корсаков: «Князь чрезвычайно высоко понимал и ценил военные доблести, давая собою пример исполнения военного долга с тою естественностию и простотою, которая еще более выставляла его достоинства. Он не любил хвастовства в военном деле и вообще всякого фанфаронства, и в храбрости более всего ценил скромность; трусость он презирал глубоко, а человек, подверженный этой слабости, окончательно терял в его глазах». (Надо сказать, что и Ермолов импонировал окружающим своей скромностью. Цесаревич Константин говорил: «Ермолов в битве дерется как лев, а чуть сабля в ножны, никто от него не узнает, что он участвовал в бою».)

В 1847 г. во время осады аула Салты на Кавказе Воронцов шел по траншее вслед за одним из полковых командиров, Плац-Бек-Кокуном, человеком огромного роста и воинственного вида. В тех местах, где бруствер был невысок, полковник пригибался, ибо горцы простреливали эти промежутки. «Князь, увидев эту проделку раза два, не вытерпел и, остановившись в одном из опасных мест, сказал: «Полковник, я всегда хо-

тел помериться с вами ростом — станьте-ка со мной». Кокун, разумеется, повиновался, и общий хохот свиты служил лучшим наказанием его слабонервности. Между тем несколько пуль просвистело над князем и Кокуном. Главнокомандующий, продолжая путь, сказал ему: «Однако же вы значительно выше меня ростом, берегите свою голову». В мнении князя репутация Кокуна была навсегда установлена», — пишет Дондуков-Корсаков².

Закревский во время шведской войны однажды играл в карты, сидя в лодке на одном из озер под неприятельским огнем. Когда столик сбила пуля, партнеры поставили его на место и продолжили игру. Нет нужды специально рекомендовать храбрость Сабаньева (Суворов мог доверить командование передовыми цепями только лихому офицеру) или Давыдова. Храбрость, проявленная Киселевым во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг., покорила Николая I и во многом способствовала их сближению; ведь после 14 декабря положение Киселева было весьма сложным.

Жаль, что объем этой работы не позволяет увеличить число подобных примеров. Вообще человечество во всех смыслах много потеряло с тех пор, как полководческое искусство в основном перестало описываться тремя знаменитыми картошинами из кинофильма «Чапаев».

Следующий сюжет, о котором необходимо сказать, связан с деньгами. Проблема эта деликатная. В то время, как всегда и везде, чиновники делились на тех, кто «брал», и тех, кто этого не делал. Нет нужды пояснять, что наши герои относились не к первой категории, хотя, подобно большинству офицеров, лишних денег не име-

ли и, кроме Воронцова, жили преимущественно на довольно скудное жалование (реальные размеры их материального неблагополучия мы не всегда представляем себе отчетливо; даже у историков иногда отношение к этому вопросу вполне пролеткультовское). Однако они не только не пользовались служебным положением для исправления ситуации (даже намек на это был бы в высшей степени оскорбителен), но, несомненно, относились к казенным деньгам куда внимательнее, чем к собственным. Экономия государственных денег — приятная обязанность для них: за время пребывания во Франции Воронцов сэкономил 4 млн франков, Сабанеев, командуя в 1824 г. несколько месяцев 2-й армией — до 1,6 млн рублей («Заплатил Царю за Его милости ко мне», — писал он Закревскому)³. Экономия казенных средств была предметом постоянной заботы Ермолова, что неоднократно специально отмечалось императором. Примечателен следующий факт. Потратив во время посольства в Персию экстраординарную сумму в 100 тысяч рублей ассигнациями, Ермолов вернул ее в казну из сумм, положенных ему на содержание. «Сии последние, — пишет он Закревскому, — даны мне в полное распоряжение и без отчета, взамен также и жалованья, которое я принять не согласился. Ты верно доволен, что подобный тебе богатством человек делает подарки ценою в сто тысяч рублей. Знай наших, брат Арсений! Пожалуй, обрати на это внимание Государя, не мешает, если он увидит, что в деньгах я не первое поставляю счастье. В Персии я мог, по крайней мере, взять миллион с Аббас-Мирзы, которого надобно только было признать за наследника престола. Я сие мог сделать на основании данной мне инструкции... но я видел в том нам вред и за сто миллионов бы

не согласился. Много нашлось бы мастеров, которые бы и деньги взяли и поступку своему придали похвальный вид. Меня многие примут за дурака!»*⁴ Однажды Ермолов заметил: «Если бы служил из-за денег, то здесь умел бы я достать их без соизволения на то начальства, а вы взгляните, что я их ежегодно по всем частям управления сберегаю в сравнении с тем, что делалось прежде»⁵. Очень показательно при этом, что возможная перспектива потерять шесть тысяч рублей, которые он получал как командир гвардейской артиллерийской бригады, его беспокоит: «Тогда я пропал и не буду иметь способов существовать в службе»; он просит Закревского «не приводить на память» возможное распоряжение о прекращении этого дополнительного жалования, тем более, что Коновницын, тогдашний военный министр, недоброжелатель Ермолова, вполне мог ему специально навредить⁶.

Впрочем, всегда была возможность поправить свои финансовые дела, обратившись к императору. Но вот здесь между нашими героями единодушия не было. Когда Ермолов говорит, что он честолобив, но почитает честолوبие в том, «чтобы ничего не просить», — это не пустые слова. Его единственная сестра вышла

* Н.Н.Муравьев-Карский, сопровождавший Ермолова в посольстве, писал: «Послу подарены (шахом — М.Д.) десять прекрасных шалей, славная сабля и бриллиантовая звезда с орденом... Посол еще получил несколько прекрасных шалей от Махмет-Али-мирзы и славных лошадей. Другой на месте Алексея Петровича сделал бы себе состояние из подарков сих, но бескорыстный наш генерал назначил все сии вещи знакомым своим и родственникам и ничего себе не оставляет... Римские добродетели сего человека единственны; он имел случай обогатиться одним посольским жалованием, но он его отказал, довольствуясь жалованием, принадлежащим к его чину». (Русский архив, 1986, кн.1. С. 523)

замуж за некоего Павлова, образ жизни которого Ермолову совсем не импонировал: «Кто стыдится бедного своего состояния и, бедность закрывая, делает долги, тот не мой человек. Жить соразмерно способам, хотя бы, впрочем, и скудно, никогда не бесчестно. Так я приближался к старости моей и мне бедностию не упрекали!» Вскоре дела Павловых стали совсем плохи. Сестра прислала Ермолову письмо, в котором «почти упрекала... равнодушием к ее бедственному» положению. «Весьма ясно дает мне уразуметь, что я должен просить у Государя ей помощи и что сие есть единственное средство спасти ее», — пишет он Закревскому, добавляя, что, «приняв награду, а паче выпросив ее», будет считаться и по справедливости неблагодарным, если «не заплатит за оную трудами», а сделать этого он не может и не хочет. «Или должен я принести в жертву свободу мою, угождая прихотливой и нерасчетливой жизни любезного зятя. Что от меня зависело... я исполнил. Теперь предлагаю сестре уделять ежегодно от моего жалования от полутора до двух тысяч рублей» и жить у родственников. Особенно возмутили Алексея Петровича разговоры о том, что его, Ермолова, сестре «не приличествует быть в состоянии столько бедном». Он квалифицирует их как «самолюбивые и нелепые»: «Я доказывал им, что случайно послужившее мне счастье не сделало меня богатым, не вывело нас из состояния, в коем мы рождены. Что не может лежать на правительстве забота о благосостоянии каждого из служащих, что подобной обязанности не могут возлагать на него даже великие люди отечества нашего, не только я, отличных заслуг и подвигов не оказавший. Итак, сам я и сестра моя, не выходя из класса людей обыкновенных, должны, укло-

нясь от неуместного самолюбия, почитать себя в равных правах с прочими». Рассказывая Закревскому о единственном случае, когда он был близок к браку, Ермолов замечает, что его и ее бедность не позволили «затмиться страстию»: «Что бы из меня теперь вышло? Я, как и ты, имею правило ничего не просить, а давать мне может быть не догадались бы, и я теперешнюю свободу променял бы на всегдашнее сетование»⁷. Кстати, Закревский единственным серьезным недостатком Сабанеева считал то, что он «любит просить денег у Государя, за что часто мы ссоримся»⁸. Заметим, что деньги Сабанеев просил в долг и под проценты. Однако и такая просьба пуристу Закревскому была не по душе. Н.В.Басаргин, адъютант Киселева, рассказывает о беседе своего патрона с императором: «Раз как-то государь спросил его, почему он, будучи небогат, не попросит у него никогда аренды или денег? “Я знаю, что вы охотно даете, государь, — отвечал он, — но не уважаете тех, которые принимают от вас дары. Мне же уважение ваше дороже денег”»⁹.

Подобный взгляд не мешал нашим героям постоянно ходатайствовать перед Властью о прибавке жалования, пенсий, столовых и т. д. неимущим офицерам и генералам, которых, повторяюсь, в русской армии было большинство. Показателен эпизод с арендой Д.В.Давыдова. Как известно, главная часть состояния их семьи пошла в уплату казенного долга, лежавшего на отце Дениса Васильевича. Долг этот царь простил за подвиги 1812 г. (как писал сын Д.В.Давыдова, «за службу отца моего в 1812 году»); к тому же Бородино — воистину символически — принадлежало Давыдовым, что, возможно, тоже сыграло свою роль. Когда Денис Васильевич решил жениться на Злотницкой,

Ермолов выхлопотал ему аренду в 6 тысяч рублей ассигнациями. Но свадьба расстроилась, и Давыдов отказался от аренды, однако император оставил ее за ним¹⁰ (это, кстати, не противоречит тому, что Денис Васильевич был «не на хорошем замечании», Киселев верно говорил, что царь «охотно дает» деньги тем, кто просит). Наконец, напомним известный эпизод из биографии Воронцова, который, как пишет Дондуков-Корсаков, показывал истинную натуру *grand seigneur*'а, которой он во всем был проникнут. Князь оставлял Францию после 14-го года и, не желая, чтобы какое-либо нареkanie падало на русские войска, потребовал сведения о долгах своих подчиненных, как офицеров, так и солдат, и заплатил из собственных денег всю сумму, составлявшую до миллиона франков»¹¹. Вообще кошелек **настоящего** начальника всегда был открыт для подчиненных. Если Воронцов за свой счет обмундировывал бедных офицеров, состоявших при нем, и даже назначал содержание их женам, то и Ермолов, не имевший и сотой части состояния Михаила Семеновича, давал безвозвратно значительные суммы подчиненным офицерам¹². Это норма для того времени (как, впрочем, и займы у знакомых под проценты!).

Всех наших героев, кроме Воронцова, объединяло то, что они принадлежали к небогатому среднему и мелкому дворянству. Свои фамилии, хотя и старинные, состоящие иногда в родстве с известными и знатными родами, суждено было прославить именно им. Замечу, что слова Пушкина «у нас нова рожденьем знатность, и чем новее, тем знатней» — вовсе не поэтическое преувеличение. Представления о знатности того времени не совпадали с нынешними (да и тог-

дашними европейскими). Потемкины, Орловы, Зубовы и другие, им подобные, благодаря «случаям» успешно оттеснившие от трона представителей исторической знати, в глазах общественного мнения котиrowались ничуть не ниже Рюриковичей и Геди-миновичей, не имевших их влияния и богатства, а нередко и куда выше. Граф Воронцов был в глазах современников аристократом не только потому, что претендовал на родство со знаменитыми боярами Воронцовыми, служившими роду Ивана Калиты (у Киселева родословная была еще древнее), но прежде всего потому, что с середины XVIII в. Воронцовы имели большой вес при дворе и были очень богаты. Подобно тому, как в наше время сплошь и рядом путают понятия интеллигентность и престижность, так и тогда богатство и влияние при дворе нередко выступали эрзацем благородного происхождения.

Для Ермолова, например, проблема происхождения стояла очень остро. Презрение, с которым он всю жизнь относился к аристократии всех времен и народов, и которое, как и любое «классовое» чувство, легко интерпретировать как элементарную зависть, выдержано в лучших традициях Комитета общественного спасения 1793 г. Сам себя он считает «простым армейским офицером», «простолюдином» (любимая ерническая самооценка), который с трудом продвигался по служебной лестнице, пробивая путь тяжкими трудами и талантом, и должен был при этом уступать ее людям, все достоинства которых заключалось в титуле и связях семьи. Характерно его замечание в «Записке о посольстве в Персию», где он пишет, что реформам в этой стране могут воспротивиться вельможи, зная, которая боится, чтобы «достоинства (обычных людей —

М.Д.) не похитили нечто от преимуществ, породе принадлежащих — опасность, порождающая одинаковую боязнь в знатных всего мира»¹³.

Когда в 1817 г. он слишком долго, как ему казалось, ожидал награды за успешное завершение посольства в Персию, он говорил Закревскому: «Заметь... что **Строганов** в Константинополе не более меня успел сделать, а награждение тотчас дали. Я правду тебе говаривал, что одно из преступлений моих то, что я незнатной фамилии и что начальство знает, что я кроме службы других средств никаких не имею... Крайне больно мне, что о вознаграждении меня нужны хлопоты..., тогда как многим весьма другим за меньшие гораздо заслуги успели бы сделать множество приятностей. Скажи, если бы в моем положении нашелся **брат Михайло**, чтобы ему до сего времени сделали? Я умалчиваю о множестве немцев, которые, по крайней мере, равные с нами имеют преимущества»¹⁴. Даже отбросив продиктованную сиюминутной обидой претензию на то, что начальство не любит награждать его одного, легко видеть, что точка зрения на незнатность и бедность как препятствие для карьеры возникла у Ермолова не в 1817 г. Это еще резче подчеркивает искренняя радость, с которой он встретил долгожданную награду — чин полного генерала: «Я могу большим числом считать умножившихся друзей моих, ибо не против одних только виноват я старших (чином — *М.Д.*), но и против тех, кто превосходит меня рождением, воспитанием, знатными связями, известностью у двора и проч. Тут входят все завидующие, которые на старшинство не смотрят.. Признаюсь, что радостию моею много обязан я тому, что Государь наградил во мне простого солдата, усердного к службе его, и не остановился за тем, что имя мое не столько знако-

мо общему слуху или не так приятно звучит в ушах, как имя, воспоминающее знаменитые заслуги или происшествия, то есть, что Государь не основывается на том, что достоинства праотцов должны быть непременно наследием потомков, а смотрит на дела каждого. Иначе и тебе и мне, как и подобным нам, доставались бы в удел большие труды и весьма малые приятности»¹⁵.

Ермолов неоднократно «превентивно» отказывался от возможного присвоения ему графского титула, что было достаточно необычно на фоне тогдашней эпидемии «титуляризации» русского генералитета. Так, в марте 1818 г. он пишет Закревскому, что если его «сделают» графом, то «жизни рады не будут» — «довольно с вас Милорадовичей и Тормасовых, которые от подобных пустяков без памяти», ему же, «все средства в службе заключающему, надобно то, что дает право на некоторую команду, единый способ оказать усердие и добрую волю к трудам»¹⁶. Здесь уже не эмоции, а чувства, отвердевшие до принципа. Невольно вспоминаются строки из Диогена Лаэртского, где говорится, что для людей, привыкших презирать наслаждение, само это презрение становится высшим наслаждением.

Однажды Ермолов, правда, вспомнил о своей родословной, но исключительно в тактических целях. Сначала азербайджанским ханам, а затем и персам во время посольства он сообщил, что является потомком Чингисхана, что было правдой, но добавил, будто его предки-татары лишь недавно стали христианами, что не совсем соответствовало действительности. «Персы с уважением смотрели на потомка столь знаменитого завоевателя». «Я видел, — замечает Алексей Петрович, — что мне нетрудно быть

потомком даже Тамерлана». Это было сделано не только для того, чтобы повеселить себя и друзей. Знаток Востока, Ермолов полагал, что в случае войны с Персией ничто не остановит русских солдат, возглавляемых потомком Чингисхана. «Государь не подозревает, что он между подданными своими имеет столько знаменитого человека, предупреди его... Легко быть может, что персияне узнавать будут, точно ли я чингисхановой породы. Я писал и к Каподистрию»¹⁷. Кстати, о своем происхождении вспомнил однажды и Давыдов:

«Блаженной памяти мой предок Чингисхан
Грабитель, озорник с аршинными усами...»¹⁸

Но взгляд Давыдова на происхождение куда лучше характеризует не шутивное послание гр. Строганову, а следующие строки из письма Закревскому: «Так как ты не из того класса, который в колыбели валяется на розовых листах и в зрелые годы не сходит с атласного дивана, а из наших братьев, перешедших на диван (и то кожаный, и по милости Царя и верной службы) с пука соломы, то я смело решаюсь опять беспокоить тебя...»¹⁹ Здесь продолжается линия юношеского послания к Бурцову, где у хозяина, который «слава Богу, не великий господин», «все диваны заменяет куль овса», где внешние атрибуты быта — как бы знак принадлежности к «нашим братьям».

Аналогичную позицию занимает Закревский. «Служу, как прилично званию офицера без фамилии и сколько сил имею», — пишет он Воронцову, а в следующем письме добавляет: «Никогда не могу быть ни большим барином, ни случайным человеком»²⁰.

У них сформировался стереотип психологии «простолудина», «офицера без фамилии», который сделал себя сам, всем обязан «Царю и верной службе». Ясно, что в этом случае им не нужно «подпирать» себя длинной родословной — это только уменьшило бы ценность сделанной карьеры. Понятно, что такая позиция подразумевает если не прямую враждебность, то, по крайней мере, скепсис по отношению к представителям «класса», выросшего на «розовых листах», противопоставление себя тем, кто пользуется какими-то преимуществами по праву рождения. Можно спросить, а как же их отношения с Воронцовым? Никак: во-первых, Воронцов был очень талантлив, что подтверждали и враги его, а во-вторых, перефразируя известное высказывание, у каждого якобинца есть любимый аристократ. Впрочем, ни Ермолов, ни Закревский никогда не забывают о знатности «брата Михайлы».

В письмах Киселева и Сабанеева нет обращения к этой теме. Киселев, как говорилось, принадлежал к роду знатному, но обедневшему, что, возможно, сближало его с такими людьми, как Ермолов и Закревский. Возможно, они не придавали этому значения, а возможно, что и придавали (общее мироощущение их, несомненно, близко ермоловскому), но не считали нужным писать об этом постоянно, как это делал Алексей Петрович.

Наших героев объединяло и то, что они не были придворными. Эта мысль, на первый взгляд, может показаться несколько странной, ибо Воронцов, Закревский и Киселев были флигель-, а затем и генерал-адъютантами. Можно, например, вспомнить пушкинские строки, посвященные Киселеву:

На генерала Киселева
Не положу моих надежд.
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным медленным обедом,
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный:
Обещанья ему не стоят ничего.

Однако в понимании героев нашего рассказа не быть придворным означало нечто иное. Что именно, хорошо показал Ермолов в своих мемуарах: «В Полоцке, по отъезде Государя (в первый месяц Отечественной войны. — *М.Д.*) случилось мне обедать вместе с оставшеюся его свитою, и я заметил разность в тоне, какую перемену в обращении! Государь увез с собою все величие и оставил каждого при собственных средствах. Люди, осужденные быть придворными, умеете снискать уважение собственными достоинствами, или, заимствуя блеск другого, умеете его отражать... Неужели думать надобно, что много было сходства между придворными всех времен?» — риторически вопрошает Ермолов, хорошо зная ответ. Еще откровеннее эта же мысль высказана в «Записке о посольстве в Персию»: «С удивлением заметить надлежит, что люди придворные в Персии похожи на всех других придворных, и тогда как народы между собою не имеют... легчайшего подобия в свойствах, они как будто одну особенную нацию составляют, различествуя только в угодливости, которая определяется мерой просвещения»²¹.

Ни Воронцов, ни Закревский, ни Киселев не попадали, разумеется, в эту категорию. Они были «придвор-

ными жителями», что называется, вопреки господствующей тенденции.

«Мы познакомились не в передних и не [на] вахт-параде», — эта фраза Воронцова сразу отсекает определенный круг знакомств и сообщает им ясную цену.

Жизнь «в передних» и по соседству с оными — не для наших героев. Вот, например, что писал Сабанеев Закревскому в 1823 г.: «По всем слухам я назначаюсь, как говорят все, военным министром. Господи Боже мой! Мне, право, жить недолго, и если кому-нибудь нужно мое место, то пусть определяют меня куда хотят, только не в министры. Мне ли грешному старому инвалиду фигурировать на узорчатом паркете? Какую пользу принесу я, занявши такой пост?... Знаю, чем обязан я Царю и царству. Готов был умереть солдатом, но если высшей власти неужгодно, то буду просить заблаговременно увольнения, ибо при получении уже назначения просьбу об отставке справедливым образом сочтут за упрямство...

К осени ожидаем Государя... хлопот бездна, а министерство отнимает руки: как вспомню, что надобно расстаться, так и сердце кровью обливается. Посуди, любезный, вот уже 36 лет живу с солдатом, и, наконец, в преклонных летах вместо покоя назначают министром!...

Петр Иванович (Меллер-Закомельский. — М.Д.) старше меня, да был министром, но Петр Иванович, почтеннейший Петр Иванович, дай бог ему здоровья, век свой провел в Петербурге, а я в поле. Если думают, что я дрянной генерал, ведь у Государя мест много — да пускай взглянут и на других лучших»²².

Немногие, конечно, сочли бы пост министра за такое наказание, каким его считает Сабанеев, причем

совершенно искренне. Но его непреклонность имеет неоспоримое для него самого основание: «узорчатый паркет» не для тех, кто «век свой провел... в поле». «36 лет живу с солдатом» — это жизненная философия. И П.И.Меллер чудесный человек (наши герои его очень уважали), он много и храбро воевал, а все ж «век провел в Петербурге». Каждому свое.

Ермолов поначалу отказался от начальствования гвардейской артиллерийской бригадой и перешел в гвардию лишь по личному настоянию царя, хотя упорно твердил о том, что боится парадной службы. Уже в столице он пытался вернуться обратно, поближе «к солдату» и подальше от разводов, отнимавших у тех, кто служил в Петербурге, большую часть времени²³.

«Ты пишешь, что если бы не армейские наши товарищи, то бы умер от скуки в Петербурге, к коего большому свету ты приучить себя не можешь — верю, брат, и похваляю! И я так же здесь живу, вижусь с одними короткими, а вельмож и знать не хочу», — сообщает Закревскому Д.Давыдов из Москвы с 1815 г. Закревский неоднократно жаловался на то, что в столице ему не очень-то весело, что придворная атмосфера не для него. Друзья это хорошо чувствовали. В 1820 г. Давыдов, благодаря его за помощь в получении отставки, писал: «Хотя и привык к доказательствам твоей дружбы, но всякое новое доказательство меня более и более привязывает к тебе, да идет мимо тебя чад придворный, от которого угорели так много мне известных и некогда почитаемых мною людей! Будь, что ты есть, и будешь единственным!»²⁴

Сказанному не противоречит то, что Ермолов, например, умел «политиковать по-придворному» и обладал выраженной склонностью к интригам. Все рав-

но он не укладывался и не мог уложиться в рамки двора, равно как и Киселев, большую часть жизни стоявший в оппозиции к придворным кругам, даже в бытность министром при Николае I.

Был еще один важный момент, сближающий большинство наших героев. Вспомним толстовскую классификацию противоборствующих группировок в главной квартире русской армии накануне и в начале Отечественной войны: «Первая партия была: Пфуль и его последователи... К этой партии принадлежали немецкие принцы, Вольцоген, Винцингероде и другие, преимущественно немцы.

Вторая партия была противоположна первой... Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем были и представителями национальности. Это были русские: Багратион, начавший возвышаться Ермолов и другие. В то время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего Государя об одной милости — производства его в немцы»²⁵.

Здесь многое схвачено очень точно. Действительно, русско-немецкий антагонизм, о котором словно бы забыли при Екатерине II и который вновь возник при Павле и усилился при Александре I, был достаточно важным компонентом психологической атмосферы общества того времени. Принадлежность наших героев (исключая, возможно, Воронцова) ко второй партии известна. Но здесь необходимы некоторые разъяснения.

Ермолов, описывая свои скитания по канцеляриям Военной коллегии в 1801 г., объясняет, почему, несмотря на отличия екатерининских времен, он долго не мог получить назначения: «Неизвестен я был в эк-

зерциргаузах, чужд Смоленского поля, которое было школою многих знаменитых людей нашего времени»²⁶. За противопоставлением Ермолова, боевого офицера, награжденного двумя самыми почетными орденами, и «знаменитостей», выросших на Смоленском поле, легко увидеть противопоставление царствования Екатерины II царствованиям ее сына и внука: Павел привел к власти «людей новой категории», а Александр опирался на них в своем «кротком правлении». Во что это обошлось России, Ермолов последовательно показывает в своих воспоминаниях о войнах 1805—1812 гг. Павел не зря обещал «вышибить потемкинский дух» из русской армии: то, чего не успел сделать он, довершили его дети. Наши герои (за исключением Давыдова и Сабанеева) переживут еще позор Крымской войны, закономерно увенчавший 60-летние «страсти по Гатчине».

Известно, что Екатерина II, немка по крови, была русской, российской императрицей по самому духу своего правления (добровольно или нет — в данном случае не важно). В частности, она не допускала на высшие командные должности в армии немцев и вообще иностранцев. Да, конечно, среди них было немало генералов и адмиралов (например, Дерфельден, Ферзен, Пален, де Рибас, Джонс и др.), но в большинстве случаев они не играли первых ролей. Другое дело Павел и Александр I. Их дворы сделались прибежищем иностранцев всех категорий, причем, увы, такие люди, как гр. Штейн, были среди них в меньшинстве. Процент немцев, занимавших важные посты, резко возрос, и этот процесс со временем усиливался. Понятно, что это не могло радовать русских дворян, «представителей национальности», по выражению

Л.Н.Толстого. Их оскорбляло предпочтение, которое Александр оказывал иностранцам типа Фуля, их возмущало, что корпоративная сплоченность немцев оттесняла русских от власти, мешала их служебному продвижению.

Ермолов и после 1812 г. оставался глашатаем недовольства немецким засильем. В 1818 г. он удивляется, что среди командующих нет ни одного с русской фамилией, а в 1820 г. деланно недоумевает по поводу того, что среди *полковых* гвардейских командиров ее имеет только один. «Отличных людей ни в одном веке столько не бывало, а *особливо* немцев. По простоте нельзя не подумать, что у одного Барклая фабрика героев. Там расчислено, кажется, на сроки, и каждому немцу позволено столько времени занимать место, сколько оного потребно для отыскания другого немца, сверх ежегодно доставляемого... из Лифляндии приплода»²⁷. С течением времени социальная конкуренция с немцами обострялась все больше, и наши герои были солидарны в негативном отношении к этому явлению.

«Дибич любит себя, не службу, о которой он много говорит и трубит подчиненным, — пишет Закревский Киселеву в цитированном уже письме в 1820 г., — впрочем, он ни в каком случае себя не забывает и от службы не разорится, как другие; но зато Государю потакает во всем отлично-хорошо и сим возьмет очень много. Не забудь, что он немец, — эти люди редко пропадают. Дибич — офицер хороший и с большими познаниями, если бы он только не придерживался последним двум достоинствам»²⁸. Здесь очень точно определена едва ли не главная причина служебного преуспеяния Дибича и иже с ним. Если наши герои по-

зволюют себе активно не соглашаться с «Белым», если считают это необходимым для пользы службы, то Дибич не просто со всем всегда согласен, но «потакает» царю «отлично-хорошо». Нечего говорить о том, что при абсолютном бескорыстии и крайней щепетильности наших героев в отношении казенных денег они оказывали предпочтение тем, кто «разоряется от службы», перед теми, кто «себя не забывает». Практически у каждого из героев этого рассказа мы найдем шпильки разной длины в адрес немцев и немецкого засилья.

Вместе с тем для них немец — далеко не всегда человек, носящий немецкую фамилию. С большим уважением и симпатией они относились, например, к Беннигсену, который, кстати, как и Дибич, не был русским подданным, к Палену (сыну главы антипавловского заговора), для описания мужества которого Ермолов обращается к Горацию, Меллер-Закомельскому и многим-многим другим. Мы уже не упоминаем о любимых адъютантах Ермолова — М.А.Фонвизине и П.Х.Граббе (Фонвизины, правда, давно обрусели). Критериями здесь были, как можно судить, во-первых, включенность человека в неофициальную немецкую «корпорацию», в «фабрику героев», и, во-вторых, тип поведения в широком смысле. Предпочтение, естественно, отдавалось тем, кто служил России за совесть, отдавая всего себя этой службе, а не ландскнехтам, «потакавшим» начальству и не слишком разборчивым по части казенных сумм. С этой точки зрения, многие русские по национальности современники, к которым наши герои относились куда хуже, чем к Дибичу, с полным правом могли бы называться «немцами».

Таковы некоторые из составляющих мировосприятия наших героев. Нетрудно видеть, что они относи-

лись к числу лучших людей своего времени, отнюдь не обделенного яркими личностями. В их внутреннем мире сочеталось наследие русского XVIII в. и тот богатейший личный опыт, который они приобрели в эпических событиях начала XIX в. Их личные качества — патриотизм, храбрость, независимость поведения, честность в соединении с высокой талантливостью — обеспечили им большую (иногда — огромную) популярность среди современников. Воздействие наших героев на окружающих было велико. Не будет ошибкой сказать, что именно такие люди были питательной средой не только для лучших представителей молодого поколения, но, забегая вперед, и для деятелей Великих реформ.

После войны

Величайшая война в истории человечества закончилась.

15 октября 1815 г. фрегат «Нортумберленд» бросил якорь у острова св.Елены.

Еще не были погребены все, кто сложил голову в 1812 г., еще лежали в развалинах города и села, Березина и старая Смоленская дорога хранили следы Бедствия. Но на огромном пространстве от Москвы, где под обгоревшими липами Тверского бульвара уже давались концерты, до Вертю, где после генеральной репетиции в день Бородина 107 тысяч русских солдат и офицеров прошли на параде перед своим императором, от Петербурга, где высилась триумфальная арка, через которую русская гвардия вошла в столицу, до Неаполя, где вместо расстрелянного Мюрата королем вновь стал Фердинанд, заявивший, что он проспал 25 лет (с 1789 по 1815 г.) и знать не желает, что за это время произошло, — на этом огромном пространстве уже начинали проступать контуры новой эпохи, закручивалось новое сплетение миллионов судеб.

Русские полки возвращались домой...

Александр I привыкал к неслыханной славе и роли фактического распорядителя судьбой континента.

Долгих 14 лет он должен был строить свою жизнь, сообразуясь с существованием Наполеона. И вот теперь он стал как будто свободен. Можно было начинать сооружать свой мир.

1815—1817 гг. — завязка последующей истории страны. В эти годы прокладываются колеи, по которым потечет долгие годы правительственная политика, внутренняя и внешняя.

Подданные российского императора привыкали к мирной жизни, точнее, отвыкали от войны, длившейся практически без перерыва с 1805 г. Современникам после окончания глобальных исторических катаклизмов непросто, как правило, предвидеть, что будет через несколько лет, какие из первых мирных событий окажутся эпитафией к послевоенной эпохе, тем более, что и Власть не всегда это знает наверняка. Нам, представляющим теперь, каков был конец, кажется, что царь недолго оставлял страну в неведении: вновь восходит, и теперь уж до нового царствования, звезда Аракчеева. Современники удивляются, негодуют, потом смиряются, продолжая негодовать, но больше про себя. Вторая половина царствования Александра I чаще всего представляется временем беспросветной реакции с легким налетом лицемерной либеральной болтовни. Это упрощение понятно. Несколько десятков «молодых якобинцев» легче увидеть на мрачном фоне аракчеевщины, военных поселений, Священного союза, погрома университетов, мистицизма и т. п. Аракчеев и все остальное — это, естественно, правда. Но не вся. Ибо как забыть о знаменитом российском парадоксе тех лет: правительство и заговорщики в тайне ото всех одновременно пишут будущие конституции страны.

Давно известно, что содержание эпохи было куда сложнее. В те самые дни 1814 г., когда император написал Аракчееву, что пора им «приниматься за дело», у него произошел следующий инцидент с Шишковым. В манифест об окончании войны адмирал вставил рассуждения о помещиках и крестьянах, об их «на обоюдной пользе основанной, русским нравам и добродетелям свойственной связи». Александр, прочтя эти слова, вспыхнул и оттолкнул текст, сказав, что не может подписывать того, что противно его совести, и решительно вычеркнул слова «на обоюдной пользе основанная ... связь».

Падение Сперанского в преддверии Отечественной войны означало, как будто, что царь отказался от реформ. Казалось бы, тем меньше оснований у него было возвращаться к довоенным идеям и планам: война выиграна, самое время «перейти» к реакции, которая так часто обуславливается самим фактом победы. Ведь правительство уверено в своих силах и в силе порядка, который позволил устоять и победить, к тому же на его стороне подъем патриотических чувств, который проходит не вдруг.

Однако Александр не только не забыл о реформах, но как будто вернулся к «прекрасному началу» своего царствования. Самодержавный император готовился стать конституционным королем Польши. И не только Державину он говорит, что пора заняться внутренними делами после того, как с Божьей помощью решили дела внешние.

Члены тайных обществ, возникавших в те годы, врагами правительства станут в массе своей позднее. А пока «молодое... поколение, которое вступило на гражданское поприще в первые десять лет царствования

Александра, воспитанное под влиянием свободолюбивых начал, им провозглашаемых, вполне сознавало, как далеко Россия отстала от Европы в истинной цивилизации; но, любя и уважая Александра, оно спокойно ожидало от него благодетельного преобразования, готовясь усердно ему содействовать». Николай Тургенев записывал в дневнике в 1815 г.: «К чести и благополучию России наше правительство отличается либеральностью и патриотизмом». Эти юноши в большинстве своем только слышали о Павле, они не знали, что чувствовали русские офицеры после Аустерлица, Фридланда и Тильзита. Они прошли путь от Смоленска до Бородинна и от Тарутина до Парижа. А это эмоционально совсем другое взросление. Кроме прочего, им не пришлось ужасаться якобинству и хоронить идеи, которыми жили в юности, как это было с некоторыми представителями поколения Ермолова и Воронцова и более старшего.

Как ни странно, с точки зрения идейной они во многом были ближе царю, чем его ровесники, которые в массе не хотели никаких изменений и неодобительно слушали даже разговоры о возможных реформах.

Одновременно появились вполне легальные проекты, авторы которых намеревались покончить с крепостным правом или, по крайней мере, облегчить положение крестьян. Причем эти проекты выходят из-под пера весьма серьезных людей. Проекты радикальны в разной степени, но важно, что идея «носится в воздухе», и не один «западный ветер» тому причиной. Это знак времени: необходимость перемен понимают не только юные гвардейцы, но и люди старшего поколения, хотя и далеко не все. А скоро в Варшаве Ново-

сильцев начнет работу над «Уставной грамотой Российской империи», будущей конституцией. Обычная полифония истории.

В 1815 г. Александру I и Ермолову было 38 лет, Воронцову — 33, Сабанееву — 43, Закревскому — 29, Киселеву — 27, Давыдову — 31, Аракчееву — 46, Пушкину — 16, Карамзину — 49, Сергею Муравьеву-Апостолу — 20, а его брату Ипполиту — 9 лет.

* * *

После войны наши герои получают новые назначения: Воронцов остается во Франции командовать русским оккупационным корпусом, Ермолов в 1816 г. становится командиром Отдельного Грузинского корпуса, Сабанеев — 6-го корпуса в Молдавии, Закревский — дежурным генералом Главного штаба; Киселев до 1819 г. совершал ряд инспекционных поездок по личным заданиям императора, а затем стал начальником штаба 2-й армии. Сейчас мы попытаемся дать весьма краткий очерк служебной деятельности наших героев. Трудно говорить о военачальниках, не уяснив их отношений к подчиненным и с подчиненными.

Закревский в Петербурге

Не у одних вас ученья; и у нас так часто бывают оные, что не знаю, куда класть больных, которых лежит в госпиталях более 5 тысяч человек.

Ученья мне так надоели, что не могу вам описать. Это вам может описать Сабанеев.

Закревский — Воронцову.

В классических, так сказать записных реакционерах как-то не хочется открывать личность. Помещался человек в соответствующей «табели о рангах» где-то в классе Булгарина ближе к Дубельту, давно уже был удобным объектом для тренировки праведного обличительного пафоса. А тут вдруг выясняется, что он неглуп и принципы имеет, да и не такой уж реакционер, по крайней мере, в эти годы: царя поругивает, с Аракчеевым не здоровается. И вообще, чувство юмора есть. И человек «оживает». И в который раз понимаешь, как вредны стереотипы. Это — о Закревском, но не только о нем. Д.В.Давыдов как-то писал Закревскому: «Сердце твое русское, твердость английская, а аккуратность немецкая» (не преминув, конечно, добавить, что последняя есть «единственное доброе качество сей нации»)¹. Имеющиеся в нашем распоряжении письма Закревского добавляют к этой искренне комплиментарной и, по-видимому, верной характеристике язвительный нрав при выраженном критическом строе ума и остром чувстве собственного достоинства «офицера без фамилии». Впрочем, уже откры-

тая вражда Закревского с цесаревичем и, что было куда опаснее, с Аракчеевым говорит о многом.

Человек методичный и наблюдательный, Закревский, оказавшись в конце 1814 г. в Петербурге, недолго разбирался в порядках, царивших в высшем эшелоне власти, важным элементом которого стал и он сам. Восторги первых недель после возвращения гвардии царя стали привычными, т. е. улеглись. Да они лишь слегка потревожили обычную (вспоминая Л.Н.Толстого) жизнь Петербурга. Эта жизнь коррумпированной столицы продолжалась всегда, продолжалась она и в то время, когда где-то там, далеко, гибли сотни тысяч людей, решались судьбы человечества, рушилась империя Наполеона, а короны превращались в подобие эполет — их можно было получить как отличие и лишиться за проступок.

«Ваш конгресс нам так наскучил,... что мы выходим из терпения и желаем, дабы царь наш скорее возвратился в Россию для искоренения явного воровства», — пишет Закревский Киселеву в Вену в начале 1815 г. И тогда же жалуется, что должность непосильна, тяготит его, что карьера окончится командованием какой-нибудь армейской бригадой и т. п. А объясняет эти жалобы короткое замечание: «За правду начинают сердиться, молчать же мне нельзя»². Вообще говоря, такого рода «самооговоры» в неспособности, сетования на трудности были в некотором смысле как бы ритуальными: их можно встретить не только у наших героев, но и у многих их современников. Но в данном случае в них есть немалая доля истины, ибо люди, подобные Закревскому, должны были неизбежно вступать в конфликт с Системой. К тому же они не молчали, как другие.

В декабре 1815 г. Александр вернулся в Петербург. Современники согласно отмечали, что приехал он совсем в другом настроении, чем год назад. Вигель писал: «Александр казался скучен, говорят, даже сердит. Никакими восторгами Петербург его не встретил. Казалось, Россия познала, что наступило для нее время тихое, но сумрачное. Государь начал показывать себя вновь взыскательным и строгим»³. Возобновилась муштра, почитавшаяся за верное средство подтягивания дисциплины, начались парады, офицерам запретили носить фраки и пр. Словом, началась довоенная жизнь, правда как выяснилось позднее, скорее по форме, чем по сути.

Царь попытался искоренить «явное воровство». Кн. А.Горчаков, управлявший военным министерством, был удален от должности, а его сотрудников, использовавших благодушие начальника для личной наживы, арестовали. Статс-секретарь Молчанов, через которого производились многие неблагоприятные дела, был отставлен. Военное министерство было реформировано. Из него выделился Главный штаб, ставший, по сути, центром военного управления; за министерством осталась продовольственная, денежная и счетная части. Штаб возглавил кн. П.М.Волконский, дежурным генералом стал Закревский, военным министром — П.И.Коновницын.

Впечатления вступившего в должность Закревского хорошо показывают, что скрывалось за блестящим фасадом Российской империи тех лет. Чуть ли не на парадной лестнице, недалеко от Зимнего, он застаёт картину, которая больше всего напоминает впечатления Чичикова от визита к Плюшкину: «При вступлении моем в Должность я нашел Инспекторский де-

партамент в отношении к наружности в том жалком виде, который известен всякому, кто посещал когда-либо бывшую Военную коллегия. В комнатах с грязным полом и с покрытыми паутиною стенами около столов изломанных, изрезанных и замаранных чернилами сидели неопрятно одетые, а инде в рубищах чиновники и писаря на изломанных же, веревками связанных стульях и скамейках, где вместо подушек употреблялись журнальные книги. Большею частию стеклянные и глиняные помадные банки служили чернильницами; полено дров нередко клалось вместо прессара... Под столом и везде на полу валялись кипы бумаг в пыли и беспорядке, а между ними дрова с водою...»

Легко возразить: в конце концов не интерьер Военной коллегии определял состояние русской армии. Конечно. Но мы убедимся в том, что эта картина была типической и по форме, и по содержанию.

В прямом подчинении у Закревского находился, во-первых, инспекторский департамент, во-вторых, аудиториатский департамент, в-третьих, военно-сиротские отделения, и, наконец, корпус фельдъегерей. Внутреннее состояние этих частей вполне соответствовало «наружности». В инспекторском департаменте, например, на 1 января 1816 г. оставалось около 4000 нерешенных дел, в аудиториатском — одних только военно-судных — 237, причем по ним содержались в заключении 413 подсудимых, из которых многие от 3 до 6 лет и более ожидали решения своей участи. Неизвестно было даже, сколько дел рассматривалось и какие, поскольку учета не велось. Начальники на местах постоянно жаловались на нехватку способных аудиторов, т. е. военных юристов, «редкое дело не по-

казывало упущения аудиторов, вообще неопытных»⁴. Правительство не делало ровно ничего для исправления положения, и не только потому, что шла война, но и потому, что военное судопроизводство никогда его всерьез не интересовало.

Словом, работа Закревскому предстояла большая. Уже через два-три года у него начинаются постоянные головные боли от чрезмерных занятий по службе, и он, едва дожив до 30 лет, должен был серьезно лечиться. Однако на своем посту Закревский сделал очень много полезного для русской армии.

Письма Арсения Андреевича Воронцову представляют большой интерес, ибо дают возможность судить о некоторых характерных чертах жизни столицы в 1816—1818 гг. Вот несколько выдержек из этих писем, позволяющих также определить взгляд Закревского на правительственную политику в целом:

«Скажите, где нет беспорядков и злоупотреблений по департаментам комиссариатскому и провиантскому? Сие не скоро в оных искоренить можно, следовательно, не удивляйтесь злоупотреблениям»;

«Не удивляюсь, что министры наши пользе государственной мешали; когда же они сего и не делали?... Никогда сего они не оставляли и не оставят... Я такое получил наследство по департаментам, мне порученным, что никак не надеюсь оные исправить, при всем моем усердии»;

«Под секретом. Государь... к 15-му сентября желает непременно быть в Варшаве, где намеревается, как говорят, короноваться. Очень нужно!.. Ермолову здесь так наскучило жить без толку, что в отчаянии. Все испытывает в Петербурге министров и разного роду сволочь»;

«У нас все смирно; дела идут по всем министерствам так, как вы слышите. Воровство не уменьшается»;
 «У нас всякий день разводные ученья гвардии»;
 «У нас кроме ученья ничего нового нет»;
 «У нас поселение водворяется, и уже напечатана гр. Аракчеевым первая книжка; бредни препорядочные»;
 «Гражданская часть в ужаснейшем положении противу прежнего».

Итак, неискорененное царем воровство, злоупотребления на фоне бесконечных парадов, Польша и военные поселения как плоды деятельности императора и Аракчеева. И если «Змея» Закревский ненавидел — «вреднейший человек в России», то и Александра I оценивал весьма критично. Вот, например, как Закревский описывал Воронцову введение особых фурштадтских батальонов, которые должны были снабжать армию провиантом в военное время: «Государю в Петербурге понравилось, ездивши по мостовой: во всей форме сидит правящий фурлейт лошадыми, в кивере и сабле. Как вы думаете: неужели везде будет такая дорога во время действия, как в Петербурге мостовая?.. Нам могут служить примером форшта-ты австрийские, от которых солдаты умирают с голоду. Мнения не посылайте ни к Аракчееву, ни к Государю, поздно, да и не послушают, ибо видят пользу бесполезную в Петербурге»⁵.

В этих строках едва ли не классический образец внедрения в жизнь новейших «достижений» российской государственной «мысли». Главное, чтобы хорошо выглядело в Петербурге на мостовой при полной форме. Остальную Россию приравнять к Петербургу. И еще: сделать что-то хорошее всегда оказывается почему-то «поздно, да и не послушают».

Закревский гораздо раньше своих друзей понял истинное положение дел в стране. Во многом ему было психологически гораздо тяжелее, чем, например, Ермолову или Сабанееву, ибо он каждый день видел как функционирует высший эшелон Власти. Он знал больше, и не от того ли в его письмах так часто встречаются печальные обобщения, касающиеся настоящего и будущего России?

Воронцов во Франции

Надувайте всех своею скромностию, как до сего времени делаете, то всех верно обворожите.

Закревский — Воронцову.

Чем больше человек принадлежит потомству, т. е. собственно человечеству вообще и в целом, тем более он чужд своему веку; ибо то, что он производит, посвящено специально не этому веку.

А. Шопенгауэр

После «Ста дней» по решению Венского конгресса Франция была оккупирована на три года. Из войск стран-победительниц была составлена армия под командованием Веллингтона. Русский оккупационный корпус (27 тыс. человек при 84 орудиях) возглавил М.С.Воронцов. Выбор царя, разумеется, не был случайным. Один из наиболее известных русских генералов, герой кампании 1814 г., Воронцов по происхождению, родственным связям с английской аристократией и образованию как нельзя более подходил для выполнения миссии, которая была не только военной, но и дипломатической.

Задачи, стоявшие перед Михаилом Семеновичем, были не так просты, как может показаться на первый взгляд. Конечно, маневры перемежались поездками в Париж, и не только по делам службы. Но его корпус был в основном составлен из частей, воевавших без перерыва с 1805 г., а значит уставших в достаточной мере от дисциплины. При этом они на три года долж-

ны были остаться «в покое, в изобильном, хорошем краю» и при отличном содержании, причем порядки в «хорошем краю» были совсем не те, что дома. Уже кратковременное пребывание русской армии в Париже в 1814 г. показало, что демонстрировать Европу бывшим крепостным не вполне безопасно. Число беглых нижних чинов свидетельствовало отнюдь не в пользу отечественных обычаев. К тому же по соседству с корпусом Воронцова находились войска союзников, где атмосфера также была иной. «Должно было бояться, что дисциплина и субординация могут потерпеть», — не без основания писал в 1818 г. Воронцов царю в докладной записке¹, наконец, было важно, во-первых, не оставить по себе плохой памяти во Франции, и, во-вторых, сохранить хорошие отношения с союзниками.

Колоритную зарисовку жизни русских военных во Франции оставил Вигель. Через полмили после Валансьена, в котором стояли англичане, он увидел казаков: «Невольно взыграло во мне сердце, я вступал в русские владения. Далее показался деревянный столб, выкрашенный белою и черною краской с красными полосками. Не вдруг разглядев, что это такое, спросил я у ямщика. «Да это проклятые черти русские поставили нам», — отвечал он с досадой, принимая меня за француза. Написано было по-русски расстояние от каждого городка и я, считая версты, поехал как бы по Московской дороге. Каково было смотреть на это воинам Наполеона, которые осенью в двенадцатом году утверждали, что Смоленск во Франции! Никто из других военачальников Веллингтоновской армии ничего подобного не мог себе позволить. За такую наглость спасибо Воронцову, хотя она могла иметь вредные

последствия. С великобританской гордостью, враг Наполеона и Франции, он по-русски умел подражать их хвастовству. Тщеславие жителей не дало им понять, сколь унижительно такое хозяйничанье для их национальной чести, а я тотчас почувствовал, как оно усладительно для нашего народного самолюбия». Русские, пишет Вигель, были щедры, жили широко в отличие от англичан и пруссаков и, «следуя примеру своего начальника, были приветливо горды с жителями и старались задабривать их ласками и деньгами». В Мобеже, где располагалась корпусная квартира, французской речи слышно не было вовсе. Вигель нашел там не только квас и блины, но и русскую баню.

Самым популярным человеком здесь был, конечно, Воронцов: «Надобно... предполагать в нем нечто необычайное, покоряющее ему людей, несмотря на все слабости. Мобеж был полон его имени, оно произносилось на каждом шагу и через каждые пять минут. Он составил дружину из преданных ему душою... людей. Для них... имел он непогрешимость папы; он не мог сделать ничего несправедливого или неискусного, ничего сказать неуместного; беспрестанно грешили они против заповеди, которая говорит: не сотвори себе кумира. Не быв царем, вечно слышал он около себя лесть, только чистосердечную, энтузиазмом к нему произведенную»². Вигель не любил Воронцова, и тем ценнее нотки восхищения, прорывающиеся в этом описании.

Воронцов, к слову говоря, умел оградить достоинство России и «усладить народное самолюбие» не только установкой верстовых столбов между «Волосенем» и «Овином» (так солдаты называли Валансьенн и Авен, вскоре к этому привыкли и офицеры). Отношения с

французами не всегда были такими идиллическими, как описывает Вигель. Особенно частыми поначалу были конфликты с таможенниками, причем виноваты бывали обе стороны (Воронцов писал Закревскому, что казаки с трудом понимают, почему провезти табак через границу — преступление). По конвенции, в случае конфликтов и столкновений нарушители выдавались «своему» начальству и должны были судиться по законам своей страны. Французские власти первое время не были склонны выполнять это условие. Дело дошло до того, что они дали возможность убежать из-под стражи таможеннику, который без всякого повода убил казака, и при этом уверяли Воронцова, что судят его. Веллингтон был в отъезде, но Воронцов не стал ждать его возвращения. «Дабы с самого начала преградить путь к подобному вперед, я решился сам объявить французским высшим властям, что после столь постыдного поступка одного из важных гражданских мест (Авенского трибунала — *М.Д.*) я должен был неминуемо вопреки конвенции почитать себя на военной ноге и что каждого виновного против нас француза буду судить нашими законами и подвергать по оным наказанию, хотя бы привелось и расстрелять». Одновременно по корпусу был отдан приказ всех виновных французов приводить под караулом в главную квартиру. Ответ Парижа, внешне лояльный, по сути содержал отказ в требовании Воронцова судить виновных в побеге убийцы казака. Вслед за этим неподалеку от таможни был убит русский артиллерист. Тогда Воронцов послал туда две роты, арестовавших всю таможенную команду во главе с офицером. Хотя следствие показало их невиновность, Воронцов продержал их под стражей 36 часов, а на прощание заметил, что «ежели

бы между ими в сем случае нашел убийцу, то тут же на площади по суду оный был бы расстрелян».

«Сие подействовало, — сообщает Воронцов царю, — что вслед за сим последовало из Парижа удовлетворительное исполнение моего настояния... С тех пор вообще трибуналы, по крайней мере, сколько до судей касалось, показывали нам не только беспристрастие, но даже усердие и ревность».

Вигель был человеком посторонним и к тому же невоенным. А между тем именно скрытая от наблюдателя деятельность Воронцова заслуживает пристального внимания. И дело не только в знаменитом факте отмены им телесных наказаний при учении.

Из мер, принятых Воронцовым для «поддержания отечественных обыкновений и связей», большой интерес представляет следующая: «Я думал, — пишет он в той же докладной записке, — что получение писем из России от родных могло действовать на расположение солдат к отечественным связям, и потому всеми мерами старался доставлять им способы отправлять и получать письма. Сие обыкновение, почти неизвестное в нашей армии, и малое число партикулярных писем... особливо к нижним чинам — почти всегда пропадало... Я имел удовольствие достигнуть желаемого предмета; в доказательство чего может служить, что одних солдатских писем отправлено было, более 20 000» (точнее 20,8 тысяч). Что и говорить — это факт, плохо укладывающийся в привычные представления о русской армии первой четверти XIX в., не говоря уж о самом Воронцове. Кто же писал эти письма?

Воронцов сообщает, что за годы войны число грамотных младших командиров уменьшилось настолько, что были унтер-офицеры и фельдфебели, не умею-

щие грамоте. Ранее в своей дивизии Воронцов устраивал школы, в которых преподавали офицеры и полковые священники. Но, несмотря на рост числа школ, дело продвигалось медленно. Тогда он обратился к «ланкастеровой методе взаимного обучения». В корпусе открыли 4 училища, для постановки обучения был приглашен французский специалист. Общее руководство осуществлял С.И.Тургенев. «Сей способ обучения... очень скоро и с желаемым успехом распространился на значительное число нижних чинов», — пишет Воронцов. Согласно ведомости, приложенной к докладной записке, во Франции учились грамоте 1381 человек³. Это примерно 4—5 солдат из 100. Казалось бы, немного. Но это смотря с чем сравнивать. В 1912 г., через без малого сто лет, за пять лет до Октября на 100 новобранцев в русской армии приходилось чуть больше 30 грамотных (для сравнения: в германской 0,02; в шведской — 0,3 неграмотных)⁴. Так что по тому времени число обучавшихся не столь уж мало, тем более, что грамотные сюда не входят.

Училище в Мобеже посетил сам император, удостоив его «всемилодивейшего одобрения». Характерно, что обучение не стоило правительству ни сантима дополнительных расходов. Более того, Воронцов приготавливал все для открытия ланкастерских школ в армии или вообще в России, причем, по его уверению, в неограниченном количестве.

Но важнее все-таки было другое. «Дабы сравнение с прочими войсками не имело худых последствий, нужно было смотреть за обхождением с солдатом... Я был всегда уверен, что дабы укротить пороки и вместе с тем поддержать дух и надежду добрых солдат, нужно строгое и неослабное наказание за важные про-

ступки, сопряженное с действительными мерами для укрощения бесчеловечных и без разбору, на одном капризе основанных притязаний (начальников — *М.Д.*), особливо таких, кои еще к несчастью у нас в армии употребляются для узнания виновных, весьма часто делается сие над невинными и честными солдатами. Пытка сия, столь противная божеским законам и высочайшей воле Вашего Императорского Величества, нередко вводит сих людей в отчаяние, а от оногo к пьянству и в те самые пороки, коими они прежде невинно обвинялись. Одна из главных и самых нужных вещей есть, чтобы солдат знал, что за хорошее поведение в службе, честность, усердие и ревность в учении он также должен надеяться на хорошее обращение с ним начальников, как противное поведение немедленно приведет его к строгому и справедливому наказанию», — излагает Воронцов царю свою программу.

По корпусу был отдан приказ, «чтобы не было бесчеловечия», чтобы наказание было соразмерно вине и чтобы все телесные наказания вносились в особую книгу. «Меры сии возымели желаемый успех», — считает Воронцов, ибо солдаты увидели, что за «смертоубийство, разбой, кражу, неповиновение и грубость к начальству» корпусной командир наказаний не убавляет «почти никогда», и наоборот, «за меньшие или неумышленные проступки» он смягчает приговор их непосредственных командиров, а невинных не наказывал вовсе. Практически исчезло воровство, хотя Воронцов запретил употреблять насилие при следствии. Он твердо был убежден, что лучше не найти виновника, чем истязать невинного, наказывая его за чужие преступления, поскольку солдаты, «привыкая к

возможности наказания, легко привыкают и к возможности преступления».

Поведение русских солдат во Франции, высоко оцененное императором, Воронцов считал лучшим свидетельством правильности своих принципов. Характерно, что и солдаты, по его мнению, убедились в том, что их служба не тяжелее, чем в армиях союзников. Телесные наказания, особенно у англичан, применялись чаще. Еще одно доказательство правоты Воронцова — ничтожно малое число дезертиров, «особливо при выходе из Франции». Всего бежало 280 человек, 155 было поймано и возвращено в пенаты⁵.

Подобный взгляд на дисциплинарную практику сложился у Воронцова еще до Франции. Уже в период командования дивизией он был известен как либеральный, гуманный начальник. В 1815 г. Сабанеев писал ему, что жители Бреславля, через который проходила воронцовская дивизия, якобы сильно пострадали от бесчинства его солдат. «Смотри, дружище, воля и холя суть две вещи различные: солдата беречь должно, а баловать непростительно; облегчить ему участь необходимо, но не до такой степени, чтобы от того только, что офицер бить солдата не может, последний его и в грош не ставил», — пишет тактичный с друзьями Сабанеев, добавляя, что ему, возможно, «соврали», но уверяли, будто и офицеры не могли унять солдат.

Воронцов отвечал, что Сабанеева, конечно, обманули, ибо Барклай де Толли, специально интересовавшийся этим вопросом, дважды объявлял благодарность именно за отличное поведение солдат и самому Воронцову и шефам его полков. Более того, фельдмар-

шал написал об этом царю. «Что не позволяю офицерам бить солдат за учение или без учения за ничто по своевольтву, это правда; но не вижу, отчего сие может быть вредно... Солдат, который ждет равно наказания за разбой и за то, что он не умел хорошо явиться вестовым, привыкает думать, что и грехи сии суть равные... Пощечины дурного солдата не исправляют, а хорошего портят... Я всегда в себе думал, что ежели по опыту найду, что военная служба без пустого и без резонного бесчеловечия существовать не может, то я в оной не слуга и пойду в отставку».

Звучный оборот «резонное бесчеловечие» кажется парадоксальным лишь на первый взгляд. Воронцов просто не боится называть вещи своими именами. Война жестока, жестока бывает по необходимости и жизнь военных, но в ней не должно быть места произволу. Такова мысль Воронцова. Допустимо жестокое наказание, но только тогда, когда оно заслужено. Словом, упрекнуть в мягкотелости Воронцова нельзя. Современники, однако, были иного мнения.

В феврале 1816 г. Закревский, видимо, встревоженный начавшими распространяться слухами о либеральном управлении Воронцова, писал ему: «Не давайте потачки людям и держите весь корпус в субординации, дабы можно было привести домой»⁶. Но Михаил Семенович и не думал потакать подчиненным. Апшеронский полк, который он сам счел «офранцузившимся», немедленно отправлен в Россию.

Особого внимания заслуживают настойчивые попытки Воронцова привить русским офицерам и солдатам начатки правового сознания. Он стремился поднять дисциплинарную практику на более высокий уровень путем усиления законности.

В феврале 1816 г. он излагал Закревскому свой взгляд на постановку судопроизводства в русской армии. «Судная часть», по его мнению, находится на гораздо более низкой ступени развития, чем другие компоненты армейской структуры. Происходит это не от недостатка законов, а напротив, от незнания их военными юристами. «Петр Великий, основатель всего у нас и виновник величия России», говорил, что боевые офицеры не могут хорошо разбираться в законах, «ибо другим должны заниматься искусством». Поэтому суд в армии должен быть делом людей, имеющих специальную юридическую подготовку, профессионалов, знающих «совершенно все права и законы». «Какая критика на наших аудиторов!» — восклицает Воронцов. — «Вместо того, чтобы иметь юриста, понимающего как общие права, так и дух и смысл законов, у нас аудитор, а иногда... фельдфебели и унтер-офицеры из крестьян, чуть-чуть читать и писать умеющие и привыкшие думать, а часто и чувствовать, что палка есть единственный закон, и управление роты верх человеческого искусства. Какое варварское противоречие!.. Какой вред для армии...»

Воронцов просит обратить на это внимание царя и заняться реорганизацией судопроизводства и «соблюдением правил, всеми народами принятых и в наших же уложениях начертанных». Нужно прекратить практику производства в аудиторы младшего командного состава за храбрость или 12-летнюю беспорочную службу, «сопряженную с умением грамоты», «ибо сии качества, хотя почтенные, не имеют никакого отношения к должности указателя и блюстителя законов». Кроме того, считал Воронцов, нужно увеличить жалование аудиторам, по примеру военных медиков, которые пос-

ле 1805—1807 гг. получили возможность жить «честно и хорошо». Среди конкретных мер, призванных улучшить ход судопроизводства, Воронцов указывал на публичность, гласность суда. У себя в корпусе он ввел особые «правила... для судопроизводства», используя существовавшее законодательство, в том числе и то, чего аудиториат не знал.

Закревский, хотя и согласился с правотой Воронцова, отвечал, что ему теперь не до аудиториата, ибо он пытается облегчить участь людей, арестованных 8—9 лет назад и все еще сидящих в тюрьме. Впрочем, впечатление от принципиального согласия Закревского несколько теряется из-за следующей фразы: «И без того от новых преобразований по всем частям не знаем, куда деться»⁷. Мысль эта едва ли случайна.

Летом 1816 г. Главный штаб под редакцией Закревского начал выпускать такую нужную книгу, как «Собрание законов и постановлений, к части военного управления относящихся». При получении ее в Мобеже произошел следующий курьезный, но притом показательный случай, не без юмора описанный Воронцовым: «Все присутствующие в комнате кинулись с жадностью на оную [книгу] и все кричали: «Военные законы! Военные постановления! Надо подписаться, надо!» Но вдруг, вообрази насчастье, отворяют книгу и как будто нарочно на листке, который при сем прилагается, а именно, что запрещается из-за галстуха показывать рубашки — приказ Волконского, все охладели, повернулись и никто не подписывается. Я их уговариваю, но все как глухие, мне и не отвечают, ужасно упрямый народ».

Закревский не на шутку обиделся, тем более, что в это самое время у них с Воронцовым началась размол-

вка из-за гр. Н.М.Каменского-младшего. Закревский отвечал в стиле «не больно-то и хотелось»; дескать, чем меньше офицеров у Воронцова подпишется, тем больше он будет рад, а вот смеяться над приказом, объявленным по воле Государя, нечего. В других корпусах, пишет Арсений Андреевич, книга нравится: «Видно они не так просвещены, как в вашем корпусе».

Воронцов был удивлен: «Признаюсь, что хотя знал, что с авторами об их сочинениях шутить нельзя, не ожидал, что ты вступишься как автор и так горячо за сочинение, которое ничто другое, как приказы и постановления, выдаваемые по армии и у вас сшитые вместе. Впрочем, я о пользе сего собрания никак спорить не намерен, но невинная шутка о названии законном приказа о непоказывании за галстухом белой рубашки, кажется, не есть вещь криминальная, и примечание твое о нашем здесь просвещении... также тут кстати, как седло корове»⁸.

Шутка Воронцова при всей своей «невинности» во многом отражала настоящее положение вещей: глубинное содержание Власти, нацеливавшейся в то время на переустройство российской жизни, скорее отражалось в том, что законом считался мелкий дисциплинарный приказ. Об этом нам предстоит еще говорить.

Весьма симптоматично и язвительное замечание Закревского о чрезмерной «просвещенности» корпуса Воронцова. Закревский, по-видимому, просто дал волю раздражению, но притом ударил в больное место. Дело в том, что деятельность Воронцова во Франции прежде всего дала пищу, увы, языкам, а не умам. Для России того времени официальное запрещение бить солдат, хотя бы и ограниченное, было фактом

беспрецедентным. Мы увидим еще, что и ближайшие друзья не очень одобряли Воронцова. Быстрое и широкое распространение получили слухи, что корпус якобы избалован его мягким управлением, «офранцузился» и «отатарился» одновременно (первое означало уклон в либерализм-вольнодумство, второе — в анархию; различие, впрочем, несущественное с точки зрения дисциплинарного устава). Весьма благосклонный отзыв о корпусе великого кн. Михаила Павловича, осматривавшего его в 1817 г., ситуации не изменил.

Все это крайне огорчало Воронцова, человека обидчивого и отлично знавшего себе цену. Практически в каждом из известных писем его к Закревскому в 1817—1818 гг. он говорит об этих сплетнях и, как водится, собирается в отставку.

На устойчивом мнении об «испорченности» корпуса необходимо остановиться подробнее.

В определенном смысле появление слухов, и именно нелепых, в данном случае было как бы запрограммировано. Слишком необычно было положение Воронцова. Слишком заметен и необычен был он сам. Хватало и завистников; Воронцов всегда был классическим объектом в этом плане — блестящая карьера талантливого аристократа-миллионера не давала покоя многим. Утешения Закревского, писавшего, что российский двор, одетый в мундиры с эполетами, гораздо «вреднее» обычного, одетого в шитые кафтаны, и что в России иначе быть не может, помогали Воронцову мало. Н.М.Лонгинов в 1820 г. сообщал гр. С.Р.Воронцову, что еще в 1815—1816 гг. он уведомил Михаила Семеновича, что «многие влиятельные лица, узнав о преимуществах, дарованных войскам [его]... реск-

риптом Государя... заявляли, что по возвращении этих полков из Франции, нужно будет поискать для них необитаемый остров, иначе прочим войскам нельзя будет примириться с их старыми распорядками; да к тому же и содержание этих путешественников не подойдет уже к установленному содержанию прочих войск». Лонгинова «уверяли... что фельдмаршал Толли, когда подняли Государю вопрос о формировании оккупационной армии во Францию, сказал Государю: «Ваше Величество! Вам нужно помнить, что Вы выиграли сражение, но потеряли 30 тыс. человек!»⁹.

Крайне важен вопрос о степени достоверности этих слухов. Повторим, что уже и ограничения телесных наказаний было довольно. Но, видимо, было и нечто другое, о чем пока можно судить лишь приблизительно.

По возвращении в Россию Александр I прочел так называемую записку Бенкендорфа — донос библиотекаря гвардейского штаба Грибовского, принятого в «Союз Благоденствия», переданный через посредство тогдашнего начальника штаба А.Х.Бенкендорфа. Это документ весьма точный; полагают, что именно его точность обеспечила в числе прочего за Бенкендорфом III Отделение. В записке, в частности, говорилось, что руководителя «положено избрать, когда было бы уже все готово, из вельмож, уважаемых войском и народом и недовольных правительством. Самая большая надежда возлагалась на находящиеся во Франции войска и на графа Воронцова, на которого действовали Тургеневы»¹⁰.

Тут есть над чем подумать. «Записка» точна почти во всем, и мы не можем утверждать, что Грибовский ошибается в данном случае. Но пока в нашем распо-

ряжении нет прямых данных, подтверждающих его версию. Правда, есть несколько косвенных.

Так, Вигель пишет, что ближайшие сотрудники Воронцова (его штаб, или «двор») «ужасно как либеральничали». По терминологии Вигеля, это если не революционность в нашем смысле, то, по крайней мере, оппозиционность. О том, что «двор» Воронцова отличался весьма либеральными взглядами, пишет и Михаил Бестужев, участвовавший в перевозке части корпуса Воронцова из Франции в Россию. Моряки, говорит он, всегда трудно сходятся с новыми людьми, а уж тем более с пехотинцами. «Но тут было противное. Большая часть даже из самых дубиноватых офицеров... все они утратили этот вечно присущий русской армии солдатизм и либеральничали. Тем более этот дух проявлялся в высшей иерархии корпуса Воронцова, между офицерами его штаба, с которыми мы очень сблизились... Понятно, почему весь этот корпус, по возвращении его в Россию, был раскассирован».

Нельзя в связи с этим не вспомнить и загадочной поездки М.А.Фонвизина в 1817 г. к Воронцову, у которого он провел несколько месяцев. С.В.Житомирская и С.В.Мироненко справедливо, на наш взгляд, пишут, что выяснение этого вопроса могло бы пролить свет на историю раннедекабристских организаций¹¹. В корпусе действовала масонская ложа, деятельность которой, возможно, следует поставить в один ряд с приведенными выше фактами.

Какова же позиция самого Воронцова по отношению к «либеральничанью» своего окружения? Ясно, что в таких случаях командующий не может не задавать тон, не стимулировать, по крайней мере, тех или иных настроений у сотрудников влюбленного в него

штаба. Его позиция тут решающая. Это подтверждает, в частности, обмен мнениями между Киселевым и Закревским, состоявшийся в июле-августе 1819 г. Киселев пишет, что не понимает, «почему опорочили до такой крайности войска, из Франции возвращающиеся». Он осмотрел Якутский полк и остался им очень доволен по всем статьям, включая «нравственность солдат», и надеется, что этот полк будет одним из лучших во 2-й армии. Киселев долго беседовал с бывшим начальником штаба Воронцова Понсетом, который «согласился, что Воронцов не прав во многом и особенно в том, что полагал геройством не скрывать пренебрежения ко всему, что свыше приходило, и порочить явно все постановления, которые по званию своему обязан представлять не на посмешище, но на уважение подчиненных своих, либо не служить!» Закревский отвечал: «Корпус французский более не нравится по наговорам, чем по настоящему делу. Привычка осуждать свыше присланное — это дурно, и сам, конечно, граф Воронцов много зла сделал как себе, так и корпусу. Были приятели, которые все слушали и переносили, кому следует»¹².

Это сообщение во многом объясняет причины весьма настороженного отношения Александра I к Воронцову. После 1818 г. тот практически оказался не у дел, пока в 1823 г. не стал преемником гр. Ланжерона на посту Новороссийского генерал-губернатора. Воронцова два раза обходили производством в полные генералы. Награда за успешное завершение миссии во Франции — орден Владимира 1-й степени — не соответствовала уровню решенной задачи (орден был весьма престижный, но Александр I награждал им иногда за успешный смотр), тем более, что в 1815 г. Михаилу Се-

меновичу намекали, что чин он получит. Вдобавок корпус был расформирован, что также неслучайно. С точки зрения военной такой шаг был едва ли разумен; скорее всего, возобладали политические мотивы. Более того, 10 полков из корпуса были отправлены к Ермолову из Франции в Закавказье, в этом легко усмотреть тонкую издевку. Причем полки были расформированы и поротно присоединены к ермоловским полкам. И данное решение в контексте вышесказанного имеет определенное толкование: царь стремился максимально раздробить «избалованные» части корпуса, нужно полагать для того, чтобы побыстрее выветрился «французский» дух. Характерно, что бывшие воронцовские солдаты и даже целые роты в Кавказском корпусе имели репутацию «испорченных».

Итак, ясно, что в рассматриваемый период Воронцов занимал весьма либеральные позиции, особенно на фоне настроений высшего эшелона бюрократии. Упоминание его имени в контексте выбора главы будущего правительства не выглядит совершенно искусственным. Словом, здесь есть над чем задуматься.

Ермолов на Кавказе — I

В апреле 1816 г. Ермолов был назначен главнокомандующим в Грузии, т. е. командиром Отдельного Грузинского корпуса и главнокомандующим в Грузии и Астраханской губернии. Одновременно было объявлено о том, что он поедет послом в Персию. В декабре 1816 г. он прибыл в Тифлис. Началось его десятилетнее «проконсульство» на Кавказе.

Вопреки укоренившемуся мнению, согласно которому это назначение было своего рода ссылкой, куда его отправили происками Аракчеева и Волконского (два злейших врага вдруг объединяются, и зачем?), якобы ужасно боявшихся растущего влияния Алексея Петровича на Александра I, который будто бы тоже его боялся, но уже априори (неясно, отчего же тогда росло влияние?), сам Ермолов так не только не считал, но, напротив, мечтал об этой «ссылке». В феврале 1816 г. он писал Закревскому, помогавшему получить ему это место через Волконского: «Поистине скажу тебе, что во сне грезится та сторона (Грузия — М.Д.) и все прочие желания умерли. Не хочу скрыть от тебя, что гренадерский корпус меня сокрушает и я боюсь его... Не упускай случая помочь мне и отправить на восток»¹. А в мае 1816 г. Ермолов сообщал Воронцову,

что готовится ехать на Кавказ: «Вот... исполнившееся давнее желание мое. Боялся я остаться в гренадерском корпусе, где бы наскучила мне единообразная и недейтельная служба моя. Теперь вступаю я в обширный круг деятельности. Были бы лишь способности, делать есть что! По справедливости могу назваться балованным сыном счастья»².

Ермолов не был новичком в этих местах. Еще в 1796 г. он участвовал в Дербентском походе Зубова. (Может быть, именно Ермолов выпустил последнее ядро в многобательное царствование «Матушки»! Во всяком случае, одно из последних — уж точно.) Кавказу еще долго предстояло оставаться страной мифической, легендарной, почти такой же легендарной, как Индия. О нем как бы забыли в то эпическое время, когда решались судьбы Европы. А на Кавказе с 1805 г. шла долгая и тоже «забытая» война с Персией, которая, несмотря на недостаток сил, окончилась победой малочисленных русских войск под командованием героического Котляревского. В 1813 г. был подписан Гюлистанский мир (Ермолов должен был закончить территориальное разграничение по этому договору).

Сумрачно-кокетливое, но от того не менее внушительное наименование «Проконсул», распространенное тогда среди приятелей Ермолова, вполне соответствовало его положению. Он получил власть над обширной территорией от Кубани до Волги и от степей Северного Кавказа до Эриванского ханства. На этой древней земле обитали десятки народов, многие из которых имели тысячелетнюю историю и традиции, отношения между ними были очень непростыми. Здесь был узел острых противоречий — национальных,

религиозных, социальных и, наконец, межгосударственных. Россия бралась их разрешить.

Можно думать, что Ермолов до прибытия на Кавказ и сам не осознавал реального масштаба задач, стоявших перед ним. Но энтузиазм незнания, огромное самолюбие не позволяли ему признаться в этом, если не считать сетований на свою неспособность, обычных для наших героев и не только их. В первом письме из Тифлиса в Париж он пишет Воронцову: «Беспорядок во всем чрезвычайный. В народе врожденная к нему склонность, слабостию многих из предместников моих ободренная. Мне надобно употребить чрезвычайную строгость, которая здесь не понравится... Наши собственные чиновники, отдохнув от страха, который вселяла в них строгость славного князя Цицианова, пустились в грабительство и меня возненавидят; ибо также и я — жестокий разбойников гонитель. Я не в состоянии заменить их лучшими, следовательно, верных помощников иметь не буду». Что касается русских офицеров, то «половину оставшихся надобно удалить, ибо и самое снисхождение терпеть их не в состоянии. Необходимы меры весьма строгие. Они не заставят любить меня»³. Таким образом, главное средство для приведения дел в порядок — строгость, строгость и строгость. Это относилось, как можно видеть, не только к местным жителям, но и к непосредственным подчиненным Ермолова.

Едва ли не главная проблема для Ермолова — войска Грузинского корпуса.

«Обстоятельно вникал я в образ жизни войск... Нимало не удивляюсь чрезмерной их убыли. Если нашел я кое-где казармы, то сырые, тесные и грозящие падением; в коих можно только содержать людей за пре-

ступление; но и таковых немного, большею частию землянки, истинное гнездо всех болезней, опустошающих прекрасные здешние войска. Какая тяжкая служба офицеров, какая жизнь несчастная!»; «провиантская часть с ума сводит. В магазинах нет ничего»; «кроме славного Котляревского все прочие (полковые командиры — М.Д.) обзавелись хуторами, табунами и хозяйством, а полкам от того ни малейшей нет пользы», — писал он Закревскому⁴.

Трудностей было очень много, но много было и «доброй воли к трудам». Ермолов пытался облегчить положение солдат, выбивал у начальства деньги на строительство казарм, лазаретов, улучшал питание. Сделать все это было непросто.

Характерный пример. Считая существовавшую солдатскую форму непригодной для кавказского климата, Ермолов был убежден, что ее изменение позволит уменьшить болезни и смертность, и начал ходатайствовать об этом перед Петербургом. «Может быть негодовать будут на меня, что я нахожу некоторые вещи в одежде солдата несвойственными здешнему климату и представляю о перемене их, но я не виноват, что здесь солнце более согревает, нежели у вас, и что здесь природа, если не большим трудам подвергает солдата, то, конечно, совсем другого рода (намек на бесконечную муштру — М.Д.). Я вижу возможность сделать одно постановление для войск по всему пространству России, ибо оно у нас существует, но одной высочайшей воли недостаточно, чтобы оное равно было удобно для Камчатки и (для) Грузии. Вот мое оправдание!», — сообщал он Закревскому. Когда Ермолов встает на позицию вольтеровского Простодушного, это значит, что он весьма раздражен. Вообще же его «артподготовка»

ходатайства по данному вопросу так разветвленно аргументирована, а пафос достигает такого накала, что можно подумать, будто речь идет, по меньшей мере, о самовольном походе к Персидскому заливу, а не о том, чтобы заменить солдатский ранец на вещмешок: «На Литейной (т. е. Аракчеев — *М.Д.*) дадут мне звону за умствования, но я служу Государю и служу немного и собственному имени моему. Не наше дело помышлять об огромной славе, по крайней мере стараться надобно о добром имени!»⁵

Увы, нам трудно оценить гражданское мужество Ермолова в этом случае: ведь это времена, когда царь изменял состав полков в драгунских, например, дивизиях, чтобы обеспечить сочетаемость цвета воротников на мундирах.

Другой предмет забот Ермолова — офицерские кадры. Он опять-таки стремился улучшить быт офицеров, их материальное положение, выводил достойных офицеров из забвения, в котором они находились долгие годы, живя на краю света без продвижения и внимания со стороны Службы. Ермолов резонно спрашивал у Закревского о том, как должны люди, десять лет сидящие в обер-офицерских чинах, смотреть на гвардию, которая «печатает полковников как ассигнации». Письма Ермолова наполнены разнообразными просьбами о тех или иных формах поощрения достойных офицеров и генералов.

Но к его сожалению таких было гораздо меньше, чем нужно. «А небогаты мы славными офицерами!» — эта фраза постоянно повторяется Ермоловым (и его друзьями, как мы увидим). За каждого хорошего офицера он борется, как за своего родственника, рекламирует, «обменивается» при случае с друзьями, стара-

ясь вывести «в люди», причем эту сферу деятельности — дать «Государю отличного слугу» — считает очень важной.

Значимость данной проблемы для армии трудно преувеличить. Огромное войско требовало значительного офицерского корпуса, а подготовленных офицеров катастрофически не хватало. Да и откуда им было взяться, если система военно-учебных заведений воспитывала прежде всего «фрунтовики». Закревский писал Киселеву, что хорошо, если один из десяти кадетов хоть на что-то годен.

Между тем из плохих офицеров вырастали еще худшие генералы, ибо скверно командовать ротой или батальоном и не знать, что делать с полком, бригадой, дивизией — совсем разные вещи. Тут количество переходит в качество. Ермолов не раз говорил, что одной храбрости для генерала недостаточно, она не заменяет «необходимых дарований». А существовавшая система продвижения по служебной лестнице, которая всегда зависела от «господствующих наклонностей» носителей Власти, выдвигала деятелей, которые, по мнению Ермолова, «оставляют испытателей природы в недоумении, к которому царству они принадлежат».

Ермоловские комментарии к производствам и поощрениям большинства русских генералов, портреты сослуживцев — едва ли не самые яркие строки его писем. Тут его знаменитое остроумие работало на полную мощность. Вот некоторые из его отзывов о генералах своего корпуса: «Здесь есть у меня генерал-майор Тихановский, старый весьма офицер и довольно много служивший, но утомленные службою силы свои нередко укрепляет такими средствами, которые ноги ослаб-

ляют... Сжальтесь надо мною, и без него у меня есть генералы, ни на что не годные. В сем смысле особенно рекомендую Загорского, Мерлини, хорош и Пестель (родной брат декабриста — М.Д.). Он поехал в отпуск и лично будет иметь честь представить тебе свою неспособность». «Что ты не утетишь меня переводом Загорского в другую дивизию в Россию? Он престарательный и усердный человек, но здесь надобно поумнее немного... Не подумай, однако же, чтобы я хотел сбыть его с рук, божусь, что нет, и даже я не менее в состоянии хлопотать, чтобы ты перевел Дренякина. Этот не менее глуп, но никак не хочет того чувствовать и умничает от того, что долго квартирмейстерская часть равнодушно смотрела на его неспособность. Избавь меня хоть от этого... Не могу я похвастать и германским рыцарем Пестелем, но он у меня из лучших... Жаль, что нет в нем живости; он также принадлежит к тому числу людей, которых по справедливости уподоблю я Ледовитому полюсу. Мерлини у меня такая редкая... что уже грех кого-нибудь снабдить им и всеконечно надобно оставить у меня, ибо я почитаю в лице его волю Бога, меня наказующую. Есть какие-нибудь тяжкие грехи мои! Представь жалостное мое положение, что я должен еще дать ему бригаду... Истолкуй мне, почтенный Арсений, какой злой дух понуждает вас производить подобных генералов? Не изобрел ли кто системы, доказующей, что генералы суть твари, совсем для войск ненадобные, и что они могут быть болванами для удобнейшей просушки с золотым шитьем мундиров? Это было бы преполезное открытие, которое бы многим простакам доказало, как грубо доселе они ошибались. Сообщи мне о сем для моего успокоения, если то не тайна государственная!»⁶

Подобные мысли совершенно обычны для Ермолова. Доходило до того, что он не отправлял этих генералов к местам службы — «как бы чего не вышло»! Ведь на Кавказе командование бригадами и дивизиями было сопряжено еще и с управлением областями, в которых они дислоцировались. Поэтому Ермолов решил собрать генералов в Тифлисе, а дела вести через толковых офицеров.

Смешно, конечно, читать эти характеристики. Но Ермолову было совсем не до смеха. Ведь каждый из «болванов для удобнейшей просушки с золотым шитьем мундиров» командовал тысячами людей, которые расплачивались своими жизнями за их бездарность в военное время и за пристрастие к муштре или просто равнодушие в мирные годы. Разумеется, генералами становились и люди способные, но гораздо чаще неспособные, потому что их было больше, потому что они отвечали требованиям Системы, потому что у власти были их «братья по духу». Еще в 1815 г. Воронцов убеждал Сабанеева отправить в отпуск, а затем в отставку одного из своих подчиненных: «Позвольте ему ехать, Бога ради. Неужто я бы о сем просил, ежели бы не знал, что присутствие его в дивизии не только не нужно, но вредно?.. Что может быть лучше и счастливее для армии, как избавиться от дряни в генеральских чинах? Неужто этого не понимают и не чувствуют? Мне ли в этом не верят? Так зачем поручают дивизию? Что за манер, что о вещи, не стоящей другого предмета, кроме пользы службы, надо просить мне, как о партикулярной себе милости и всегда ждать отказа? Кому нужнее, чтобы 12-я дивизия была хорошая и всегда поддержала славу оружия нашего? Ведь не мне столько, не графу Воронцову, который может

быть переведен и в другую дивизию и куда угодно, и может дома жить спокойно и благополучно. Армии это нужно, Александру Павловичу и отечеству нашему, России»⁷. Воронцов здесь тонко подметил очень важную особенность функционирования бюрократической системы: люди, которые искренне стремятся к пользе «службы», весьма часто воспринимаются как докучливые просители «партикулярных себе милостей». И, конечно, редко поощряются. Ермолов на все лады повторяет: «Не мне делаются отказы, я ведь не для себя прошу, а для Службы».

Увы, за десять лет, с 1815 по 1825 г., положение значительно ухудшилось. Постепенно сходили со сцены герои 1812 г., а на их место чаще всего приходили люди типа Шварца и Клейнмихеля, герои вахт-парадов, строители «зеленых улиц», обитатели «передних». И это, повторимся, было закономерно.

Сабанеев в Бессарабии

У нас все делай и все делай как-нибудь. Нигде столько не мараются бумаги и не выдумано столько форм, рапортов, как у нас. Ничто не соображено ни со способностями, ни с силами человеческими. У нас солдат для амуниции, а не амуниция для солдата.

Сабанеев — Киселеву

Письма Сабанеева рисуют на первый взгляд образ человека, хотя и нетривиального, но вместе с тем ограниченного. Он как будто полностью погружен в служебные и личные, точнее, материальные дела. Рассуждения, выходящие за рамки этого круга, нечасты. Сабанеев может показаться, что называется типичным или даже образцовым служакой. Отчасти это так и было, но с той поправкой, что его отношение к службе тогда не считалось образцовым в высших сферах.

Сабанеев был личностью весьма необычной. Лучше всего это показывают характеристики, которые ему давали современники:

Н.М.Лонгинов: «Твердый, непреклонный характер, который выказывал» Сабанеев «во всех делах, кои считал, по своей совести, правыми»;

Ермолов: «Недавно был здесь бесценный Сабанеев, которого люблю я душевно за честные правила и благородные чувства»; «хотелось бы взглянуть на почтенного и постоянного камрада Сабанеева. Я люблю ум и правила сего достойного человека»;

Д.В.Давыдов: «Милый для нас с тобою (т. е. Закревским — М.Д.), но ярый со всеми Сабанеев»¹.

А вот короткий диалог между Киселевым и Закревским о Сабанееве, отношения с которым у Киселева поначалу были прохладными:

Киселев: «...Так, говорят, сделался скуп, что превышает понятие. Судя по хуторам и толстой его жене — кажется, он недолго в службе останется, хотя со столовыми расстаться не хочется».

Закревский: «Скажи, за что ты не любишь Сабанеева, он пречестный человек, но скуп всегда был. Признаюсь тебе, служба потеряет в нем усердного и хорошего генерала в военное время. Посмотри хорошенько в список и увидишь, что Сабанеевых у нас немного».

Киселев: «Я как служивого его не порочу... и дай Бог иметь подобных корпусных командиров. Но... поверь, что эгоист он отличный, никого не любящий и относящий все к себе. Грубость его всем известна...»

Закревский: «Что тебе до эгоизма Сабанеева, лишь бы служба от сего не терпела. Но я в нем вижу хорошего корпусного командира, а наипаче в военное время, чему можешь быть со временем сам свидетель».

Понадобилась эпидемия чумы, чтобы Киселев оценил Ивана Васильевича: «В его лета и в иные проехать 300 верст верхом есть добродетель, которою не всякий похвалиться может» и которая перевешивает «порок» — упрямство, «запальчивость и часто со вредом для себя и для службы». Но «Сабанеев точно по службе отличный». Наконец, он пишет Закревскому: «При всех странностях его, правила его честны и непоколебимы; опытность имеет большую и просвещение, непонятное для человека, родившегося в Ярославле тому 56 лет»².

А вот точка зрения врага Ивана Васильевича, без которой нам обойтись трудно: «Сабанеев был офицер суворовской службы и подражал ему во всем странном, но не гениальном; так же жесток, так же вспыльчив до сумасбродства, так же странен в обхождении — он перенял от него все, как перенимают обезьяны у людей. Его катехизис для солдат в глазах благомыслящих людей сделал его смешным и уродливым. Его презрение ко всему святому, ненависть к властям обнаруживались на каждом шагу. Его презрение к людям, в особенности к солдатам и офицерам проявлялось в дерзких выражениях и в презрительном обхождении не только с офицерами, но и с генералами.. Человек желчный, спазматический и невоздержанный — он выпивал ежедневно до шести стаканов пунша и столько же вина и несколько рюмок водки». По виду, по содержанию — донос, притом злобный и явно охранительного характера: «презрение ко всему святому, ненависть к властям». Однако этот донос в будущее — отрывок из воспоминаний В.Ф.Раевского, которого называют «первым декабристом». Сообщив эти сведения, а также и то, что Иван Васильевич женился на неразведенной женщине, Раевский как будто спохватывается и пытается уравновесить свой отзыв: «Может быть, кто-нибудь сочтет слова или описания мои престранными. Но я пишу для будущего поколения, когда Сабанеева давно уже нет. Впрочем, он имел много благородного, если действовал с сильными. Он знал военное дело, читал много, писал отлично хорошо; заботился не о декорациях, а о точных пользах солдата, не любил мелочей и сначала явно говорил против существовавшего порядка и устройства администрации и правления в России и властей. Так

что до ареста моего *он был сам* в подозрении у правительства»³.

По счастью, у «будущего поколения» есть и другие источники информации, помимо Раевского. Нет возможности разбирать все противоречия этой характеристики. Как ни странно, но первая ее часть вполне совпадает с тем, что писал о Сабанееве Киселев, пока не узнал его короче, а «положительный» фрагмент — с отзывами Ермолова, Закревского и других. Действительно, генералов, подобных Ивану Васильевичу, в России было немного. Выдвинулся он не только благодаря храбрости (этим удивить русскую армию было трудно, хотя и возможно), но и высокому уровню культуры, образования, в том числе и военного. Не зря Барклай де Толли, чьей образованности отдавал должное даже Ермолов, взял его к себе начальником штаба. Характерны такие строки из письма Ермолова Закревскому: «Егерские маневры Сабанеева ожидаю с нетерпением и, извлеки из них, что в здешнем краю может быть полезно, буду держаться правил сего отличного и достойного офицера. До сего времени нет ничего постоянного о егерях, а мы здесь только ими и дышим». Так Ермолов мало о ком говорил.

Сабанеев имел четкие представления о том, как должно жить, о своих обязанностях, и следовал им неуклонно, мало обращая внимания на последствия своего независимого поведения: «Правила его честны и непоколебимы». Царь его не жаловал. Корпус он получил не лучший — две дивизии (некомплектные) в самой глуши; правда, в случае войны с турками, знатоком которой был Сабанеев, он оказался бы в авангарде. Первые его впечатления по вступлении в должность очень

похожи на ермоловские «кавказские». Картина ужасна: голодающее войско, где секут до смерти за украденную курицу, где командиры обкрадывают подчиненных на всякой мелочи, где солдат мучает не только климат, но и начальство. Казармы «проклятые, мерзкие, сырые, нездоровые», «продовольствие было плохо и не могло быть иначе... Новый порядок продовольствия ничем не лучше старого», ротные командиры негодны, хорошие полковые командиры разоряются, потому что содержат полки за свой счет, а негодяи наживают деревни «за счет солдатского брюха», постоянные злоупотребления на всех уровнях, казнокрадство, «тиранство» по отношению к солдатам. Военно-судная часть запущена до крайности. Аудиторов не хватает, в полках выбрать не из кого, а те, что есть, никуда не годны «по совершенному незнанию своего дела, и часто бывают такие судопроизводства, что ужасно. Дел судных тьма», и почти каждое приходится пересматривать дважды, а то и трижды, «потому что как решение, так и самое производство дела ни на что не похоже». В корпусе не хватает даже писарей.

Уже 24 октября 1816 г. Сабанеев отдал приказ по корпусу, в котором ставилась задача подготовки к царскому смотру в 1817 г. Но основная часть приказа посвящена обязанностям должностных лиц и порядку службы, как его понимал Сабанев. Этот документ очень интересен, ибо дает представление не только о взглядах последнего на армейскую жизнь, но и о том, как шла служба на самом деле. Сабанеев требует, в частности, чтобы ротные командиры еженедельно осматривали все квартиры роты, обращая внимание прежде всего на «чистоту и опрятность солдат, яко главнейший предмет к соблюдению их здоровья», за-

тем на содержание амуниции, на точное исполнение отданных приказов и на поведение солдат. Младшие командиры не могут сами наказывать солдат, а должны докладывать об их проступках ротным. Последние наказывают «за неопрятность, пьянство, небережливое содержание амуниции, самоуправство и непозволительное обхождение с хозяевами и прочие сему подобные поступки, почему и наказание должно быть весьма умеренное, клонящееся единственно к исправлению виновного». Но ротный командир не имеет права наказывать солдат за «воровство, самовольную отлучку, утрату амуниции, особенно же за неповиновение старшему младшего и командиру, и самомалейшую умышленную грубость и прочие сему подобные преступления», а должен докладывать полковому командиру, который и принимает решение. Далее в приказе идут мысли, уже знакомые нам по докладной Воронцова Александру I: наказание, несоразмерное вине, и несправедливо, и вредно для службы, оно портит «доброго солдата» и не исправляет «злодея». Сабанеев выражает надежду, что все его подчиненные хорошо понимают различие между «справедливою строгостию и безрассудною жестокостию». Он уверен, что никто из них не захочет по своей воле «быть тираном того почтенного сословия, на груди коего основаны безопасность престола и отечества, да и собственная польза» каждого из офицеров и генералов. **«За вину наказание, за преступление казнь»**; наказание — во власти командира, казнь — во власти закона, «следовательно нет нужды ни в жестокости, ни в послаблении»⁵.

Созвучность мыслей Сабанеева и Воронцова не удивительна, и не только потому, что они давно и крепко дружили, а потому, что их взгляды на военную службу практически совпадали.

Как и Ермолов, Сабанеев был удручен состоянием офицерского корпуса. Это постоянный предмет его переживаний: «Офицеров почти нет. Если выбросить негодных, то пополнять будет некем. Какой источник? Из корпусов (кадетских — *М.Д.*) и от производства унтер-офицеров? Что за корпуса! Что за народ, идущий служить в армию унтер-офицерами? Из 1000 один порядочный», — пишет он Киселеву в 1819 г. В другом письме он говорит: «Кто управляет ротами? Такие офицеры, которые ничего, кроме ремесла взводного командира не знают, да и то плохо; которые ни своих обязанностей, ни солдатских не ведают... Большая часть офицеров, бывших в прошедшую войну, или оставили службу или поднялись выше достоинств своих. Чего же ожидать должно?»⁶

Сабанеев, однако, не ограничивался сетованиями. Уже с осени 1816 г. он начинал разрабатывать специальный «курс военных сведений для унтер-офицеров», а через год пишет Воронцову, что составил проект «о учреждении при корпусах военных училищ и кадетских рот», которые ничего не будут стоить казне. Проект он представил царю. Сабаневу мешало отсутствие помощников, у него не было типографии. Но 24 декабря 1817 г. он писал Воронцову, что на основании этого проекта открыл военную школу, причем курс наук составил сам. «Охотно учатся молодые люди, и охотно отдают служащие у меня в корпусе бедные люди. Буду принимать и посторонних, но, разумеется, с заплатою в пользу неимущих воспитанников».

Школа стала одним из любимых детищ Сабанеева, хотя, конечно, она была далека от того, что бы он хотел видеть. Особый упор делался на практические занятия, дополнявшие теоретический курс, который вклю-

чал математику, артиллерийское дело, фортификацию, инженерное дело, съемку местности и другие военные дисциплины, а также предметы общеобразовательного курса. Цель училища состояла в подготовке молодых людей к военной службе. Контингент кадетов определялся так: «Дети служащих при корпусе чиновников, лишенные, по бедности родителей своих, возможности получить воспитание, будут иметь право (преимущество перед всеми прочими) пользоваться сим способом военного воспитания без всякой платы; таковым же правом пользуются вообще все сироты, живущие в распоряжении корпуса». Дворяне, имевшие состояние, должны были платить по 250 рублей в пользу тех, кто его не имел. При учреждении школы генералы и офицеры корпуса сделали большой взнос по подписке. Школа получила название «кадетской роты». В декабре 1818 г. в ней обучалось уже 62 человека.

«Не поверишь, — писал Сабанеев Воронцову, — сколько открывается желающих отдавать ко мне детей; но беда, что ни способов в помещении, ни присмотра за малолетними быть не может. Какая бы [была] польза, если бы правительство вникнуло в пользу известного тебе прожекта моего!» Второй год уже действовал Комитет военных училищ в Петербурге, но «где же сии училища», — вопрошал Сабанеев. «Кадетские корпуса нельзя назвать таковыми, а военно-сиротские отделения еще менее. В первых учат вертеть ружьем, поворачиваться и маршировать, а в последних (к удивлению) и ружей нет».

Весьма характерно при этом, что одновременно Сабанеев резко критиковал и «Одесскую лицей» аббата Николя, ставшую модным учебным заведением после того, как туда поместил своих детей

кн. П.М.Волконский. Сабанеев считал, что нельзя верить «воспитание знатнейшего юношества французскому попу», хотя бы он был честным и нравственным человеком, потому что он не знает «пользы нашего отечества» и ему нет нужды «вселять... любовь к нему» в юношей-воспитанников. Ну, положим, «будут они чувствовать красоты Гомера, Вергилия, Лафонтена и пр., какая от этого польза России? Они будут ученые иностранцы»⁷, — убежден Сабанеев. Не говоря уже о том, что к военной службе их в лицее не подготовят, и латынь тут не помощница. Мнение Сабанеева интересно. Конечно, ясно, что он раздражен, что не имеет тех средств, которые есть на то, чтобы учить латынь. Любопытнее всего не то, что сам Сабанеев вполне «чувствовал красоты» классики, а то, что он писал все это человеку, получившему образование за границей, и сам Сабанеев уже 10 лет мог судить о том, насколько это сказалось на его патриотизме. Мог ли он сказать о Воронцове — «ученый иностранец»? Конечно, нет. Но в этих его мыслях сказывается весьма распространенное мнение, которое мы встречаем, например, у Карамзина, обвинявшего дворян, живших за границей, чуть ли не в отсутствии патриотизма.

Сабанеев постоянно заботился о том, чтобы повысить уровень боевой подготовки войск. Он написал специальное «наставление для легкой пехоты», выступил с проектом вооружения части офицеров и унтер-офицеров в ротах дальнобойными ружьями типа штуцеров. Но это его стремление все время наталкивалось на то, что начальство гораздо выше ставило строевую «фронтową» подготовку. Это приводило Сабанеева в полном смысле слова в неистовство. В фев-

рале 1821 г. он написал Закревскому: «Не могу равнодушно видеть уныние и изнурение войск русских, измученных бесконечным и беспрестанным ученьем, примеркою и переделкою амуниции и проч. Все обратились единственно к сим предметам, забыв священнейшие обязанности свои. Все готовятся к смотру и делают только то, что при смотре Государь видеть может. Ученье день и ночь, даже со свечами. Солдаты не имеют ни минуты отдохновения. От того побеги, от того смертность, от того никто не выслуживает указанных лет».

Сабанеев сообщал, что в его корпусе за 5 лет, с 1816 по 1821 г., выбыло только «неспособных» 4115 человек, причем из них выслужило срок 53 человека, т. е. 1 из 80 солдат. Умерли за это же время 3600 человек и столько же солдат бежало¹⁰ (ср. корпус Воронцова во Франции!). То есть за пять лет выбыло более четверти и, «конечно, близко 1/3 нижних чинов, считая комплектное число их в корпусе 43106, которого никогда не было». Цифра кажется неправдоподобной. Увы, это еще не рекорд для XIX в. При Николае Павловиче этот показатель был превзойден.

Сабанеев не может с этим смириться. «Что делаю я для уменьшения сего столь ясного для Государя и отечества вреда? Писал, говорил, писать и говорить буду: первая мысль, будто бы Государь требует доведения войск по фронту с пожертвованием их здоровья и уращения полков на счет геройского их желудка — есть истинное оскорбление Величества; 2) сперва сберечь, потом выучить; 3) внушить солдату обязанности его; 4) за грубости, ослушания не наказывать без суда и отнюдь таких преступлений не прощать и пр. Вот мои правила... Не я буду искать благоволения царского на

пути Шварца (командир Семеновского полка в 1820 г. — *М.Д.*) и других ему подобных. Если служба моя Государю не угодна — воля его Величества, я готов быть жертвою у судии моего»⁸.

Трагедия — а для Сабанеева это трагедия — в том, что он, генерал, командир 40 тысяч человек, не мог добиться уничтожения столь ненавидимого им «тиранства». Не мог, несмотря ни на свои обширные права в отношении подчиненных, ни на горячий нрав. И сам понимал это: «Какого ожидать успеха там, где сам дивизионный командир бьет солдата по зубам? Желтухин (начальник 17-й дивизии — *М.Д.*) совершенный антипод моих правил,.. на многих полковых командиров надежда плохая», — писал он Киселеву. 40 тысяч солдат были разбросаны на большой территории так, что расстояние между ротами одного полка нередко достигало 200 верст. Можно было в таких условиях реально контролировать действия начальства? Не только Желтухин, но и менее значительные командиры имели немалую свободу в отношении корпусного. Даже такой убежденный противник насилия по отношению к солдатам, как *М.Ф.Орлов*, ничего не смог понастоящему сделать с подчиненными ему офицерами-тиранами, несмотря на свои «знаменитые приказы» (кстати, в литературе дело представляется так, будто бы Орлов чуть ли не первый и единственный в русской армии публично клеймил офицеров-садистов. Это явно неправильно). Беспорядки в Камчатском полку — лучшее тому свидетельство (подробно о них — ниже).

И это совершенно естественно для армии, где понятия законности если в принципе и не отсутствовали, то, по крайней мере, игнорировались, где жесто-

кость начальников вытекала из системы ценностей и приоритетов, насаждаемых сверху. Сабанеев писал Киселеву: «Тиранство есть необходимое следствие фронтового педантизма, а уныние войск, от того происходящее, предвестник больших несчастий». Командиры не могли не обкрадывать солдат, ибо нужно было готовиться к смотрам, а для этого требовались тысячи рублей, которых у них не было; денег, отпускаемых на «постройку» амуниции, не хватало. Они не могли не мучить солдат шагистикой, ибо царев смотр был началом и концом их надежд на лучшее будущее, а для смотра требовалось одно: «Учебный шаг, хорошая стойка, быстрый взор, скобка против рта, параллельность шеренг, неподвижность плеч»⁹. Командиры не могли не тиранить солдат, ибо искренне не понимали, как можно солдат чему-то научить без мордобоя. Они не видели в солдате человека, ибо весьма часто не понимали ни собственного достоинства, ни своих обязанностей, ибо не видели людей в себе — необразованных, нищих, живущих в глухомани, где пьянство было единственным занятием.

Не то что корпусной командир — сам царь не смог бы пробить эту толщу.

Нужно было менять Систему. А на это Сабанеев не был согласен.

Киселев на Украине

Скажу Клейнмихелю, что ты превзошел его по фронтовой службе и ищешь место, им занимаемое. Вообрази, сколько проклятий!

Хорошо ли всех надул по правилам, простоте твоей предоставленным?

Умерь нрав и всех обманывай молодецки...

Закревский — Киселеву.

В 1819 г. П.Д.Киселев стал начальником штаба 2-й армии, штаб-квартира которой со времен Суворова располагалась в Тульчине. Именно отсюда начался решающий этап восхождения Киселева к вершинам бюрократии. До этого он был одним из нескольких подающих надежды флигель-адъютантов императора, выполнявших иногда весьма ответственные поручения его. Теперь же пост был другого качества и другой ответственности.

В Киселеве среди прочего удивляет то, что он был в фаворе у обоих императоров — Александра и Николая Павловичей, людей с достаточно несхожими характерами, уровнем культуры и манерой поведения, и притом сумел не потерять лица, сохранить независимость и не превратиться в обычного придворного, как это произошло с большинством его «коллег» по флигель-адъютантству.

Декабрист Н.В.Басаргин, адъютант Киселева, пишет о Павле Дмитриевиче так: «Начальник Главного

штаба генерал Киселев был личностью весьма замечательною. Не имея ученого образования, он был чрезвычайно умен, ловок, деятелен, очень приятен в обществе и владел даром слова. У него была большая способность привязывать к себе людей и, особенно, подчиненных. По службе был взыскателен, но очень вежлив в обращении и вообще мыслил и действовал с каким-то рыцарским благородством. Со старшими вел себя скорее гордо, нежели униженно, а с младшими ласково и снисходительно... Не раз я сам от него слышал, как трудно ему было сделаться из светского полотера (как он выражался) деловым человеком, и сколько бессонных ночей он должен был проводить, будучи уже флигель-адъютантом, чтобы несколько образовать себя и приготовиться быть на что-нибудь годным¹». Басаргин специально подчеркивал независимое поведение Киселева с Аракчеевым, особенно заметное на фоне поведения членов свиты («смешно было даже смотреть, с каким подобострастием царедворцы обходились с Аракчеевым») и с самим Александром I («Киселев не унижался и вел себя с достоинством, не теряя этим расположения»). Словом, относился к лучшим образцам «особ приближенных», что и подтвердилось в царствование Николая I, когда он стоически выносил дружную ненависть сановного Петербурга; его называли там «Пугачевым» за стремление к улучшению участи крестьянства.

В 1819 г. назначение Киселева было воспринято в армии с раздраженным недоумением. Командующий армией Витгенштейн решил, что к нему приставили шпиона, что он лишился доверенности царя и потребовал отставки (обычный ход в подобной ситуации в рассматриваемое время), но милостивое письмо Алек-

сандра («поцелуй», по тогдашней терминологии) успокоило его. Далеко не сразу наладились, как уже говорилось, отношения Сабанеева с Киселевым. Сабанеев еще во время инспекторской поездки Киселева во 2-ю армию в 1817 г. писал Закревскому, что «от таковых инспекторов... вред для службы величайший», ибо царская доверенность к полковнику Киселеву подрывает авторитет генерал-лейтенанта, командира корпуса, в глазах его подчиненных. «Я... знаю свое дело во всех отношениях не только лучше Киселева, (чем и гордиться не хочу), но и многих других. Кто не поймет устава? Тот, кто русской грамоты не знает». В 1819 г. Сабанеев также был насторожен, или, скорее, раздражен: «Киселев на сей раз или лучше сказать до сих пор ведет себя прекрасно во всех отношениях. Человек молодой, не без способностей, поощрен Государем как нельзя более, получил опытность и будет полезен. Кому же и служить, как не таким. С полною Царскою доверенностью, известною всем и каждому, все сделать можно. Например, требования его исполняются гораздо скорее и без всякого прекословия... потому что боятся, зная доступ его к престолу. Таким чиновникам так и подобает. Мы, грешные, иное дело, так и быть должно потому, что начальников штаба только двое, а нас как собак»². В этих словах, конечно, чувствуется обида на то, что Сабанеев должен подчиняться молодому человеку, которому было два годика, когда он, Сабанеев, получил боевое крещение под Мачином.

Поражен был назначением Киселева и Ермолов, считавший, что это место на уровне Воронцова, но никак не Киселева, который не имел опыта самостоятельного командования и видел войну в адъютантских чинах.

И тем не менее Александр I не ошибся в выборе. Павел Дмитриевич оказался на своем месте. За новые обязанности Киселев взялся с максимальным усердием: «Я устроил себе комнату, из которой почти не выхожу; с бумагами провожу часов десять, остальное время с книгами; весельем хвастать не могу, ибо и жизнь моя, как письма, имеет сухость тяжкую. Все один, все без раздела и душа в унынии. Я не ропщу...»

Витгенштейн уже мало занимался делами, поэтому Киселев нередко фактически управлял (не командовал!) 2-й армией, как, впрочем, и энергичный начальник штаба 1-й армии Дибич при Сакене.

Закревский, по обыкновению, давал мудрые советы: «Всего разом поправить нельзя, но ты начни с запущенных частей и понемножку все приведешь в порядок. Усердных поощряй, а ленивых брани порядочно и никакой вины не спускай»³.

О состоянии 2-й армии мы уже имеем представление; впечатления Киселева мало отличались от того, о чем писал Сабанеев. Казармы, в которых нельзя жить, скверные госпитали, нехватка продовольствия, побеги солдат, упадок дисциплины, нехватка толковых офицеров, забытая начальством судная часть — все это мы уже видели раньше. И если Ермолов писал Закревскому: «Вы люди чудесные и хотите дать законы самой природе, и от 70-летнего Дельпоццо требуете таких способностей, как от человека со всею свежестию рассудка и с полною силою души», то и Киселев был не в лучшем положении: «Граф (Витгенштейн — М.Д.) пишет, и я тебе повторяю касательно генералитета нашего. Что за несчастная богадельня сделалась из 2-й армии. Имеретинский, Массаловы, Шевандины и толпы тому подобных наполняют спи-

сок. Перестаньте давать нам сих калек, годных к истреблению, и если будет производство, то оставьте хотя просимых... Касательно до назначения будущих полковых командиров, то я здесь отличных действительно не знаю; баталионами ладят, но полк — дело другое»⁴.

Киселев просил прислать ему «французские» приказы Воронцова. «Многие из его постановлений должно признать полезными, в особенности запрещение жестоких телесных наказаний, которое должно бы распространить на всю армию». Он хочет приноровить их ко 2-й армии, ибо «варварство искоренить должно». Однако ему одновременно требовался приказ Аракчеева «о дисциплине», поскольку «тиранство» странным образом уживается с неприличной, по его мнению, разболтанностью.

Мы уже знаем, почему была такой трудной борьба с жестокостью офицеров по отношению к солдатам. Киселев прекрасно понимал это: «Исправление морального состояния армии подлежит времени и постановлениям, которые не дозволяют к тому деятельно приступить. По сему предмету все войска российские в одинаковом положении и, по наречию Сабанеева, палочки наши долго таковыми останутся». Тем не менее, по мере возможностей Киселев стал исправлять положение. Именно по мере возможностей, ибо в его власти было далеко не все.

Осенью 1819 г. Павел Дмитриевич был отвлечен от непосредственных своих обязанностей эпидемией чумы, проникшей в Бессарабию из Дунайских княжеств. Тогда-то он впервые оценил по достоинству Сабанеева, оказавшегося единственным начальником, на которого Киселев мог положиться, остальные

оказались неспособными или трусили. Эпидемия дала повод для актуального сравнения; «у нас теперь существуют две чумы: одна ваша, которая при мерах осторожности исчезает, а другая — Аракчеев — не прежде изгладится с земли нашей, как по его смерти, которой ожидать долго; признаться надо, что вреднейший человек в России», — писал Закревский Киселеву⁵. Тогда же Киселев познакомился с тяжелой жизнью солдат, служивших в Бессарабии.

Уже в 1820 г. появились первые результаты деятельности Киселева. Начал улучшаться быт солдат, Киселев и его сотрудники разрабатывали различные наставления по стрельбе (ружья так плохи, писал он Закревскому, что пока их не улучшат «уменье стрелять останется на бумаге»), по артиллерийскому учению и др.

Одна из самых частых тем в переписке — аудиториат, военно-судная часть. Закревский хвалит Киселева за то, что он обратил на это внимание: «Она у нас в большом упадке от нерадения начальников, и несчастные томятся под судом долгое время, тогда как в это же время, по наказании, могли исправить в нижних чинах несколько свое поведение». Киселев просит «12 мальчиков для аудиториатской части, так как «аудиторы столь плохи, что надо взять меры к исправлению важного сего недостатка». Но глава российского военно-юридического ведомства этих просьб выполнить не может; «мальчиков» забирает Аракчеев для поселений, а аудиторов, как обычно, Закревский советует выбрать на месте. Реформа судопроизводства занимает Павла Дмитриевича не меньше, чем Воронцова⁶ (подробнее об этом — ниже).

Следующее важное направление деятельности Киселева — образование. Сразу же по приезде в Тульчин он написал Закревскому, что в последнем разговоре с царем не услышал ясного ответа на вопрос, открывать ли ланкастерские школы во 2-й армии. Закревский посоветовал обратиться с партикулярным письмом к кн. Болконскому, что Павел Дмитриевич и сделал. Князь отвечал, что новые школы в принципе дело нужное, но куда с этим необходимо подождать, т. к. министр просвещения кн. Голицын потребовал у него по высочайшему повелению сведения о всех таких школах в армии, но с какой целью ему нужны эти сведения, пока неясно. Поэтому следует повременить, не закрывая уже действующие школы⁷.

Заблоцкий-Десятовский приписывал лично Киселеву проект учреждения училищ для бедных детей офицеров и чиновников при пехотных корпусах, говоря, что «по совещанию с генералом Сабанеевым, мысли которого по этому предмету были сходны с его взглядами, Киселев составил проект о помянутых учебных заведениях», который затем через Волконского передал царю⁸. Мы видели, что идея возникла у Сабанеева гораздо раньше, и более того, была реализована до приезда Киселева.

Открыто ли было корпусное училище при 7-м корпусе — точно неизвестно, хотя в пользу этого говорят некоторые косвенные данные.

Как и остальные герои этого рассказа, Киселев засыпал Закревского разнообразными просьбами, предложениями, проектами (любопытная деталь — у Киселева очень быстро сложилась психология трудяги-службиста, в то время как Закревский перешел в разряд «вель-

мож»). Закревский был рад помочь, но не все было в его власти. Так, не получили поддержки идеи Киселева относительно улучшения квартирмейстерской службы: Волконский руководил ею лично, никого туда не допускал и никого слушать не хотел. Сообщая об этом, Закревский делает обычное свое резюме: «Вообще же нерешительность по всему государству удивительная, и конечно, более делает вреда, нежели пользы всякого рода службе; но помочь сему мы с тобой не в состоянии. Неприятности по службе всегда были и должны быть, а наипаче с такими людьми, которые пламенное желание имеют быть полезными службе; потом все охлаждают, и человек должен привыкать, хотя с трудом, к медленностям и прочее, и прочее».

Взгляд Закревского выверенный, с оттенком меланхолического фатализма. Исправить ситуацию в принципе не в их власти. Единственное, что они могут — это честно служить, честно делать свое дело, получать положенные «неприятности по службе», охлаждать свое усердие и все равно тащить лямку, пока силы позволяют, ибо иначе не умеют.

У Киселева позиция пока другая. Он еще не привык к своему головокружительному взлету (шутка ли, начальников штаба армии всего двое — у всей страны на виду!). С ним доверительно, как с равным, как с другом, беседует царь. Поэтому Киселев довольно долго сохранял то состояние, когда эйфория новизны не то чтобы исчезает, но требует совмещения с возникшей уже привычкой к себе самой. И хотя социальное «зрение» у него постепенно фокусируется, заботы и обязанности обретают истинный масштаб, и словно бы начинается обычная жизнь, но что-то мешает считать ее обычной.



Что дает этот краткий обзор служебной деятельности наших героев? Нетрудно заметить, что они в общем заняты одними и теми же проблемами и пытаются решить их достаточно похожими способами. В центре их внимания как командиров забота о подчиненных в широком смысле: улучшение быта, постройка казарм, лазаретов, облегчение положения солдат или, что то же самое, борьба с аракчеевщиной, стремление покончить с воровством казенного и солдатского имущества, наконец, некоторые из них стремятся к просвещению подчиненных — и солдат, и офицеров.

Нельзя не заметить, что наши герои — люди, настроенные достаточно критически по отношению к существующим порядкам, как и полагается людям, привыкшим мыслить самостоятельно. Однако мы пока не можем говорить о характере этого недовольства. Обычное ли здесь раздражение умных и дельных людей, вынужденных бороться с тупой неповоротливостью имперской бюрократии, т. е. чувство весьма обыкновенное, или оно имеет принципиально другое значение, иные корни. Выяснить это должно дальнейшее исследование.

И еще. При всем том общем, что объединяет наших героев как «отцов-командиров», нельзя не заметить и определенных различий между ними. Так, у Ермолова не было видно столь отчетливого стремления сделать законность основой дисциплинарной практики в русской армии, как этого хотелось бы Воронцову, Киселеву и Сабанееву. Их внимание обращено не только на удовлетворение непосредственных нужд подчиненных, прежде всего солдат, но и на солдатские школы, на ре-

форму военного судопроизводства. Ермолова же эти «сюжеты» беспокоят много меньше. Случайно ли это? Мы попробуем ответить на этот вопрос ниже.

А пока продолжим анализ деятельности Ермолова на Кавказе, составившей, без преувеличения, эпоху в истории этого региона во всех аспектах.

Ермолов на Кавказе — II

Нельзя ли сделать, чтобы судьи не воровали, или бы не воровали столько безбожным образом? Будет чудо!

Ермолов — Закревскому

Итак, Ермолов-администратор.

Гражданское управление было сферой совершенно новой для него. Трудность эта была обычной для империи, где генералы весьма часто являлись и гражданскими администраторами. Перефразируя Воронцова, можно сказать, что в глазах правительства командование дивизией было верхом человеческого совершенства. Генерал считался способным чуть ли не на все. Но в данном случае ситуация была особой. Если в центральных губерниях, да и в самом Петербурге, процветали беззакония и воровство, то легко представить, что творилось на окраинах, где «горизонты» произвола раздвигались до бесконечности. Грузия считалась местом подобным ссылке и, естественно, стала прибежищем лихоимцев и проходимцев всех рангов, которые, прикрываясь мундиром, позорили российское правление и Россию. Злоупотребления здесь были тем значительнее, что население не знало российских законов, и грабеж местных жителей осуществлялся чаще всего под прямым покровительством жены предшественника Ермолова Ртищева и его приближенных.

Ермолов прекрасно понимал, что его успехи на новом посту в большой степени будут зависеть от того,

насколько ему удастся совладать с «гражданскими кровопийцами». Но свои возможности он оценивал с самого начала вполне реалистично: «Не берусь я истребить плутни и воровство, но уменьшу непременно; а теперь на некоторое время приостановилось. За недостатком знания в делах я расчел, что полезно нагнать ужас, и пока им пробиваюсь. На счет грабительства говорю речи публично и для удобнейшего понятия в самых простых выражениях». Этот реализм чрезвычайно показателен: он понимает, что уничтожить воровство совсем **невозможно!** Эту мысль мы запомним, и позже попытаемся выяснить, почему он так думает.

В первых письмах из Грузии о гражданском управлении Ермолов говорит хотя и с юмором, но как бы нехотя, словно предчувствуя, что лавров на этом поприще ему не снискать. Он с нетерпением ждет ожидающегося преобразования гражданского управления, ибо, пишет он Закревскому, невозможно представить, что может быть хуже, чем есть. «Не изобретут ли средства уменьшить грабеж и разбой», — риторически вопрошает он и просит прислать в таком случае «рецепт», мечтает, чтобы ввели в обиход «последние в сем случае операции, то есть отсечение головы», и сообщает, что у него «здесь многие бы наследовали царство небесное».

А пока он действует методами привычными. С чиновниками держит себя «на военной ноге»: наложил секвестр на имущество всех чиновников казенной экспедиции, разогнал старую полицию в Тифлисе, причем трех чиновников посадил под караул в здании полиции. Они должны были привести в порядок архив, где за последние 12 лет накопилось 600 нерешенных дел. «Сия мера произвела здесь важное действие», —

пишет он Закревскому. Была создана квартирная комиссия, упорядочена система воинских постоев, которая раньше всей тяжестью ложилась только на бедных горожан. Ермолов ездил в тюрьмы, посещал камеры, беседовал с арестантами, сверяя их рассказы с полицейскими делами, пытается облегчить их участь или, по крайней мере, ускорить решение дел¹.

Словом, перед нами обычный российский вариант честной «новой метлы»: обескуражить, застрашать, разогнать, кого-то посадить, остальным сообщить свое мнение «и для удобнейшего понятия в самых простых выражениях». Только надолго ли этого хватает? И долго ли «метла» остается новой?

Уже в 1818 г. Н.Н.Муравьев (будущий Карсский), обожавший Ермолова, но притом видевший его минусы (свои, впрочем, тоже), писал, что злоупотребления при Ермолове «столь велики, как еще никогда не были»; «никогда столько взяток не брали, как нынче. Ермолов видит все, но позволяет себе наушничать и часто оправдывает и обласкивает виноватого. А сему причиною Алексей Александрович Вельяминов (начальник штаба корпуса, близкий друг Ермолова — *М.Д.*), к которому все сии народы (т. е. взяточники и грабители — *М.Д.*) подбиваются. Вельяминов же делает из Алексея Петровича что хочет. Столь долгое пребывание главнокомандующего на Сунже подает мысль, что ему Грузия надоела и что он хочет от дел отвязаться, отчего злоупотребления увеличиваются и народ ропшет»².

Несколько позже Муравьев снова говорит, что Ермолов или смотрит на беззакония сквозь пальцы или не знает о них.

И это было естественно. Ни Ермолов, ни гражданский губернатор фон Ховену, честный и благородный

человек, не могли, конечно, за всем уследить. Произошла обычная в таких случаях замена некоторых элементов бюрократической машины новыми «запчастями», и она закрутилась в прежнюю сторону с прежней силой.

Справедливости ради нужно сказать, что Муравьев не знал всех причин беспорядков в гражданском управлении, не представлял до конца, насколько отлажена была «механика» движения этой машины, взаимодействие между всеми ее частями. Казнокрады и взяточники в Грузии не могли бы всерьез развернуться, не имея они мощной поддержки в Петербурге. Ермолов нередко был бессилен справиться с этой эшелонированной обороной.

Когда в 1815 г. встал вопрос о назначении нового военного министра, то Аракчеев, как сообщает Д.В.Давыдов, предложил царю кандидатуру Ермолова. Ермолов, говорил Аракчеев, конечно, сразу же со всеми перессорится, разругается, но армия будет одета, обута и сыта. Первый же год пребывания Ермолова на Кавказе, т. е. на таком месте и в такой должности, где можно было ссориться полноценно, вполне подтвердил правоту «Змея».

Отношения с правительством у Ермолова стали сразу же напряженными, и это понятно, учитывая с одной стороны, его характер, а, с другой — характер деятельности министров, которых он оценивал точно так же, как и Закревский. Еще в Петербурге он писал Воронцову: «До сего времени как солдат не имел я дела с министрами и не знал, что Бог за грехи рода человеческого учредил казнь сию. Теперь собственные опыты научили однако же и тому, что природа не особенных людей в министры приуготовля-

ет»³. В Грузии у него не было повода взять эти слова обратно. Ермолов, несмотря на все свое умение лицемерить в нужных случаях (известно, что друзья называли его не только «братом Алексеем», но и «патером Грубером»), все-таки не мог справиться с характером, с натурой. Бездарности он не выносил органически и очень часто действовал так, будто по-прежнему был тем самым подполковником, который в год Аустерлица не без изящества нахамил Аракчееву. Его отношения с министром финансов гр. Гурьевым в конце концов дошли до того, что Гурьев просил его по официальным вопросам вести партикулярную переписку, ибо тон Ермолова не мог вселить в чиновников Министерства финансов уважения к своему шефу. Вот колоритная зарисовка отношений Алексея Петровича с членами кабинета, которую он дал Закревскому. «Справедливо выговариваешь мне, что я со всем светом перебрался и что неприятелей у меня число несметное.

Слушаю твоего дружеского совета и начинаю смягчаться.

Ты не знаешь, что с министром юстиции приятельская переписка, правда, что чрезвычайно редко. С министром полиции самые сладкие приветствия взаимно, финансы неблагосклонны, но если то от гордости, то не будет ему пощады, и я знаю то, что самое счастливейшее царствование Александра ничем не сделает его лучше того, что он есть, и о уважении к нему (Гурьеву — *М.Д.*) нельзя отдать в приказе... Я повинуюсь тебе, и ему даже пишу комплименты и всему достохвальному его семейству, то есть графу Нессельроде, который точно человек прекраснейший, но я не виноват, что имею с ним дело как с министром. На

обеде, завтраке, при устрицах я всегда ему приятель; по службе Государя я требую не одной любезности»⁴.

Ермолов, как и другие наши герои, довольно быстро выяснил, что для честного человека одно из главнейших препятствий в жизни и по службе (что часто одно и то же) — правда. Власть хочет знать лишь то, что хочет знать, и твердо верит, что, как мы сейчас говорим, «показуха» и есть правда. Одно из резких писем Ермолова императору о положении дел в гражданском управлении было передано последним в те самые министерства, на действия которых генерал жаловался (знакомый сюжет!). «Правду и весьма правду говоришь», — жаловался Ермолов Закревскому, — «что письмо мое зло... но кто мог ожидать предательского способа(!), каковым с ним поступлено. После сего станут еще сомневаться, что простосердечие мое не вредит мне. Конечно, после сего и самую правду буду я говорить сквозь зубы, если за нее должен я покупать себе злодеев, которыми и без того очень изобилую. Воображаю, как дуются министры и какие готовы делать мне пакости, но я не буду сердиться и их в свою очередь буду, сколько возможно, истреблять, хотя весьма уверен я, что сражения не всегда будут в мою пользу»⁵. Понятно, Ермолов не сдержал слова и продолжал говорить правду отнюдь не «сквозь зубы».

Петербург, разумеется, не упускал ни одной возможности навредить строптивому «Проконсулу». Между ним и членами кабинета началась чуть ли не «война». В частности, это привело к тому, что Ермолова явно и тайно порочили в глазах царя и света, его постоянно обвиняли в превышении власти, беспорядках, клевете на якобы честных служащих и т. п.

А возможности для этого были обширные. Характерный пример — проведенная в 1818 г. сенатская ревизия управлявшихся Ермоловым областей, которая в числе прочего должна была проверить, насколько верна информация Ермолова о злоупотреблениях по гражданской части. Сенаторы ехали на Кавказ с уже готовым мнением. Ермолов об этом был предупрежден. Ревизия была чрезвычайно поверхностной, в дела никто не вникал, а доступа к сенаторам не было; и через неделю после их отъезда Ермолов получил «ужаснейший донос» на гражданское начальство. В Астрахани сенаторы «счастливы» играли в карты — известный способ приема потенциально опасных столичных визитеров. «Нельзя не видеть, что получили приказание находить все в хорошем виде... Ко всему придираются: чтобы сколько возможно извинить беспорядки, словом, приметно, что ищут сделать представление, противное тому, как говорил я о здешних гражданских разбойниках. Не знаю, зачем присылают этих господ?», — пишет Ермолов и добавляет, — «гораздо проще прислать первого плац-адъютанта», который просто объявит приказ о том, что все хорошо. «Правительство от таких ревизоров ничего не узнает, — продолжает Ермолов, — а будет считать, что ими все сделано и приведено в надлежащий вид». «Нельзя при царствующих ныне министрах, при дремлющем инвалидном Сенате достигнуть правосудия!» — горестно восклицает он. Вопрос о том, всерьез ли считал Ермолов, что при других министрах ситуация изменится, мы оставим пока в стороне. Нужно только отметить, что он категорически заявлял: в следующий раз он доложит обо всем царю и Сенату, «похитившему имя столь знаменитое и столь мало ему приличествующее», и бро-

сит службу. Возникает вопрос, а почему же он не делает этого сейчас? Ермолов предвидит этот вопрос и отвечает, что его мнение будет так представлено царю, что тот ему не поверит: «Назовут меня дерзким, строптивым, и когда буду я просить одного взгляда на злодейства и беззакония, в то время отвратят внимание от жалоб и не будет мне доверия. Не мне делают обиды и угнетения. Обязан я доводить до Государя стон угнетаемых»⁶.

Эта ситуация нестерпима для Ермолова. Да, обижают и угнетают не его. Но это пятно на репутации России и самого императора. Он, как верный слуга, должен сделать так, чтобы царь услышал «стон угнетаемых». Должен, но не может. Кстати, Сабанеев и Киселев важнейшие свои мнения тоже не поверяли бумаге, а ждали личного свидания с царем, ибо хорошо представляли тонкости работы придворно-правительственного механизма.

Итак, мнение Ермолова о существующей Системе самое нелицеприятное. Почти такое, как у Закревского. «Почти» потому, что, кажется, у Алексея Петровича еще есть надежды на императора, а Закревский смотрит на все безнадежно и лишен уже этой надежды. Вспомним фразу Ермолова о «царствующих ныне министрах» и «дремлющем инвалидном Сенате». Что будет, если сменить министров и разбудить Сенат, заодно перестав делать из него превосходительную богадельню, каковой он был? Изменится ли от этого положение в стране?

Видимо, Ермолов считает, что да, изменится. Ермолов, как и другие герои этого рассказа, хорошо знал себе цену. Эпоха Александра в те годы еще давала талантливому человеку немало возможностей для того,

чтобы ощущать свою значимость, чтобы чувствовать себя личностью в полном смысле слова, особенно на фоне людей, об уважении к которым нельзя было «отдать в приказе». Отсюда теоретически как будто логичное представление о том, что если каждый на своем месте будет делать максимум полезных дел, то все будет хорошо. Конечно, подразумевается, что понимание пользы у всех людей одинаково. Мы еще не раз столкнемся с этой чуть ли не бессмертной точкой зрения. Спору нет, на любой должности честный человек лучше вора. Мы, однако, уже видели, каких успехов добился бескорыстный Ермолов, заменивший нечестного или, в крайнем случае, безалаберного Ртищева. Знаем мы и о том, что Ермолов, убежден в невозможности искоренить «грабежи и разбои» гражданских и военных чиновников. Где же логика? Неужели он не понимал, что не в хорошем или плохом чиновнике дело?

«Смирись, Кавказ»?

Еще в ту пору, когда мои самые горячие симпатии примерно поровну делились между людьми, носившими камзолы, фетровые шляпы и ботфорты, и людьми, облаченными в чикчиры, ментики и кивера (результат одновременного выхода на экран «Трех мушкетеров» с Жераром Баррэ и «Гусарской баллады»), этот человек пленил меня.

Все началось с портрета.

Этот гордый величественный профиль! Эта «почти чапаевская» бурка на громадной фигуре! А храбрость и независимость поведения! Такой человек не мог не стать кумиром и, конечно, стал им. Тут я был не одинок.

Ирония пришла позже, когда, в частности, выяснилось, что Ермолов сам весьма высоко ценил свою фигуру и прежде всего за размеры, как бы используя ее в служебных целях.

Но обаяние портрета не исчезло.

Герой опирается на саблю, но кажется, ему нетрудно опереться на одну из острых вершин, в правильном беспорядке нагроможденных на горизонте. И романтический пейзаж, и гривастая бурка, делающая похожим на гору мощный торс, на котором несколько чужеродно выглядит край эполета, все это — как бы пьедестал для лица.

Оно царит.

Царит над облаками, над мятущимся, тревожным, еще только начинающим успокаиваться небом, над величавыми горами.

Резкие мощные черты, грозно сжатые губы, будто навек окаменевшие скулы, подбородок Цезаря или Мефистофеля, львиные бугры нахмуренного лба. Это лицо само по себе кажется главной вершиной Главного Кавказского хребта. И, конечно, на таком лице могут быть именно эти небольшие острые глаза. Что они видят там, за горами?

Какие страны? Какие моря? Что еще должно покорить?

Кстати, этот портрет едва ли не единственный в Военной галерее Зимнего дворца, на котором изображен не герой 1812 г., а герой вообще. Ермолов, по существу, лишен отвлекающих внимание аксессуаров военного мундира. И, быть может, не случайно его бурка так похожа на львиную шкуру из тех, что набрасывали на плечи античные исполины и императоры. Это — римлянин. Недаром его называли тогда Проконсулом.

В иконографии Ермолова примечателен еще один прекрасный портрет (он помещен в БСЭ). Трудно отделаться от ощущения, что он явно спорит с изображением Доу (строго говоря, Доу написал два варианта портрета Ермолова). Герой изображен анфас. Хотя он постарел, голова совершенно белая, но тем не менее это муж в расцвете сил и опыта. Лоб его по-прежнему нахмурен, те же гордые красивые черты лица, жесткая линия рта замыкается теперь скобой черных усов, подчеркивающих благородную седину густых коротких волос. В портрете есть что-то от пушкинского оп-

ределения Ермолова — «голова тигра на туловище Геркулеса». Генеральский мундир с Георгиевским орденом 2-й степени на шее, тремя звездами и лентой усиливает впечатление мрачного величия.

Этот портрет может льстить герою не хуже всякого иного, притом я не сомневаюсь, что Ермолову он нравился. Но в нем определенно не хватает романтической приподнятости и авторской как бы умиленности изображаемым, которые столь свойственны жанру вообще и парадным портретам Доу, в частности; у него они создают своего рода эмоциональную рамку для личности. Автор второго портрета видит Ермолова иначе, он словно знает о нем что-то такое, чего не знал или не видел Доу. Этот постаревший Ермолов, быть может, даже значительнее, величественнее, но в то же время как-то обыденнее, конкретнее, что ли. С точки зрения романтического обаяния портреты различаются примерно так же, как «Кавказский пленник» и «Записки во время управления Грузией».

Второй портрет принадлежит кисти художника с необычной фамилией Захаров-Чеченец. Он прожил короткую и странную жизнь. И действительно знал о Ермолоче немало.

14 сентября 1819 г. русские войска окружили и разгромили аул Дадан-Юрт. Приказ был «никому не давать пощады», ибо Ермолову был нужен «пример ужаса». Погибло не менее 400 жителей и около 200 солдат и казаков. «Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие женщины бросались на солдат с кинжалами... Женщин и детей взято в плен до ста сорока, которых солдаты из сожаления пощадили, как уже оставшихся без всякой защиты и

просивших помилования (но гораздо большее число вырезано или в домах погибло от действия артиллерии и пожара)», — сообщает Ермолов в своих «Записках»¹.

Среди пленных был мальчик, ставший в тот день сиротой. Его взял на воспитание Петр Николаевич Ермолов, кузен Алексея Петровича.

Мальчик вырос и стал художником. И написал портрет злого дяди, который в воспитательных целях сделал его сиротой и лишил родного дома. Такое вот странное сближение...

Трудно сказать, каково было истинное отношение Захарова к своей необычной судьбе. Но об отношении к А.П.Ермолову судить можно. Его Ермолов — не романтический «Проконсул» Доу. Это человек, устраивающий, выражаясь языком просвещенного ХХ в., акции устрашения, а затем описывающий их с простодушным цинизмом. Едва ли этот человек после высадки Наполеона с о. Эльба мог когда-то произнести: «Неужели великодушнее положить тысячи невинных, нежели отнять жизнь у одного злодея?» Этот — не мог.

* * *

Эпиграфом к теме «Ермолов и колониальная политика России» может служить сравнительно недавнее решение городских властей Грозного о том, что многострадальный памятник Ермолову должен быть, наконец, убран. Едва ли Алексей Петрович в своей реальной боевой жизни подвергался таким опасностям, как его металлическое изображение, стоявшее на улице им же основанной крепости Грозной и как бы продлевавшее

его военную биографию. Понятно, что памятник Ермолову было бы куда уместнее водрузить на его родине в Орле.

Как известно, до Великой Отечественной войны имя Ермолова в советской историографии употреблялось преимущественно с отрицательным знаком. Однако после выселения с родины чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев внезапно «выяснилось», что Шамиль, оказывается, был английским и турецким шпионом одновременно (видимо, в духе времени, быть агентом какой-то одной страны было несолидно). Одновременно «вспомнили», что Ермолов был другом декабристов, знаменем оппозиции и т. д. Первой «ласточкой» здесь оказалась глава «Ермолов и ермоловцы» в книге М.В.Нечкиной «Грибоедов и декабристы» (1947), появление которой невозможно представить, скажем, в 1940 г., когда вышел университетский учебник истории СССР XIX в.

Поскольку деятельность Ермолова в Дагестане и Закавказье даже и после событий, «ознаменовавших» поворот в национальной политике нашей страны оценить с симпатией было трудно, то о ней стали писать как можно меньше. В итоге в работах, посвященных Ермолову в последние десятилетия, мы просто видим фразы о «противоречивости некоторых сторон его мировоззрения», которые так же мало проясняют его личность, как и прежние умолчания о любви к нему многих прогрессивных людей России XIX века.

Между тем понятно, что (прошу прощения за банальность) противопоставлять Ермолова, чьим именем пугали детей в горах, Ермолову, которым клялись такие люди, как Якубович, например, на каторге, неправильно.

За недостатком места мы не сможем осветить эту сложнейшую проблему хоть сколько-нибудь подробно. Но сделать некоторые замечания необходимо.

Проблема отношений с местным населением была так же важна, как и сложна. Велика была и ответственность Ермолова без преувеличения за каждое действие. Впрочем, он к этому был готов.

Первым объектом его «экспансии» стала азербайджанская и грузинская знать. Он, как мы знаем, вообще не жаловал титулованных особ, а здесь к тому же были дополнительные и веские причины. «Мои предместники слабостию своею избаловали всех ханов и подобную им каналью до такой степени, что они себя ставят не менее султанов турецких и жестокости, которые и турки уже стыдятся делать, они думают по правам им позволительными. Предместники мои вели с ними переписку, как с любовницами, такие нежности, сладости, и точно как будто мы у них во власти. Я начал вразумлять их», — пишет он Закревскому. Немногим лучше его мнение о грузинской знати: «Князья ничто иное есть, как в уменьшенном размере копия с царей грузинских. Та же алчность к самовластию, та же жестокость в обращении с подданными. То же благоразумие одних в законодательстве, других в совершенном убеждении, что нет законов совершеннейших».

Как можно видеть, принципиальной разницы между знатью Закавказья и Персии для Ермолова нет. Программа действий у него была готова; главное средство — «чрезвычайная строгость».

Идеальная цель Ермолова — сделать присоединенные области российскими уездами, а их жителей, прежде всего дворянство, русскими. Это понятно: для

империи унификация одновременно и цель, и средство. Но цель пока более или менее отдаленная. «Образование народов принадлежит векам, не жизни человека», — совершенно справедливо пишет Ермолов Воронцову. Ближайшую же задачу Ермолов видит в уничтожении наиболее вопиющих проявлений азиатского деспотизма во владениях России и введение хотя бы подобия российского управления, которое, считает он, все же лучше того, что было раньше.

«Все подвиги мои, — продолжает он в том же письме к Воронцову, — состоят в том, чтобы какому-нибудь князю грузинской крови помешать делать злодеяния, которые в понятии его о чести, о правах человека суть действия, ознаменовывающие высокое его происхождение; воспретить какому-нибудь хану по произволу его резать носы и уши, который в образе мыслей своих не допускает существования власти, если она не сопровождается истреблением и кровопролитием»². Относительно носов и ушей Ермолов не преувеличивал. И, забегая вперед, заметим, что политика ограничения самовластиа знати объективно улучшала положение простого народа, о чем не раз писали апологеты Ермолова еще в XIX в. Вообще надо определенно сказать, что к народу Ермолов относился иначе, чем к его властителям.

«Образование народов принадлежит векам». Но у Ермолова, как он считал, не было и 10 лет. Максимум того, что он мог сделать это «начертать путь и дать законы движению» тем, кто придет после него. Но делал он это с удручающей казарменной прямолинейностью, которая плохо соответствовала масштабам его личности. Ни о каком, даже элементарном учете многовековых традиций и нравов местного населения не

было и речи. В лучшем случае, он был настроен по отношению к ним иронично. Он не пытался, как, например, Н.Н.Муравьев понять, а только осуждал. Ему совсем не хотелось ждать «образования народов». «Благодетельная строгость» — основной, как мы знаем, метод Ермолова. Тут, конечно, сказывалось стремление подчеркнуть различия между собой и Ртищевым, при котором злоупотребления достигли огромных размеров и который «разбаловал мягкостью» знать, с чем Ермолов решительно не мог согласиться. Но вместе с тем силовые приемы соответствовали в общем взгляду Ермолова на проблему в целом.

Презирая то, что было достойно презрения, — варварство, деспотизм власть имущих, Ермолов вместе с водой выплескивал ребенка. Причем, осуждая азиатские нравы с позиций европейских, он боролся с ними такими же азиатскими, «нецивилизованными» средствами. И это естественно для него. Часто ли «миссия белого человека» осуществлялась по-другому? Такова обычная логика складывания империй, а Ермолов, как известно, был знатоком римской истории

Не следует забывать, что Россия имела богатый опыт «борьбы с варварством варварскими средствами». Тезис «законы должны соответствовать народным нравам» Ермоловым интерпретировался несколько неожиданно: если люди понимают как аргумент только силу, то с ними и действовать надлежит силой. И поэтому Ермолов совершенно искренне считает, что «здесь и добро надобно делать с насилием», и пытается реализовать этот любимый тезис российских реформаторов в своей деятельности. В какой мере правительство разделяет ответственность за те действия Ермолова, которые до сих пор вызывают к нему ненависть жителей Кавказа?

Вопрос очень важный. Еще до отъезда в Персию он писал Закревскому: «До тех пор, как не узнают коротко правил моих и точного намерения сделать пользу здешнему краю, много будут недовольны и дойдут вопли до вас, но вы не бойтесь, все будут довольны впоследствии. Я страшусь ваших филантропических правил. Они хороши, но не здесь». Оставляя в стороне вопрос, кто эти «все», в чьем будущем одобрении Алексей Петрович так уверен, отметим слова «филантропические правила».

«Филантропия», т. е. человеколюбие, — одно из самых нелюбимых Ермоловым понятий. Не потому, что он был таким уж человеконенавистником, но потому, что, по его твердому убеждению, это понятие, внешне респектабельное, часто служит для прикрытия явлений плохо совместимых с настоящей заботой о людях, как ее понимает он. Например, он считал, что человеколюбивее было бы расстрелять Наполеона в 1814 г. Тогда не было бы «Ста дней», стоивших жизни сотне тысяч людей, сложивших головы из-за честолюбия одного негодяя. Ермолов уверен, что внешняя пристойность, законность и т. п. «просвещенные понятия» должны отступать перед реальной жизнью, если она того требует. Раз закон прикрывает нечто, противное пользе (диапазон тут может быть широк), значит лучше, справедливее поступить вопреки закону. Если жестокий хан калечит своих подданных, значит нужно сделать все, чтобы убрать его с престола, хотя бы и вопреки данному Россией слову, тем более, что слово было дано против воли, под давлением неблагоприятных обстоятельств. Если тифлиские купцы пытались ставить ему неприемлемые условия, не понимали своего «настоящего места», то нужно не вести с ними душеспасительные беседы, как сделал бы Ртищев, а просто за-

переть в помещении, поставить караул у дверей и объявить, что пока вопрос решен не будет, никто из них отсюда не выйдет»³.

Фраза «ваши филантропические правила» как будто говорит, что правительство было против крутых мер, которые Ермолов считал в ряде случаев неизбежными. Если это и так, то скорее на уровне теоретическом, концептуальном. Дело даже не в том, что за исключением самых вопиющих действий «Проконсула» и его подчиненных (например, печально знаменитый рейд генерала Власова по Закубанью) его деятельность в общем и целом одобрялась царем. Политика правительства не была последовательной, что отражало общий ход дел в стране. Царь давал как бы общее направление кавказским делам. Можно думать, что он не одобрял репрессии как основное средство решения сложнейших проблем региона. Однако своими действиями правительство нередко доводило подвластные народы до возмущения, заканчивавшегося восстанием. Тогда оно умывало руки, а Ермолов, который по должности обязан был подавлять, расправляться и т. д., становился злодеем перед всем миром.

Характернейший пример в этом смысле — восстание в Имеретии в 1819—1820 гг. Русификаторская политика правительства коснулась грузинской церкви: духовенство и церковные имущества решено было подчинить Синоду и назначенному Петербургом экзарху (митрополиту) Грузии. При этом резко сокращалось число приходов, количество священников и епископов. Церковных дворян начали выселять на казенные земли. Единственным положительным моментом реформы считается освобождение княжеских и дворянских священников и их семей от крепостной зависимости. Реформа, естественно, вызвала резкое

недовольство грузинской церкви и дворянства. Дело кончилось восстанием в Имеретии.

Драматичность положения Ермолова заключалась в том, что он был категорически против этой реформы, ибо прекрасно понимал ее несвоевременность, но сделать ничего не мог. В Петербурге, как это не раз бывало, его мнение проигнорировали. Ермолов во время «проконсульства» старался не ставить нереальных задач, т. к. был уверен, что малейшая неудача может сказаться на престиже страны. И вот в данном случае он против своей воли был вовлечен в эту историю, которая, начавшись, уже непременно должна была быть закончена, по соображениям престижа прежде всего. Д.В.Давыдов именно о таких случаях говорил, что военный человек — раб. Отступать Ермолову было невозможно: повеление императора должно быть исполнено. Восстание в Имеретии, во время которого был убит, в частности, любимец Ермолова полковник Пузыревский, было жестоко подавлено.

Однако что касается походов в горы против народов Дагестана и чеченцев — это была целиком ермоловская инициатива. И делить ответственность ему не с кем.

При оценке Ермолова-имперского администратора нужно иметь в виду, что его репутация была не только «сделана», но и в немалой степени «наговорена» им самим. Он был крупным мастером блефа — во всех сферах жизни. Полагаем, что известный отзыв о нем Грибоедова как о «сфинксе новейших времен», скорее всего относится именно к этой составляющей его личности; заметим, что это точка зрения одного из проницательнейших людей эпохи. Ермолов обожал удивлять, поражать и т. п. В этом смысле посольство в Персию дает верную картину. Письма его пестрят словами «надул», «испугал» и другими в таком роде.

Свою репутацию на Кавказе Ермолов не завоевывал постепенно, а установил немедленно и такую, какую хотел: сильного, властного, абсолютно бескорыстного человека, жесткого, а порой и жестокого правителя, которого при случае ничто не остановит. Н.Н.Муравьев говорил, что в одной из бесед с грузинскими князьями Ермолов пообещал, что если они взбунтуют народ, он истребит в Кахетии 30 тыс. человек. Само по себе это заявление — типично ермоловский блеф. Ему важно было с самого начала устрашить влиятельные и владетельные умы, как бы обозначить репрессивную «перспективу». Несмотря на многочисленные «фельдфебельские» заявления, он далеко не всегда был прямолинеен. Так, если шекинского Измаил-хана он приструнил сразу же, то сильнейшего из ханов — ширванского Мустафу — «ласкал» до поры (причем на первое свидание с ним отправился со свитой всего из пяти казаков, со вкусом сообщив потом Закревскому: «Вот чем я его зарезал!»⁴). Создавая себе необычную репутацию он, в частности, демонстративно отказался от богатых подарков, которые пытались сделать ему ханы «по обычаю ли земли, или по обычаю главнокомандующих», но разрешил каждому хану преподнести по простой узде и плетке («эмблематические подарки»). А вместо предметов роскоши взял для русских солдат 7 тыс. баранов.

Жизнь, однако, сложилась так, что его угроза залить Кахетию кровью осуществилась. Но иначе и быть не могло, ибо тезис «добро с насилием» — парафраз понятия «цель оправдывает средства». И человек, исповедующий это правило, готов к применению насильственных средств для достижения доброй, как ему кажется, цели. Дело лишь за обстоятельствами, но история показывает, что такие обстоятельства всегда находятся. Или их создают.

Вышесказанное позволяет сделать весьма важный вывод. На наш взгляд, у Ермолова, в отличие, например, от Воронцова, очень слабо выражено то, что можно назвать правовым сознанием. У него другая парадигма, другое видение мира. Его практика как главы русской администрации на Кавказе, как главного представителя императора и даже как командира Кавказского корпуса весьма относительно сопрягается с законностью, даже на том уровне, на каком тогдашнее законодательство — гражданское и военное — могло включать этот принцип.

Разумеется, и в России сплошь и рядом царило беззаконие. Но то неясное в целом правовое состояние, подвластных земель, достаточно неопределенное положение Власти, сочетание местных обычаев и российских законов, правовая неграмотность не только местных жителей, но и русских чиновников — все это значительно расширяло рамки возможного произвола и Ермолова и его подчиненных. Здесь важно различать, что обуславливалось этим объективно неопределенным состоянием, а что было воплощением программных установок самого «Проконсула» («добро с насилием» и т. п.).

Мы видели, что его политика на Кавказе — как бы продолжение «персидской линии». И для превращения Закавказья в Россию ему не очень-то были нужны законы, как не нужны были «филантропические правила», предполагающие терпимость или хотя бы внешнее уважение к чужим нравам и обычаям.

Напомним, что Ермолов не стеснялся в выборе средств и по отношению к своим подчиненным. Если под замком оказывались тифлисские купцы, то под арестом сидели и русские чиновники.

Таков стиль мышления и поведения Ермолова вообще.

Сказанное не нужно понимать так, что Ермолов только и думал, как бы ему нарушить закон, поступить самовластно и т. п. Равно неверно представлять его априори жестоким человеком (такова была например, точка зрения Л.Н.Толстого).

Ермолов был не первым и не последним представителем того могучего племени российского начальства, российской бюрократии, которое было воспитано в петровских традициях и привыкло к тому, что «указы пишутся кнутом», что дубинка и государственная польза — два неразрывно связанных понятия и что без дубинки польза остается музейным экспонатом.

* * *

Теперь настало время обратиться к конкретным проблемам эпохи и рассмотреть отношение к ним наших героев.

В сентябре 1817 г. Закревский пишет Воронцову: «Я хотел бы с вами побеседовать и послушать ваше замечание насчет литовского корпуса,.. а равно поселяемых войск и вольности в России. Часто о сем рассуждаю с людьми, к которым имею уважение; но не видим пользы государственной, и по сие время не вижу людей, которые бы сие одобряли. Признаться вам должен, что сии предметы у меня из головы не выходят». В одной фразе Закревский объединил все главные политические проблемы-тревоги того времени. Действительно, в словах «реформы», «Польша», «поселения» заключалась тогдашняя правительственная программа. Попытаемся охарактеризовать каждую из них отдельно.

«Бредни препорядочные»

Поселяне могут получить такую ненависть к военным, что скоро в нас начнут бросать камнями, а из нас не каждый достоин быть св. Стефаном. Это один случай, в котором граф Аракчеев не сыщет завидующих.

Ермолов — Закревскому

А тем временем уже мостились благими намерениями дороги к военным повселениям...

С начала декабря 1816 г., когда Закревский впервые сообщает Воронцову о начавшемся «поселении полков», и до 1818 г. эта тема остается одной из главных в переписке:

«Поселением войск тщательно занимаемся; а мужики не с охотою оное принимают, и дорогою во время проезда императриц и великого князя из Петербурга в Москву их толпы мужиков останавливали и жаловались, прося довести до сведения Государя»;

«Поселение войск наших удивительно увеличилось и бдительность гр. Аракчеева по сему предмету удвоена; но пользы никакой не видим, а издержки ужаснейшие. Вы знаете, кто начальники поселенных войск; следовательно, и ожидать ничего путного нельзя»;

«Поселение увеличивается под мудрым начальством Аракчеева, который о благе общем нимало не заботится и есть по делам его вреднейший человек в России»;

«Поселение продолжается, и скоро будут водворять целыми дивизиями. Мы мнимой пользы сего поселе-

ния, верно, не дождемся, а дети и внуки, у кого оные есть, будут сие полезное заведение оплакивать»¹.

Эта злая ирония Закревского приятно удивила бы, видимо, даже Герцена. «Аракчеев... вреднейший человек в России», «пользы никакой», «мнимая польза», а «устав» поселений — «бредни препорядочные».

Мы привыкли к тому, что военные поселения — новая изощренная разновидность крепостничества, во многом оставляющая за собой все прежние рекорды узаконенного российского рабства. Поэтому нам хватает самого факта критики поселений современниками, ибо критика сразу как бы определяет их позицию по отношению к Аракчееву и аракчеевщине. Это в общем верно. Однако нельзя забывать, что мотивы неприятия этой системы военных поселений в самом начале их 30-летней истории, как например, у Закревского и его друзей в конце 1816 — начале 1817 г. были несколько иными. То, что эта система окажется синонимом произвола и жестокости, было далеко не очевидно в первые месяцы ее введения, когда Закревский писал только что приведенные строки.

Как известно, военные поселения были созданы для того, чтобы постоянно держать под ружьем громадную армию, которая к тому же должна была находиться на самофинансировании. Тем самым правительство добивалось двух основных целей (были и другие). Во-первых, сокращались расходы на армию, о чем царь очень любил рассуждать. Во-вторых, правительство в известной степени эмансипировалось от дворянства, в зависимости от которого оно находилось из-за рекрутских наборов. В поселениях должны были оптимальным образом соединяться военная

служба и сельское хозяйство. Эти прозаические цели декорировались тем, что с введением поселений исчезнут слезы, сопровождавшие каждый рекрутский набор (вспомним «штандарт» III Отделения Е.И.В. Канцелярии — знаменитый платочек, якобы врученный Николаем I А.Х. Бенкендорфу для осушения слез обездоленных российских граждан), что солдат будет находиться в кругу семьи, хорошо питаться и вообще вкушать все радости жизни, которых ныне лишен (о, любимое грамматическое время российских правительств — будущее!). Причем эти пасторально-идиллические картины даже в официальных документах иногда рисовались в лучших традициях сентиментализма XVIII в.

Современники прежде всего подвергли критике главную цель создания поселений — попытку объединить «ружье» и «соху». Барклай де Толли не без остроумия заметил, что между ними существует «беспредельная разность»: «Там взыскивается позитура, ровный шаг и внимание к команде, а при сохе и у серпа требуется все, тому противное». (Увы, он, как и другие, не предполагал, что можно, оказывается, и пахать «тихим шагом», соблюдая равнение, и молотить по команде капралов.)

Немного позже Ермолов, хорошо знавший психологию солдат, утверждал, что «человек, служивший солдатом, редко может быть хорошим хлебопашцем», «его трудно уверить, чтобы земледелец не был состояния низшего, нежели человек, несший оружие за отечество. Кроме того, и сама долговременная отвычка уничтожает уже способность»². Вероятно, определение Закревского «бредни» относится и к этим аспектам идеи поселений.

Однако основная причина недовольства современников заключалась в другом. Еще в 1760-х гг. Екатерина II отвергла проект поселений, предлагавшийся Захаром Чернышевым, так как посчитала опасными для внутреннего спокойствия государства столь многочисленные скопления вооруженных людей (добавим, семейных людей). Мнение Екатерины отражало позицию большинства дворян страны и его, несомненно, разделяло и большинство дворян-подданных ее внука Александра. «Поселения военные неминуемо должны были образоваться в военную касту с оружием в руках, ничего не имеющую общего с остальным населением России», — писал декабрист И.Д.Якушкин. Ему вторил декабрист С.П.Трубецкой, говоривший, что эта «в государстве особая каста... не имея с народом ничего общего, может сделаться орудием его угнетения». Как мы видим, о поселениях как о системе угнетения речи нет. «Классовое чутье» не подводит и Ермолова: «Я постигаю возможность здесь (на Кавказе — *М.Д.*) сделать хорошие заведения, но совсем в другом роде, и здесь они не представляют ни малейшей опасности... но и к сему не иначе приступить должно, как с величайшей осторожностью»³.

Сейчас важно не конкретное отличие планов Ермолова от аракчеевских, а то, что последние он считает опасными («если здесь они не представляют ни малейшей опасности», значит «там» — опасны). Нетрудно догадаться, для кого опасна, кому грозит «военная каста». Внутреннее спокойствие государства — это спокойствие дворянства. Потому и польза от поселений «мнимая», что рекламируемые выгоды от их введения, совершенно покуда недоказанные практикой и неочевидные, перевешиваются постоянной и явной угрозой,

которая исходит от них. В конце июля 1817 г. Закревский писал Киселеву: «Спешу тебе... ответить... касательно Бугского войска, для усмирения коего велено послать столько войска, сколько потребует граф Витт. Вот новые плоды цветущему и обдуманному поспешно, и если во всех местах, где будут поселяться войска, появится сия новость, то не совсем последствия могут быть приятные. Впрочем, сие всегда ожидать можно»⁴. Закревский оказался прав: «сия новость» еще не раз повторялась при его жизни.

Опасность усугублялась тем, что идея реализовывалась «под мудрым начальством Аракчеева». Ермолов считал, что даже его безопасные «заведения» нужно вводить сугубо осторожно. А во внутренних губерниях поселения вводились «без всякой осмотрительности», воистину с революционным размахом, что, по мнению Закревского, вообще пессимиста, не могло не привести к печальным последствиям. Критически оценивался и начальствующий состав поселений. «Нельзя не удивиться, какие орудия избраны для приведения в исполнение сего трудного и многосложного плана. Лисаневич, Витт, Княжнин, Александров — не самые благонадежные залогов в успехе»⁵, — полагает Ермолов. Не выше котировался и начальник штаба поселений Клейнмихель (Мелкомишин, как говаривал Ермолов, любивший переводить немецкие фамилии). В 1819 г. уже после подавления восстания в Чугуеве, Закревский писал Киселеву: «У нас теперь существуют две чумы: одна ваша, которая при мерах предосторожности исчезнет, а другая — Аракчеев — не прежде изгладится с земли нашей, как по его смерти, которой ожидать нам долго; признаться надо, что вреднейший человек в России. Мне кажется, что Клейнмихель со временем будет

хуже его. Экспедиция его в Чугуев чудесная»⁶. Значит ли это, что, по мнению наших героев, при других начальниках из поселений вышло бы что-то «путное»? Вряд ли. Скорее они просто акцентируют значимость подбора исполнителей для успеха любого дела.

В последние годы появился ряд интересных работ, в которых использованы новые материалы по различным аспектам истории военных поселений, значительно расширяющие, а иногда и опровергающие привычные представления о них⁷. В частности, выяснилось, что экономическое положение южных поселений было значительно благоприятнее, чем северных. Они даже приносили немалую прибыль. Эти и другие результаты указанных исследований очень любопытны. Однако нельзя не заметить, что в некоторых работах заметно неизбывное наше стремление на месте старого мифа немедленно водрузить новый⁸. Стремясь доказать, что были люди, которые находили в поселениях и привлекательные стороны, а иногда даже считали их просто полезными, авторы оперируют такими оборотами: «поселения не всегда и не всеми оценивались как явление вредное и не дающее определенных выгод государству»; «привычные стереотипы и определения, будто поселения несли России только зло»; «представления о восприятии ее (системы поселений — М.Д.) почти всеми современниками только как регрессивного явления»⁹ и др. (Неточность этих формулировок порождает вопросы о том, что такое прогресс и регресс в истории, что такое «определенные выгоды государства» и чем их измеряют и т. д.)

В подтверждение этого приводятся положительные отзывы о военных поселениях различных лиц от некоего титулярного советника до Сперанского, который

«по воле императора... написал брошюру «О военных поселениях», предназначавшуюся для перевода на французский язык». В литературе давно высказано сомнение в искренности Сперанского. И это справедливо — после 1812 г. с трудом можно представить ситуацию, в которой он мог активно противоречить царю в очень важном для того деле. Относительно же положительных оценок современников, которые специально приглашались в поселения, вспоминаются два фрагмента из переписки Закревского и Киселева. В письме от 29–30 июня Закревский писал: «Государь третьего дня возвратился из новгородских поселений и очень был доволен, что вперед можно было предвидеть. Петрахан (кн. Волконского — *М.Д.*) туда возили и ему приказали поселения хвалить, что он и исполняет беспрекословно»¹⁰. В конце того же года Киселев сообщил Закревскому, что того будто бы видели в Вознесенске, где происходил смотр южных поселений. Закревский удивился: «В Вознесенске я не был, и кто выдумал сей вздор? Ты знаешь, какого я мнения насчет поселения, и, следовательно, меня не пошлют, да и я сам не поеду, дабы избавиться иметь сношения со Змеем»¹¹. Эти строки несколько девальвируют восторженные отзывы высокопоставленных визитеров о поселениях. Расположение Аракчеева — серьезный приз, за который многие боролись.

Впрочем, авторы честно приводят и некоторые негативные мнения о поселениях (кстати, нет ни одного отзыва ни Закревского, ни Киселева, а ведь не последнее в стране люди были). Но стремление «соблюсти», точнее, восстановить баланс, опять-таки, кажется не вполне искренним, ибо критика даже со стороны офицеров, служивших в поселениях, сопровождается сле-

дующим комментарием: «Не все офицеры могли видеть поселенные образования как единую и целостную структуру. Чаще всего они писали о том, что видели в каком-то одном регионе поселений, акцентируя свое внимание именно на отрицательных моментах, которые сразу же бросались в глаза (огромные расходы при устройстве, жесткая регламентация хозяйственной жизни, массовые переселения крестьян, истребление ими своего имущества). Они не могли знать всех нюансов и подробностей развития поселенной системы, а исходили чаще всего из мысли о страданиях народа и солдат»¹². Указанная мысль, кстати, кажется не самой плохой точкой отсчета. Что же касается прибыли, приносимой поселениями, нельзя не вспомнить, что «предприятия» ГУЛАГа и даже многие колхозы тоже приносили прибыль. Вопрос в том, в какой системе политэкономии производятся вычисления.

Касаются авторы и некоторых из наших героев: «Одобрительно к идее военных поселений относился генерал А.П.Ермолов. Более того, он участвовал в поиске и определении оптимальных форм поселения в 1816 г.»¹³. Во-первых, оборот «более того» здесь едва ли уместен — он не слишком явно вытекает из одобрительного или неодобрительного восприятия идеи поселений. Во-вторых, сам по себе факт участия в обсуждении ее ничего не означает — хотелось бы видеть, как Ермолов отказался бы от такого явного знака внимания и доверия со стороны Александра I, да и Аракчеева, особенно в преддверии желанного назначения на Кавказ или сразу же после того, как оно состоялось! К.М.Ячменихин, кстати, пишет: «Ермолов предложил ввести военные поселения без громкой огласки и, назначив войскам постоянные квартиры, предос-

тавить им полную свободу «сливаться с населением страны». Под давлением Аракчеева такой вариант был отвергнут и принято решение о создании замкнутой единицы в виде округа поселения отдельного пехотного или кавалерийского полка»¹⁴. И потом определение «отношение к идее» слишком общо — каков уровень абстрактности данной идеи? В частности, поселения на Кавказе и в России (внутренней) не совсем одно и то же; это все-таки разные ипостаси одной идеи. И на каких основаниях они учреждаются? Какими средствами идея проводится в жизнь?

Письма Ермолова Закревскому не дают основания говорить об одобрении поселений (кстати, слова Закревского о том, что никто из уважаемых людей не «видит в том пользы государственной», относятся, конечно, и к Ермолову, притом в первую очередь. Едва ли Ермолов скрыл от него участие в совещаниях по этому вопросу). Вот, что пишет Алексей Петрович в конце апреля 1818 г.: «Прелюбопытно описание воинского поселения, но я трудно его понимаю, ибо оно совсем изменилось против прежнего предположения. Там выгоняли поселян на кочевье, чтобы воспользоваться их землею, а теперь поселяне, кажется, хотят бросить землю, но их бежать не пускают. Не зная постановлений, не могу ничего сказать; я прошу графа Аракчеева прислать мне узаконения о сем новом совершенно учреждении». В августе того же года он явно дифференцирует «идею» и методы ее реализации: «О поселении военном в здешнем краю я точно подумаю, и оно здесь чрезвычайно полезно быть может, но если не будет уподобляться теперешнему и, сверх того, если рассматриваемо будет на Литейной (т. е. у Аракчеева — М.Д.), то может быть и смешается с грязью...»

В ноябре 1820 г. позиция Алексея Петровича комментариев уже не требует: «Вижу... большие успехи в поселениях. Лучшее доказательство удовольствия есть Александровская лента, данная Витту. Признаюсь, что награждение ужасное и надлежало бы умерить его **вычетом** с него Георгиевского креста, который при мирных добродетелях его совсем излишня для него тягость... основатель поселений должен быть в восхищении, ибо повсюду чрезвычайные награды, и они должны разрушить все невыгодные о поселениях толки. Вот новый способ получить командование армии... Г.г. главнокомандующие армиями скоро почувствуют, что имеют сильного соперника... Я не столько знатный человек, но охраняют меня горцы от поселений. Честь учреждения оных будет принадлежать другому, а основатель до того счастливого времени не доживет. Здесь в некоторых местах будут они полезны впоследствии, но я боялся бы утеснительных правил, на коих они основаны, и здесь неудовольствие жителей может быть пагубным. У вас плети все решают, а здесь недовольным могут помочь неприятели... Если что подобное замыслят — вместе с приказанием присылай мое увольнение. Не сделаешь ошибки!»¹⁵

Не будем ошибаться и мы.

«Ужаснейшие последствия» «речи прекрасной»

Видно в Варшаве прием не московский; там хоть бригадиры плачущие, но приверженные. Царство же сумасбродное Польское никогда не может русских любить, чем хочешь их ласкай. Полек не так легко надуть, как москвитянок, которые и теперь еще в чаду и мечтании. Когда наскучат вам смотры и ученья, от которых я сам не знаю, куда деваться.

Закревский — Киселеву

«Восстановление Польши» — еще одна из главных проблем того времени. Большая часть созданного Наполеоном Великого герцогства Варшавского была присоединена к России. Александр I принял титул короля Польского и оставил за собой право произвести те изменения во внутреннем устройстве этого государства, которые сочтет необходимыми. Полякам было обещано «народное представительство», национальные государственные учреждения. Любопытно, что обязательство дать конституционное устройство Царству Польскому Александр принял на себя добровольно и даже настоял, чтобы аналогичное обязательство взяли на себя правительства Австрии и Пруссии, в состав которых также входили бывшие польские земли.

12 декабря 1815 г. Александр объявил о «восстановлении» Царства (королевства) Польского. В этот день была опубликована «Конституционная хартия», в ко-

торой российский император провозглашался наследственным польским королем, в его отсутствие страной управлял наместник. Россия и Царство Польское должны были вести единую внешнюю политику. Вопросы войны и мира решал император. Царство имело свою армию, костяк которой составили офицеры и солдаты польского корпуса, сражавшиеся под началом Наполеона вплоть до его отречения.

«Под секретом, Государь надеется к 15 сентября быть в Варшаве, чтобы короноваться. Очень нужно!» — пишет в июле 1817 г. Закревский Воронцову. На несколько месяцев эта тема становится едва ли не самой популярной. Воронцова, как и других современников, беспокоит слух о присоединении к Польше Волыни и Подолии. Закревский подтверждает существование слуха, но точного ответа дать не может. 10 августа он пишет о создании особого Литовского корпуса, включавшего и польские части, воевавшие совсем недавно с русскими, и заключает: «Я так сим взбешен, что не нахожу слов подробнее вам описать»¹.

«Бешенство» — вот слово, которое точнее всего передает эмоциональное состояние подавляющего большинства русских дворян по отношению к польским планам Александра I. Ревность его русских подданных к польским понятна, как понятна и тревога по поводу вооружения и содержания казной вчерашних врагов. Когда в этом же письме Закревский говорит, что один «бог знает, какой конец у этого будет через несколько лет», то он не единственный, кто демонстрирует завидную проницательность: во время польского восстания 1830—1831 гг. часть польских войск повернет оружие против России.

Популярность царя в это время резко падает, совсем как после Тильзита. Но эта сплоченность русского дворянства в неприятии польской программы Александра показывает, насколько причудлива порой бывает «партитура» общественного мнения. Закревский, как мы знаем, осуждает весь правительственный пакет грядущих преобразований, уравнивая при этом военные поселения, «вольность» крестьян и вооружение поляков. А буквально в эти же сентябрьские дни после того как члены «Союза спасения» получили известие о том, что Литва будет включена в состав Царства Польского, ими всерьез обсуждалась идея цареубийства. Едва ли будущие декабристы принадлежали к тем, кого уважал Закревский, уже потому хотя бы, что «вольность» была целью их жизни. И тем не менее в отвержении «полонофильства» царя, равно как и системы военных поселений, Закревский и те, к кому он «имел уважение», сходились с «молодыми якобинцами», как сходятся в одном вагоне люди, едущие в разные города.

В 1817, как и в 1811 г., «эхом русского народа», подразумевая под последним дворянство, явился голос Карамзина. Царь получил от него «Мнение русского гражданина». Еще в «Записке о древней и новой России» Карамзин категорично заявил: «Пусть говорят сколько угодно, что Россия незаконно «взяла Польшу» — мы взяли свое». В «Мнении...» этот тезис развивается. Если Екатерина II поступила незаконно, участвуя в разделах Польши, то Александр совершил бы еще большее беззаконие, вернув Польше отторгнутые от нее области, т. е. начав делить уже Россию. «Екатерина ответственна Богу, ответственна истории за свое дело; но оно сделано и для вас уже свято».

С обычной своей откровенностью Карамзин пишет: «Вас бы мы, русские, не извинили, если бы вы для их (поляков — *М.Д.*) рукоплескания ввергнули нас в отчаяние... Отвествую вам головою за сие неминуемое действие целого восстановления Польши... Мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю; остыли бы душою и к отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом». Да, — продолжает он, — и в этом случае возле царя остались бы приближенные, но эти министры и эти генералы думали бы не о пользе страны, а о собственной пользе, «как наемники, как истинные рабы». А царь, уверен Карамзин, «гнушается рабством и хочет дать нам свободу!»²

На «целое восстановление Польши» Александр не пошел. Однако в марте 1818 г. на открытии Сейма в Варшаве он произнес свою знаменитую речь, в которой польская конституция объявлялась прологом российских вольностей. Речь эта наделала много шума. Небольшая часть «общества», прежде всего декабристы (да и то не все), восприняла ее восторженно, хотя и не без обиды — почему в Польше раньше, чем в России? Подавляющая же часть дворянства расценила ее как объявление об освобождении крестьян, о чем, как уже говорилось, ходили слухи. Известное письмо Сперанского наглядно характеризует панические настроения пензенских помещиков. Не менее показателен и тот факт, что его бывший помощник Магницкий, ныне ловивший господствовавшие «веяния» с обычной истеричностью неофита из ренегатов, тут же наказал нескольких помещиков за жестокое обращение с крестьянами. Словом, растерянность, недовольство, пе-

рерастающее в раздражение — такова реакция русских дворян на варшавскую программу.

Тем интереснее узнать мнение наших героев; для полноты добавим краткие мнения П.М.Волконского и кн. А.С.Меншикова.

Волконский — Закревскому, 15 марта, Варшава: «Сегодня было открытие Сейма весьма великолепно и множество речей, хорошо говоренных»;

Меншиков — Закревскому, 16 марта, Варшава: «Вчера Государь открыл Сейм речью прекрасною, в которой обещает и России благо представительного правления»;

Закревский — Киселеву, 31 марта, Петербург: «Речь Государя, на Сейме говоренная, прекрасная, но последствия для России могут быть ужаснейшие, что из смысла оной легко усмотришь. Я не ожидал, чтобы он так скоро свои мысли по сему предмету объявил»;

Киселев — Закревскому, 11 апреля, Тирасполь: «Речь царя для поляков есть чудесная, и здешние возмечтали много о будущем своем блаженстве; но у нас толки будут разные. Удивление же твое насчет откровенности я весьма разделяю, но, к удивлению, нам, кажется, не привыкать»;

Ермолов — Закревскому, получено 11 мая: «Благодарю за прекрасную речь, говоренную новым царства Польского подданным. Счастливы поляки толиким о них попечением, и гордость, сродная надменному сему народу, питается тем, что они впоследствии должны служить нам примером»;

Воронцов — Закревскому, 4—16 июля, Мобеж: «Государь говорил великодушную и прекрасную речь в Варшаве...»³.

О, могучая дисциплина этикета!

Разве может быть речь Государя менее чем прекрасной?

Однако какой богатый спектр эмоций вмещают одни и те же слова! Кажется, будто именно из этих строк получилось известное рифмованное правило о написании непронизносимых согласных — «не чудесно и прекрасно, а ужасно и опасно...»

На основании одного предложения трудно судить о мнении Волконского, можно отметить, пожалуй, легкую иронию, которая, однако, неясно к чему относится. Либеральная репутация кн. А.С.Меншикова, в ту пору заметной фигуры в Главном штабе, позволяет предполагать, что он действительно считал представительное правление благом.

Сравнительно просто с Ермоловым и Закревским: здесь недвусмысленное осуждение, о чем подробнее — ниже.

В историографии есть мнение, что Киселев, называя речь царя «чудесной», был воодушевлен ею не меньше декабристов. В принципе так и должно бы быть, ведь всего несколько месяцев назад Павел Дмитриевич подал царю проект облегчения положения крепостных крестьян. Вместе с тем именно данный отрывок, на наш взгляд, написан достаточно сдержанно. Из текста явствует, что он считает ее чудесной не вообще, а «для поляков». Такая интерпретация вполне допустима. Это подтверждает мгновенная констатация того, что «здешние», т. е. поляки Юго-Запада, «много возмечтали о будущем своем блаженстве»; заметим, не самые доброжелательные слова. Осторожная фраза «у нас толки будут разные» хотя и далека от восторга, но, учитывая настроения Киселева в целом,

можно предположить, что он не хотел спорить по этому вопросу с Закревским, активным противником грядущих реформ. По крайней мере, весь этот фрагмент не дает оснований для выводов об особом водушевлении Киселева. Впрочем, делать окончательное заключение на основании лишь этих строк едва ли корректно, как и утверждать, что он принял речь царя с восторгом.

Весьма интересны слова Закревского о сюрпризе, который сделал Александр I, обнародовав свои взгляды, и не слишком оптимистичное заключение Киселева о привычке к сюрпризам, которую воспитывает царь у подданных. Они еще раз доказывают, насколько упрощенно, прямолинейно наше восприятие сложнейшей фигуры Александра, о котором в почти каждой книжке только и можно прочесть, что он был лжецом, лицемером, «надувал» всех вокруг, унаследовав это качество от «покойной бабушки». Либеральные настроения его в тот период Киселеву и Закревскому были известны лучше других: генерал- и флигель-адъютант императора могли черпать информацию не из столичных сплетен, а из первоисточника.

Наконец, мнение Воронцова определенно противоположно точке зрения Ермолова и Закревского. На наш взгляд, ключевое слово «великодушная» нужно понимать в двух смыслах. Во-первых — великодушные к побежденным полякам, за которым стоит понимание того, что история дала поводы обижаться друг на друга и русским, и полякам, и что, видимо, правильнее забыть об этом.

Для того, чтобы уяснить второй аспект этого определения, нужно обратиться к контексту, в котором оно прозвучало. Воронцов пишет, что вернувшись из Рос-

сии Казначеев, один из его ближайших сотрудников, рассказал, что его спрашивал некий епископ: «Правда ли, что весь корпус здесь (т. е. во Франции — *М.Д.*) совершенно избалован и испорчен?» Воронцов заключает: «Ежели такая слава идет в епархиях, то каково же должно быть при дворе и в мудрых наших дворянских собраниях, в коих как слышно, уверяют, что крестьяне их бушуют, потому что Государь говорил великодушную и прекрасную речь в Варшаве»⁴. Другими словами, те самые «мудрецы» при дворе и в провинции, которые считают его чуть ли не якобинцем, поскольку он посмел увидеть в солдате человека, а не «механизм, артикулом предусмотренный», критикуют царя, который посмел заговорить о том, что Россия должна, наконец, стать цивилизованной страной. Ибо, повторим, речь в Варшаве была воспринята как объявление о грядущем освобождении крестьян. И здесь между нашими героями единства уже нет. Чуть позже мы в этом убедимся.

О вреде модных мыслей

«Печатаемые ниже письма Алексея Петровича Ермолова попали к нам случайно. Они были занесены в Дагестанский музей неизвестным гражданином и уступлены за незначительную плату. Ничего определенного о происхождении их гражданин сообщить не мог, разве только, что сослался на Дербент, откуда он якобы вывез их».

В данном случае перед нами не очередная «рукопись, найденная в Сарагоссе», Дербенте, или чемодане Максим Максимыча, а весьма интересная источниковедческая загадка. «Неизвестный гражданин» принес в Махачкалинский музей 14 писем Ермолова, из которых 12 адресованы Закревскому, и по одному — императору и П.М.Волконскому. Весьма любопытно, что этих писем, датированных 1820 г.¹, нет в личном фонде Закревского, хранящемся в РГИА в Санкт-Петербурге и не было уже в тот момент, когда кн. Друцкой-Соколинский публиковал в 1890-х гг. переписку своего тестя. Разгадать эту тайну еще предстоит. А пока: да здравствуют неприязнительные «неизвестные граждане», приносящие в музеи такие документы, равно как и музейные сотрудники, не только понимающие важность последних, но и покупающие их! Ибо письма эти более чем интересны, и некоторые выде-

ляются даже на общем весьма высоком уровне эпистолярной культуры Алексея Петровича. Благодаря им мы знаем его реакцию на основные события бурного 1820 г.: возмущение Семеновского полка, революцию в Испании, восстание в Грузии и некоторые другие. К числу этих «других», несомненно, принадлежит план образования общества для освобождения крестьян (Н.М.Дружинин называет его «особым дворянским обществом для изыскания способов к уничтожению крепостного права»). Воронцов был одним из инициаторов его создания. Декабрист Н.И.Тургенев позднее писал: «Два человека, выдающихся как по своему почетному положению, так и по образованию, граф Воронцов и князь Меншиков, приняли однажды решение начать дело освобождения, и начать его серьезно. Я настаиваю именно на последнем, ибо в этих вопросах не редкость видеть так называемых филантропов, которые походя говорят беспрерывно об улучшении участи крепостных, о предоставлении им некоторых выгод, об ограничении власти господина, наконец, о пресечении злоупотреблений властью, которую имеет один человек как помещик над другим; все это фразы, которые свидетельствуют или о наивности, или о злой воле тех, кто их расточает... И вот почему те два лица... начали с того, что объявили, что их цель состоит в полном освобождении»². К Воронцову и Меншикову примкнули братья А.И. и Н.И.Тургеневы, кн. П.А.Вяземский, гр. С.С.Потоцкий и поначалу командир гвардии И.В.Васильчиков. Эти люди все вместе владели более чем 100 тыс. крепостных; только у Воронцова тогда их было 30 тыс., не считая приданого жены. Михаилу Семеновичу отводилась главная роль в представлении проекта императору.

Ядро планов заключалось в безвозмездной передаче крестьянам их усадеб с тем, чтобы об остальной земле они договаривались с помещиками, заключая добровольные договоры, вплоть до создания института наследственной аренды. Крестьяне могли в отличие от помещика отказаться от заключения контракта. Предполагалось установить и свободу переходов крестьян. Данный проект был одной из высших точек либерального движения в царствование Александра. Еще раз убеждаемся насколько история не вписывается в ту несложную схему, которая так долго господствовала в историографии: об освобождении крестьян думали не только декабристы, нередко не имевшие крепостных вовсе, а люди из числа самых богатых в стране.

Чтобы понять реакцию Александра I на этот проект, нужно вернуться к первым послевоенным месяцам. Стремление царя освободить крестьян в России неоспоримо. Однако он, как позднее Николай I и Александр II (до поры), не хотел принуждать дворянство и ждал его инициативы в этом вопросе. Поэтому знаменитые строки Пушкина о «рабстве, падшем по манию царя», неточны: с этим «манием», в отличие от других, было все в порядке. Поначалу казалось, что события развиваются в нужном императору направлении. Прибалтийские помещики выступили с ходатайством об освобождении своих крестьян без земли, которое было проведено в 1816—1819 гг. Бюрократическая элита была встревожена уже в 1816 г. Так, Н.М.Лонгинов писал в июне 1816 г. гр. С.Р.Воронцову: «Выражения в этом указе выдают мысли и желания (царя — М.Д.) касательно этого предмета. Слава Богу, что не вздумали напечатать его по-русски». Указ был напечатан по-эстонски. Интересно продолжение мысли Лонгинова: «Стоит рассмотреть положение Эстляндии, чтоб видеть, что дворяне там пожертвуют

немногим. Крестьянам в Эстляндии всегда будет мешать выселяться, с одной стороны, море, с другой, — и без того населенные губернии Империи, не считая выгод от портов и большой торговли, что будет их удерживать еще более, чтоб дать им пользоваться сбытом предметов своей промышленности. Большая часть русских губерний не имеют подобных поводов, и Бог весть, что с ними произойдет, если подобную меру захотят поощрять в остальной России»³.

Показательна осторожность правительства, которое не хотело будоражить русских крестьян, — это давало надежду, что и помещики внутренней России согласятся на освобождение, если будут выработаны приемлемые для них условия. Александр I предпринял попытки вызвать аналогичную инициативу у малороссийских помещиков, но успехом они не увенчались. На рубеже 1817—1818 гг. он дал поручение Аракчееву и министру финансов гр. Гурьеву составить план освобождения крестьян в России. С.В.Мироненко считает 1818—1819 гг. кульминацией стремления царя решить крестьянский вопрос. Дворянство же, как можно судить хотя бы по приведенным мыслям Закревского и Лонгинова, было весьма встревожено этими замыслами⁴. Как мы уже знаем, варшавская речь императора была воспринята однозначно большинством правящего класса. Впрочем, Лонгинов, как и Ермолов, оказался дальновиднее этого большинства: «не разбирая ее (речь — *М.Д.*), скажу только, что она произвела в обществе сильное впечатление. Нет ничего опаснее неопределенных слов, которые каждый истолковывает по-своему. Со временем эта тревога и опасения одних с надеждами и преувеличенными мечтами других могут иметь гибельные последствия. Слава Богу, пока все остается смутно и неопределенно»⁵. В свою очередь, и

царь был прекрасно осведомлен о настроениях подданных. И вот в этих-то условиях и возникло воронцовское общество.

К слову говоря, широко распространенное мнение о том, что проекты освобождения крестьян в то время отражали позицию дворян, которые перестраивали свое хозяйство на капиталистический лад вызывает сомнения. Спору нет, для людей, знающих политэкономии, могли иметь значение аргументы А.Смита о преимуществе вольного труда перед крепостным. В 1812 г. на конкурсе Вольного экономического общества победили работы, доказывавшие эту идею. Однако едва ли подобные теоретические соображения могли иметь решающее значение для тех, кто был хорошо знаком с сельским хозяйством. Слишком большой была разница в уровне хозяйствования даже между двумя соседними имениями, не говоря уже о том, что условия ведения хозяйства в разных регионах всегда были различными.

Полагаем, что для таких людей, как гр. М.С.Воронцов, как и для будущих декабристов, гораздо большее значение имели доводы моральные, нравственно-этические. В мае 1820 г. Н.И.Тургенев писал брату Сергею: «На сих днях я был у гр[афа] Воронцова, и он мне чрезвычайно понравился и потому уж, что **понимает и чувствует** вещи так, как должно... Он мог бы быть начинщиком улучшения участи крестьян. И теперь главная надежда на него. К тому же с ним одним можно говорить здесь об этом так, чтобы обе стороны понимали друг друга. Что касается других, то их надобно еще толковать и доказывать, что рабство несправедливо, и что крестьяне не могут вечно оставаться крепостными. А это толкование весьма трудно, часто даже остается без успеха»⁶ (выделено мной — М.Д.)

Всякий, кто знаком с дневниками и письмами Н.И.-Тургенева, хорошо знает, **чего** стоило получить от него такие комплименты! Каким должен был быть человек, о котором он мог так говорить! Александр I поначалу одобрил проект. Еще бы! Вот она, долгожданная инициатива великорусского дворянства! Однако вскоре царь переменял свое мнение. Современный исследователь полагает, что «очевидно, это произошло вследствие почти единодушной отрицательной реакции, которую вызвал в Петербурге слух о подписке в пользу освобождения крепостных крестьян»⁷. Царь сказал, что «здесь никакого общества и комитета не нужно, а каждый из желающих пускай представит отдельно свое мнение и свой проект министру внутренних дел, Тот рассмотрит его и, по возможности, даст ему надлежащий ход». Идея, таким образом, была похоронена. Так или иначе, на несколько месяцев Петербург был взбудоражен. Если братьев Тургеневых «свет» упрекал в том, что они ратуют за свободу крестьян из-за своей бедности, то Воронцова, по традиционному сценарию, — в желании приобрести дешевую популярность, стремлении удовлетворить свое честолюбие и т. п. Н.И.Тургенев писал брату С.И.Тургеневу: «Авось наши надежды не навсегда останутся в сем отношении одними надеждами!.. Но все доброе у нас так трудно в делах государственных! К тому же знатные люди, которые говорили прежде всего в пользу уничтожения рабства, увидев первый шаг к сему уничтожению, восстали против. Это доказывается отчасти и негодованием, которое все они оказывают теперь к графу В[оронцо]ву, осмелившемуся быть лучше и благороднее их»⁸.

В 1820 г., кажется, окончательно прояснилось отношение императора к Воронцову. Н.М.Лонгинов писал графу Семену Романовичу: «Государь не любит

графа Михаила и, как я полагаю, никогда не полюбит. Человек, выдающийся из общего уровня, никогда не был у него в милости, а особенно если этот человек с твердыми началами, неуязвимый никакими оскорблениями, любимец солдат и в уважении у общества. Можно подумать, право, что Государь начинает завидовать своему подданному, как только видит его достоинства... Крайний эгоизм, с его неизбежными спутниками в виде деспотизма и жестокости, судят не по одним действительным заслугам, но еще и по тому, приносятся ли они лицом, слепо боготворящим своего монарха и принижаящим себя перед ним. Подобные монархи пользуются словом «отечество» только тогда, когда им нужно обольстить или вызвать к себе доверие своих подданных. А в прочих случаях это слово режет им слух, возбуждает опасения, как призывный клич, возмущающихся против воли одного, если воля эта дурно направлена и ведет страну к гибели. Одно уже это слово «патриот» пугало; тогда как о началах (нравственных — *М.Д.*) мало заботятся, если только это люди преданные монархии. Вот почему такая любовь к людям ничтожным, особенно к податливым немцам или к другим иностранцам, которые сходят за людей порядочных, между тем как они достойны одного презрения. Очень естественно, что подобная шайка людей, без всякого достоинства, без дарований и большею частью совсем необразованных, никогда ни к чему не стремится за пределы возможного и довольствуется наилегчайшим. Мы видим неграмотных солдат, постигающих ремесло капрала; это настоящая модная мания, тем пригодная, что занимает собой великое число людей и не дает им ни времени, ни средств относиться участливо к делам, в которые не желают постороннего вмешательства. При-

бавить к этому каверзы общества и политики и получится картина так называемого военного двора, достойная Гогарта»⁹. Трудно найти более тонкую и одновременно уничтожающую характеристику императора и его Системы, да еще данную царедворцем!

О неприязни к нему Александра Воронцов догадывался давно. А вот позиция его друзей, прежде всего Закревского, который, по сути, присоединился к его хулителям, была, можно думать, неприятным сюрпризом.

С 1820 г., после возвращения Воронцова из Англии, куда он ездил после окончания своей миссии во Франции, начинается расхождение его с Закревским и, особенно, с Ермоловым. Почему так произошло, до конца неясно. Возмущение отношений с «братом Алексеем» наступило из-за «выпущенных в свет» по неосторожности Закревского некоторых язвительно-ревнивых отзывов Ермолова о Воронцове; возможно, Воронцов полагал, что и «Мазепа» (дружеское прозвище Закревского) их разделяет. Но, видимо, не будет ошибкой связать определенную переоценку Закревским личности Воронцова с участием последнего в упомянутом обществе. 31 мая 1820 г. Закревский в письме Киселеву бросил короткую фразу: «Его (Воронцова — М.Д.) слава во время пребывания здесь померкла; он переменялся и совсем не тот, что был; видно, польская нация его преобразовала»¹⁰. На фоне прежних дружеских уверений в любви до гроба эта фраза звучит с категоричностью прямо гильотинной. «Помрачению» славы Воронцова, несомненно, способствовало его желание изменить участь крестьянства, любопытно и показательно, что для Закревского налицо и виновница перемен в поведении прославленного русского генерала — польская жена!

Письмо Закревского Ермолову о приезде Воронцова в Петербург было, как можно судить по ответу Ермолова, достаточно скептическим. Не преминул уколоть Воронцова и Ермолов. О проекте же сказано ясно: «Мысль о свободе крестьян, смею сказать невпопад. Если она и по моде, но сообразить нужно, приличествуют ли обстоятельства и время. Подозрительно было бы суждение мое, если бы я был человек богатый, но я, хотя и ничего не теряю в таком случае, далек однако же, чтобы согласоваться с подобным намерением, и собою не умножил бы общества мудрых освободителей. Как вообразить, что нам все то приличествовать может, без чего другие существовать не в состоянии? Вред замыслов не состоит в самом предложении, но в примере, которому последовать могут многие неблаго-разумные люди единственно по доверенности к мнению известного и отличного человека... Не думает ли брат Михайло сделать себе бессмертное имя? Ему надобно остерегаться, что [бы] не оставить по себе памяти беспорядком и неустройствами, которые необходимо будут следствием несогласованного с обстоятельствами переворота. Небольшое счастье быть записану в еженедельное издание иностранного журнала»¹¹.

Причины бескорыстной неприязни Ермолова к освобождению крестьян ясны: у России свой путь («как вообразить, что нам все то приличествовать может», и т. д.), а «несогласованный с обстоятельствами» «переворот» приведет к новой Пугачевщине. Вместе с тем важность проблемы требует более подробного анализа. Поэтому нам придется вернуться назад, в 1817 г., к сюжету, казалось бы, далекому от российских реформ — к посольству Ермолова в Персию

Ермолов в Персии

В апреле 1816 г. Ермолов отправился в Персию. Цель посольства, как уже говорилось, состояла в установлении окончательной границы между Россией и Персией по Гюлистанскому миру 1813 г. Персия настаивала на уступке некоторых пограничных земель, и царь, всеми силами стремившийся сохранить мир, в общем был согласен на это. Во всяком случае персидский посол в Петербурге был уведомлен о том, что Ермолову дан приказ «во всем сколько возможно соответствовать желаниям шаха и сохранить дружелюбное его расположение». Эта туманная формулировка равно была пригодна и для того, чтобы санкционировать передачу спорных территорий, и для того, чтобы их не возвращать. Ермолов должен был сам решить это на месте, как и то, поедет ли он к шаху лично или отправит кого-нибудь другого. Ермолов, во-первых, категорически отказался уступить хотя бы аршин завоеванных земель, во-вторых, отправился в Персию лично, не столько от честолюбивого, сколько от самолюбивого любопытства.

Свою задачу он сформулировал так: «Главнейший предмет дел моих был тот, чтобы удержать за нами области присоединенные, которых сильно домогалась

Персия. Отказ сам по себе уже неприятен, а нам надобно было не только сохранить, но и утвердить связи дружества». С этой задачей Ермолов справился блестяще, о чем в столь же блестящей форме рассказал в «Записке о посольстве в Персию». К сожалению, «Записка» нас сейчас интересует прежде всего как один из немногих документов, позволяющих судить об общественно-политических взглядах Ермолова.

Еще в Петербурге, сообщая Воронцову, что назначение послом и самому ему «в голову не вмещается», Ермолов говорил, что это «настоящая фарса или бы послали человека к сему роду дел приобыкшего»¹. Однако после возвращения он назвал свое посольство «фарсой» уже в другом смысле. Это действительно был спектакль, точнее как бы дипломатический водевиль, написанный для бенефиса Ермолова, причем он был не только автором, но и режиссером, и «примадонной», с правом импровизации по ходу действия.*

* Вот как он описывает Закревскому свой дипломатический стиль: «Происходило так, что я объявил министрам персидским, что если малейшую увижу я холодность или намерение прервать дружбу, то я для достоинства России не потерплю, чтобы они первые объявили войну, тотчас потребую (границ) по Араксу и назначу день, когда приду в Тавриз. Угрюмая рожа моя всегда хорошо изображала чувства мои, и когда говорил я о войне, то она принимала на себя выражение чувств человека, готового хватить зубами за горло. К несчастью их заметил я, что они того не любят, и тогда всякий раз, когда не доставало мне убедительных доказательств, то я действовал зверскою рожею, огромною моею фигурою, которая производила ужасное действие, и широким горлом, так что они убеждались, что не может человек так сильно кричать, не имея справедливых и основательных причин... Шах... был приурочен видеть во мне ужаснейшего человека и самого злонамеренного. Как удивился шах, когда с первого шагу начал я ему отпускать такую лесть, что он не слыхивал в жизни, и все придворные льстецы остались назади. Чем болес я льстил и чем глупее, тем более нравилось, и я снискивал его

Дипломатические методы Ермолова (трудно решить, какое из двух первых слов нужно поставить в кавычки) вполне характеризует и упоминавшееся уже обсуждение в «служебных целях» родства с Чингисханом, и категорический отказ исполнить принятый при персидском дворе церемониал, который он считал унижительным для русского посла, и отказ признать наследником третьего сына шаха Аббаса-Мирзу, несмотря на то, что инструкция МИД разрешала ему сделать это (Ермолов поддерживал претензии старшего сына шаха, считая, что для России полезны распри в шахской семье). Наконец, он велел высечь плетью полковника гвардии Аббаса-Мирзы, француза по национальности, посмеявшегося ударить саблей плашмя посольского музыканта. Все это не противоречит тому, что когда было необходимо, Ермолов, по собственному выражению, «глупо» льстил, и не только шаху, но и отдельным вельможам. Вообще же ермоловское посольство больше похоже на инспекцию какого-нибудь присутственного места в Тифлисе или Кутаисе, чем на дипломатию Нового времени. И здесь был очень точный расчет, а не прихоть «пламенного характера», так часто определявшего его поступки. Исходную ситуа-

доверенность... Не было разговора обо мне, чтобы он не распространился в чрезвычайных на счет мой похвалах, поручая вельможам своим, чтобы они оказывали мне возможное внимание. Он даже один раз сказал, что как я имел счастье быть удостоен доверенности Императора, то и он уполномочивает меня с своей стороны все то делать, что может служить к утверждению согласия... Можешь представить, что значат подобные слова в устах деспота, произнесенные рабам! Я после сего вельможами уважаем был, как будто сам из первейших членов государства. Иногда я сам поступал с ними, как с невольниками, и если бы нужно было для пользы дел моих потребовать чей-нибудь нос или уши, то едва ли бы сделали в том затруднение...» (РИО, т. 73, с. 243, 246, 247).

цию Ермолов описывает так: «Отправляюсь в такую землю, о которой ни малейшего понятия не имею; получаю инструкцию, против которой должен поступать с самого первого шагу, ибо она основана на том же самом незнании о земле. В ней поручено мне поступать по общепринятой ныне филантропической системе, которая совсем здесь не приличествует и всякая мера кроткая и снисходительная принимается за слабость и робость. Еду ко двору, известному нестерпимую гордостью и надменностью, и что везу с собою? Отказ на возвращение областей, которое шах ожидает четыре года... Ко всему тому шах и министерство уверены, что посольство не может быть отправлено с другим намерением, как искать высокого его дружества и с покорностью поднести требуемые провинции»² (выделено мной — М.Д.). В подчеркнутых словах — ключ к пониманию политики Ермолова на Востоке вообще, политики, споры вокруг которой не стихают уже полтора века.

Характерно, что самым серьезным противником Ермолова при этом был официальный Петербург, прежде всего Нессельроде, требовавший, чтобы он управлял Кавказом и вел дипломатические сношения с Персией на основании «правил благочестия и библейских истин», по определению Ермолова. Сам же он считал, что дипломатия на Востоке не может вестись так, как в Европе. Именно поэтому он действовал не по инструкции и сразу же добился бесспорного успеха.

В «Записке о посольстве» Ермолов специально не мотивирует свое не слишком обычное для дипломата поведение; как бы подразумевается, что он «пришел, увидел, победил». Посольство изображается как активное столкновение двух образов, двух моделей жизни —

русской и персидской, в основе которых лежат различные государственные системы. Различие государственного строя обеих стран порождает различие обычаев и нравов, ибо Ермолов твердо убежден в том, что общественная система жестко детерминирует людей. Этот тезис, один из главных в социологии французского Просвещения, был, как известно, подробно рассмотрен Монтескье в его «Персидских письмах». Ассоциация с этим произведением и ермоловской «Запиской» возникает буквально с первых же страниц и вызвана она не только эвфонией — «Персия» — «персидские».

И в «Записке», и в «Персидских письмах» стержневым идеологическим конфликтом является сопоставление двух систем — европейской монархии и восточной деспотии. Согласно Монтескье, у каждой из трех выделяемых им форм правления есть свой организующий принцип. Так, принцип деспотии — произвол владыки, его тирания, не признающая другого закона, кроме собственных прихотей. Все подданные поэтому являются рабами деспота, вельможи и крестьяне уравниваются страхом и полной незащищенностью перед этим произволом. Страх пронизывает все сферы жизни деспотии, которая только этим и держится. С произволом деспота неразрывно связано бесправие подданных, личность и собственность которых не ограждаются законами. Поскольку отсутствует дворянство, то нет и понятия о чести, о славе, как личной, так и государственной. В деспотии все, включая самого владыку, не могут быть уверены в будущем, ибо не только подданные трепещут перед тираном, но и он сам всегда может пасть жертвой ответного произвола с их стороны.

Организирующий принцип монархии — честь, под которой понимается, как уже говорилось, «стремление к почестям при сохранении независимости» от власти. Носителем этого принципа является дворянство. Если нет дворян, то нет и монарха, а есть деспот. Честь — побудительный стимул, ведущий дворянство по дороге службы своей стране и вообще определяющий его жизнедеятельность. В монархии отсутствует неограниченная власть, какой обладает деспот, ибо, в отличие от деспотии, в монархии существуют законы, охраняющие достоинство и собственность подданных. Различие между монархом и деспотом состоит, используя известное определение, в том, что монарх может по своей воле изменить законы, но до тех пор, пока он этого не сделал, он обязан подчиняться существующим.

«Записка о посольстве» иногда кажется своего рода лабораторной работой на тему «Персия как образец восточной деспотии по Монтескье». Отдельные «технические параметры» деспотии представлены на ее страницах с разной степенью подробности, но очень мало можно встретить не только главных положений, но даже сюжетных ситуаций, для которых нельзя было бы найти аналогий в «Персидских письмах».

В самом начале путешествия Ермолов познакомился с нахичеванским ханом, которого когда-то ослепил жестокий Ага-Мегмед-хан, тот самый, который в 1795 г. превратил Тифлис в руины. Впечатления Ермолова от этой встречи как бы задают направление идейного конфликта «Записки»: «Хан... человек отлично вежливый и весьма веселый, тронут был особенным уважением, оказанным мною к несчастному его состоянию... Вырвалась горькая жалоба на жестокость

тирана. Не всегда состояние рабства заглушает чувство оскорбления, и, если строги судьбы определения, благодетельная природа дает в отраду многим надежду отмищения. Но сей несчастный, уже в летах, клонящийся к старости, лишенный зрения, двадцать лет отлученный от приверженных к нему подвластных, не может и сего иметь утешения... Какие новые чувства испытывает при подобной встрече человек, живущий под кротким правлением! Здесь между врагами свободы надобно научиться боготворить ее. Здесь с ужасом видишь предержавших власть, не познающих пределов оной в отношении к подданным, с сожалением смотришь на подданных, не чувствующих достоинства человека. Благословляю стократ участь любезного отечества, и ничто не изгладит в сердце моем презрения, которое почувствовал я к персидскому правительству. Странно смотрели на мое соболезнование провожавшие меня персияне: рабы сии из подобострастия готовы почитать глаза излишеством»³.

Ермолов, во-первых, «россиянин», т. е. представитель «первого в мире народа» и, во-вторых, представитель страны с «кротким правлением» и поэтому не может исповедовать «филантропическую систему» в отношении «презренного» правительства.

Персы выступают же как совершенно обезличенная масса; иногда как бы по недоразумению некоторые из них имеют имена. Ермоловская типология персов может называться нерасчлененной в том смысле, что люди, которых он описывает, обладают определенным, раз и навсегда заданным набором качеств. Ермолов уравнивает отдельную личность и персидский национальный характер вообще: личность — не компонент его, не часть, а такое же полноправное и представи-

тельное целое, как и само целое. Каждый перс по сути равен персидскому национальному характеру, он лишен индивидуальности. Характеристики персов даются в терминах идентичных текстуально или по смыслу. И здесь сказывается не столько присущее иностранцу стремление обобщить увиденное, сколько прямая установка, вытекающая из мысли Монтескье о том, что деспотия нивелирует человеческую индивидуальность, препятствует раскрытию способностей людей, ибо раз нет понятия о чести, то нет и стимула к состязанию талантов. Ермолов прекрасно справляется с задачей «монотонного» изображения персов. В »Записке» немного индивидуальных характеристик, но это отчасти компенсируется социальной значимостью персонажей (шах, наследник престола, три первых министра, сардар Эривани) и тем, что их портреты представляют, по существу, описание градаций одного и того же явления. Самая безобидная в сравнении с другими характеристика — великого визиря Персии Садр-Азама такова: «В злодейском правлении Аги-Магмет-Шаха неоднократно подвергался он казни, и в школе его изучился видеть и делать беззаконие равнодушно. Он сам изобличен был в намерении отравить одного министра, коего завидовал он дарованиям и доверенности, приобретенной им у шаха... Богат чрезвычайно, скуп еще более и всеми средствами приумножает свое имущество», «потеряв сыновей, в отчаянии, что не имеет, кому передать в наследство благородные свои свойства». Визиря подкупали, как впрочем, и остальных министров и сановников, и французы, и англичане. Ермолов по этому поводу замечает: «Старик в 80 лет честь свою боялся унести в гроб и пред смертью в ней сторговался»⁴.

Среднестатистический «персиянин» в восприятии Ермолова обязательно наделен непомерной гордостью без малейших на то оснований, высокомерием, хитростью, алчностью, жестокостью и сладострастием, и притом всегда остается рабом. Ермолов не находит у персов, с которыми встречается, ни одного положительного качества и поэтому выглядит в «Записке» как фараон на древнеегипетской стеле, окруженный толпами рабов и пленных: все персонажи едва достают ему до колена. «Вельможи сии по множеству жен имеют толпы детей, которые по большей части наследуют их добродетели. Персия долгое время может гордиться постоянством своих нравов», — таково его мнение об элите этой страны. Выше уже приводились уничтожающие характеристики персидских придворных, которые, впрочем, в такой же степени относятся и к их русским «коллегам».

А вот собственно о народе Персии Ермолов говорит совсем с другой интонацией, хотя вспоминает о нем значительно реже, чем о его властелинах. Ермолов высоко оценивает восприимчивость, прекрасную физическую закалку, выносливость, пылкий характер народа. Бедственное состояние, в котором находится простой народ, не может не вызвать у него сочувствия, ибо длинная цепь «начальствующих» только тем и занимается, что отнимает у него последние крохи: «Из замка видны четыре небольшие деревни бедные, потому что у самой большой дороги. Здесь довольно сей причины, чтобы поселянам быть в совершенной нищете, ибо из посылаемых от правительства чиновников редко который не снабжается законным правом требовать от них всего безденежно. Так с многочисленную свитою проезжающий вельможа истребляет в один день запасы

нескольких месяцев. Проходят военные, состояние их заставляет завидовать состоянию беднейшего из поселян, и его имуществом распоряжаются как собственностью»⁵.

В «Записке» есть и другие места, делающие Ермолова чуть-чуть похожим на Радищева, совершающего путешествие из Тифлиса в Тавриз и далее, причем, как всегда бывает у Алексея Петровича, ирония незаметно переходит в самый настоящий пафос (сразу понимаешь, почему именно ему император поручил писать манифест о вступлении русской армии в Париж в 1814 г.). Так, описывая ставший нормой жизни Персии грабеж простолюдинов, он говорит: «Вельможи... людей низкого состояния приучают к презрению богатства, и так до самого простого народа, которому если и остается кусок железа, и тот безжалостная судьба исковывает в цепи рабства, и редко в острый меч на отмщение угнетения». В другом месте, сообщая, что английские офицеры-инструкторы, нимало не смущаясь присутствием русских, избивали в строю персидских солдат, саркастически замечает, что «сею полезною операциею англичане внушают персиянам понятия о чести, и хотя последние досадуют на то, но утешены тем, что в свою очередь передают удары свои подчиненным. Одни нижние чины остаются без удовлетворения, но справедливая судьба может и им представить благоприятный случай, и ручаться нельзя, чтобы когда-нибудь английские экзерцирмейстеры не расплатились за кулачные удары»⁶.

Тема права поработенных на месть угнетателям пунктиром проходит по тексту «Записки». Откровенная ненависть Ермолова к деспотизму не дает оснований сомневаться в том, что ему хотелось бы в данном случае

видеть теорию естественного права переведенной на язык практических действий. «Тебе, Персия, не дерзаящая расторгнуть оковы поноснейшего рабства, которые налагает ненасытимая власть, никаких пределов не признающая; где подлые народа свойства уничижают достоинства человека и отъемлют познание прав его; где нет законов, преграждающих своеволие и насилие; где обязанности каждого истолковываются раболепным угождением властителю, где самая вера научает злодеяниям, и дела добрые не получают возмездия; тебе посвящаю я ненависть мою и, отягчая проклятием, прорицаю падение твое!» — таково заключение «Записки»⁷. Кажется, еще немного и Ермолов примет на себя роль «справедливой судьбы» и отомстит за слезы страждущих; он, по всей видимости, и не против, но только в роли главнокомандующего русской армией.

Здесь возникает важный вопрос. Известно, что «Персидские письма» были прежде всего письмами о Франции, а не о Персии, которая занимала автора много меньше. Естественно спросить, насколько «Записка о посольстве в Персию» может считаться «Русскими письмами»? Ибо несмотря на многочисленные радостные уверения в том, что чудесно быть жителем страны с «кротким правлением», в ермоловском тексте есть немало прямых аналогий с тогдашней Россией, как мы ее себе представляем в начале XXI в. Причем, эти аналогии не слишком завуалированные. Речь идет не только об описании придворных, вельмож. Взять хотя бы кулачные расправы с солдатами во время «экзерциции», бедственное положение «поселян», беззащитных перед произволом власть имущих, роскошь верхов и нищету простого народа. Разве все это Ермолов мог видеть только в Персии? При желании «Записку» нетруд-

но рассматривать как образцовое в смысле использования «неконтролируемого подтекста» произведение, когда чуть ли не каждое слово или мысль непременно имеют двойной, потаенный смысл. Ермолов, например, пишет о персидском деспотизме, а сам-то метит в российский, переживает из-за поработенных женщин Востока (кто же из европейцев мог пройти мимо такого знака «роскоши восточной», как гаремы!) а думает о русских крепостных «харемах», критикует англичан за избиение солдат-персов, а сам имеет в виду соотечественников-аракчеевцев и т. д. Рассуждения такого рода часто просто неотразимы, опровергнуть их бывает трудно. Тем более, что в ряде случаев они верно отражают ситуацию подцензурного мышления целого народа.

Но имеет ли это место в данном случае? Можно ли считать, что и русские крестьяне и солдаты, по мнению Ермолова, имеют право на «острый меч на отмщение угнетения»? Если так, то важность данного заключения трудно преувеличить. Мы, однако, сейчас воздержимся от окончательных выводов. Заметим лишь, что «Записка», сразу же начавшая распространяться в списках, без сомнения должна была укрепить либеральную репутацию Ермолова. О том, что его «персидский журнал» оценивался как произведение достаточно радикальное говорит, в частности, письмо А.Я.Булгакова брату (1818), в котором он сожалеет, что «Записку» «нельзя напечатать ради многих вольных суждений».

Действительно, если бы мы не знали имени автора, можно бы было искать его в кругу декабристов, посчитать «Записку» очередным малоизвестным памятником русской освободительной мысли этого периода и т. п. Автор — убежденный противник рабства

и деспотизма, человек, сострадающий угнетенным, и притом активно.

Тем неожиданнее на фоне эпического обличения тирании выглядит его письмо Закревскому по поводу варшавской речи Александра в 1818 г. Вот что писал Ермолов: «Я думаю, судьба не доведет нас до унижения иметь поляков за образец и все останется при одних обещаниях всеобъемлющей перемены... У нас народ удобен рассуждать исключительно в свою пользу, которую весьма понимает, и по малому еще образованию не допускает совместность польз другого состояния людей, а потому власть дворянства есть необходимая сила для удержания равновесия, и выгода правителя состоит в точном определении сей силы, ибо чрезмерность с той или другой стороны лишает его власти, ему приличествующей, и, которая по свойству народа, по обширности земли, по многосложному составу разнообразных частей, необходима в той степени, которая для всякого другого народа была бы излишним и тягостным.

Напрасно думают, что дворянство в России много потеряет от перемены: оно сыщет способ извлечь пользу из своего положения по мере той надобности, которую имеет простой народ, не в состоянии будучи найти в себе самом все способы заменить его по непросвещению своему, а потеряют одни правители, лишась дворянства яко подпоры, ибо оное, соединяя близко свои выгоды с народом, найдет пользу быть с его стороны, и в руках правителя останется одна власть истребления, то есть силою оружия заставлять покорствовать народ своей воле, когда законы запрещают раболепствовать пред нею! Вот мои мысли, и я очень верю, что при жизни моей не последует никакой пере-

мены, то есть Государь при жизни своей оной не пожелает»⁸.

Итак, Ермолов категорически против возможных преобразований. Под ними он понимает и уменьшение самовластия царя в том или ином виде, и освобождение крестьян (что же другое может разорвать узы, связывающие помещиков и царя?). Почему? Нарисованная им картина «равновесия сословий», осью которой выступает неограниченное самодержавие, не допускает ни малейших изменений. Другими словами, «самодержавие — палладиум России». Власть дворян над крестьянами, по Ермолову, — социальный симбиоз. Нарушение статус-кво повредит не только царю, не только помещикам, но и крестьянам, которые «по малому еще образованию не допускают совместность польз другого состояния людей», т.е. не понимают, что крепостничество полезно и для них. В основе такой позиции Ермолова — убеждение в самобытности исторического пути России.

Взгляды Ермолова несут явный отпечаток просвещенческой теории «равновесия сословий», «классового мира» как основного условия нормального функционирования государства, притом, что главной задачей верховной власти является поддержание равновесия между сословиями.* Во взгляде на дворянство как «необходимую силу для удержания равновесия» — отзвук концепции дворянства Монтескье, считавшего,

* «Государство счастливо, а его государь силен лишь, когда все сословия в государстве помогают друг другу. Ради столь благотворного результата руководители политического общества должны быть заинтересованы в поддержании справедливого равновесия между разными классами граждан и препятствовать посягательству одного из них на права других. Любая слишком большая власть наносит

что дворяне — необходимые посредники между монархом и народом и что дворянство сдерживает перерождение монархии в деспотию.** (См. нарисованную Ермоловым картину будущей борьбы между населением страны и монархом, ставшим деспотом, ибо он силой будет заставлять раболепствовать перед собой граждан.)

Особенность России в данном случае заключается в том, что специфика ее исторического развития потребовала очень сильной центральной власти, причем настолько сильной, что любому другому народу она была «излишней и тягостной». Заметим, что несмотря на это, Ермолов действительно считал Россию монархией, а не деспотией: «Законы запрещают раболепствовать» перед Властью. И значит, в этой части «Записки о посольстве в Персию» он искренен.

Особый, самобытный путь развития России, неграмотный народ, который, естественно, нуждается в образовании больше, чем в свободе. В целом же заочный спор его с царем в 1818 г. и с Воронцовым в 1820 г. перекликается с знаменитым заочным же спором Карамзина и Сперанского накануне 1812 г. Понятно, что эту аналогию можно оспорить: слишком разнятся

ущерб безопасности и благополучию всех. Страсти людей все время сталкивают их между собой, и такие конфликты... вредят государству, если верховная власть пренебрегает поддержанием равновесия, мешающего одной силе увлечь за собой все другие» («История» в «Энциклопедии Дидро и д'Аламбера», Л., 1978. С.101)

** При монархии «власть дворянства является наиболее естественной промежуточной и подчиненной властью. Отмените его права и вы тотчас получите либо народное государство, либо деспотическое... Необходимо, чтобы законы монархии поддерживали дворянство... не для того, чтобы ставить преграду между властью государя и слабостью народа, но с целью их связи». (Там же. С. 215.)

«субъекты» сопоставления. Тем не менее, именно в силу типичности взглядов Ермолова и Закревского (а то, что они единомышленники, не подлежит сомнению), такое сравнение допустимо. Это будет понятно чуть позже.

Нужны ли России реформы?

Икра...долго не высохнет, если вы в банку с икрой сверху нальете тонкий слой растительного масла и плотно закупорите ее.

*Книга о вкусной и здоровой
пище. 1954 г.*

При ответе на этот вопрос очень важную роль играла и будет играть проблема самобытности исторического развития России. Мы не имеем возможности хоть сколько-нибудь подробно проследить генезис этой идеи и, отсылая читателя к соответствующей необозримой литературе¹, ограничимся краткими замечаниями.

Как известно, в начале XVIII в. отношение России к Западу во многом пересматривалось. Усвоение опыта Европы было признано важной насущной задачей, впервые признавалась культурная и технико-экономическая отсталость России. Концепция «Москва — третий Рим» была как будто навсегда забыта. Акцентировалось сходство России и Запада, общие черты в их судьбах, в характерах русских и европейцев².

Эта линия в историографии развивалась и во второй половине XVIII в., причем весьма активно; немалую роль здесь сыграла необходимость защитить национальное достоинство России и русских от нападок со стороны некоторых западных писателей.

Особую остроту в связи с этим приобрел вопрос о типе российского государства. Монтескье безогово-

рочно относил Россию к деспотическим странам и был в этом не одинок. Конечно, большинство русских дворян и не подозревало о существовании Монтескье, но дворянскую интеллигенцию гораздо больше устраивала, например, позиция Вольтера, который даже Турцию не считал за деспотию, не говоря уж о России. Самодержавие, отличие которого от идеальной западной монархии было очевидно для всех, еще со времен Татищева рассматривалось как вызванная особенностями России, в первую очередь ее огромной территорией, — форма монархии, но никоим образом не деспотии. В частности, Екатерина II писала: «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнениях». Напомним, что и Монтескье полагал, что чем больше территория страны, тем сильнее должна быть власть правительства; республика — подходящая форма государства для небольших стран.

С воцарением Екатерины II, усиленно добивавшейся признания себя просвещенной государыней, а следовательно, и России — монархией, в этом смысле на философско-дипломатическом «фронте» были достигнуты определенные успехи. Это вполне устраивало большинство тех дворян, для которых тот факт, что Россия не есть деспотия, был важным компонентом хорошего политического «самочувствия». В их глазах данный тезис нисколько не противоречил идее самобытности России. Вот знаменитые слова Болтина: «О России судить, применяясь к другим государствам, есть то же, что сшить на рослого человека платье по мерке, снятой с карлы. Государства европейские во многих чертах довольно сходны между собою; знав-

ши о половине Европы, можно судить о другой, применяясь к первой, и ошибки во всеобщих чертах будет немного; но о России судить таким образом не можно, понеже она ни в чем на них не похожа, а особливо в рассуждении физических местоположений ее пределов»³.

Особое значение в связи с этим приобрело крепостничество. Для европейцев крепостное право было одним из решающих аргументов в пользу отнесения России к деспотиям. Для отечественной историографии реальным оказался лишь один способ защиты: крепостничество наряду с самодержавием было объявлено национальным достоянием (в котором иностранцы в силу незнакомства с русской спецификой понять ничего не могли), оно было включено в общую социологическую схему и, по их мнению, не препятствовало классификации России как монархии. В определенном смысле оно становилось таким же «палладиумом России», как само самодержавие, второе оказывалось невозможным без первого.

Дворянской интеллигенцией была прочно усвоена среди прочих мысль Монтескье, сформулированная в «Наказе» Екатерины II так: «Законоположения должно применять к народному умствованию». Правительство официально заявило, что законы должны соответствовать исторически сложившимся нравам народа, и это соответствие необходимо соблюдать на каждом этапе развития не только России, но и любой страны вообще (заметим, что идея по форме вполне либеральная). Отсюда, естественно, вытекала необходимость подготовки умов к изменению законодательства, своеобразной расчистки почвы для такой перемены. Главную роль в этом процессе должны были

играть добрые примеры, воспитание, — словом, постепенная и довольно продолжительная подготовка. Через призму этой идеи оценивались все возможные преобразования в стране и до, и тем более после революции во Франции.

Великая французская революция и весь последующий ход истории Европы изменили ракурс рассмотрения проблемы «Россия и Запад». Показателен путь, проделанный Карамзиным от «Писем русского путешественника», где он писал, что «путь образования или просвещения один для народов; все они идут им вслед друг за другом. Иностранцы были умнее русских: итак, надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано?.. Какой народ не перенимал от другого? И не должно ли сравниться, чтобы превзойти?»⁴, до «Записки о древней и новой России», в которой Россия противопоставляется Западу. Причин тому было несколько, не время их сейчас разбирать, но очевидно, что среди них важное место занимало осмысление опыта Франции, который воспринимался, бесспорно, отрицательно, и поражения от Наполеона в 1805—1807 гг.

Крайне важно, что это не только не поколебало, но даже укрепило мысль о России как о стране европейской и о самодержавии как особой форме монархии. Данное мнение было весьма популярно и после 1812 г. Показателен в этом смысле спор Ермолова с Аббас-Мирзой. Наследник уверял Ермолова, что если бы жители спорных территорий сами решали, кому повиноваться, то избрали бы, несомненно, Персию, ибо российский «образ правления... не сходствует с нравами их и их ожесточает». Ермолов в ответ тезисно изложил теорию Монтескье: «Жалею, Ваше Высоче-

ство, что сообщено вам ложное понятие о русском правлении... Не позволяю себе осуждать персидское правительство, но думаю, что и нашему нельзя отнести в порок то, например, что никто не может лишиться другого чести, ибо законы связуют своеволие каждого, тогда как вы и честь отъемлете, и жизни лишаете по произволу. У нас собственность каждого ограждена и никто коснуться ее не смеет, буде законы не допускают. У вас нет собственности, ибо имущество каждого принадлежит вам, лишь бы на то была воля ваша, хотя бы, впрочем, неосновательная и пристрастная. У нас нельзя тронуть волоса. У вас избавляется один сильный, которого оскорбить опасно. Я не думаю, что неограниченное самовластие могло быть привлекательным, и не слыхал, чтобы оно было залогом выгод народа»⁵.

Но так думали не все. И когда Сперанский заявил, что Россия вовсе не монархия, а самая обыкновенная деспотия, то у него был, по крайней мере, один благодарный слушатель — Александр I. По поводу идей, высказанных Ермоловым, он еще в 1802 г. писал: «Ни в каком государстве политические слова не противоречат столько вещам, как в России... Чего у нас... недостает в самом внутреннем образе правления? Сенат не назван ли хранилищем законов? Дворянство не есть ли урожденный их страж? Нет ли свободных состояний? Купечество, мещанство и самые поселяне казенные не имеют ли своих прав и преимуществ, не судятся ли своим судом и проч. и проч.?

Вот заблуждение, в которое впадают ежечасно наши площадные политики, когда позволяют себе умствовать о России.

У нас все есть по наружности и ничто не имеет существенного основания. Если монархическое правле-

ние должно быть нечто более, нежели призрак свободы, то, конечно, мы не в монархическом еще правлении...

Что такое есть дворянство, когда лицо его, имение, честь все зависит не от закона, но от единой воли самодержавной; не от сей воли зависит и сам закон, который она созидает, одна сама с собою? Не может ли она возводить и низводить дворянские роды единым своим хотением? Не она ли созидает суды, определяет высших судей... Не в ней ли весь источник чести и уважения; не ей ли принадлежат по самым словам закона все государственные богатства, все земли, все имущества и право частных собственности; не есть ли право его только дозволенное; владельцы сии не суть ли ее наемники?»

Сперанский считал, что в стране существует только два сословия — «рабы государевы и рабы помещичьи», т. е. дворяне и крестьяне, что «первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов», что собственность и личность в реальной жизни не ограждены от произвола представителей власти всех уровней, что законности в России нет и в помине, и делал совершенно правильный вывод: все это чревато ужасными последствиями для престола, народа и страны в целом.

Историческое введение к проекту Сперанского достаточно кратко и может поначалу впечатлить куда меньше, чем таковое же у его оппонента Карамзина. Это и понятно. У первого главный аргумент — сухая логика всемирной истории, у второго — блестящий пафос пристрастного профессионала. Сперанский, полагая, что в России европейского все же больше, чем

азиатского, уверен, что общее движение от рабства к свободе, которое уже произошло в Англии, Швейцарии, Соединенных Штатах, Франции, Голландии и в других странах Европы, движение, закономерность которого не вызывает у него сомнения, **неминуемо** дойдет до России. В этом движении, продолжает Сперанский, «время и состояние гражданского образования были главным действующим началом. Тщетно власть державная силилась удержать его напряжение; сопротивление ее воспалило только страсти, произвело волнения, но не остановило перелома. Сколько бедствий, сколько крови можно было бы сберечь, если бы правители держав, точнее наблюдая движение общественного духа, сообразовались ему в началах политических систем и не народ приспособляли к правлению, но правление к состоянию народа. (Какое, впрочем, противоречие: желать наук, коммерции и промышленности и не допускать самых естественных их последствий; желать, чтобы разум был свободен, а воля в цепях... нет в истории примера, чтобы народ просвещенный и коммерческий мог долго в рабстве оставаться)»⁶.

Сперанский убежден, что Россия готова к преобразованиям, разумеется, постепенным, осторожным, но все-таки ведущим туда, куда идут все народы. Более того, она находится, считает Сперанский, в положении весьма выгодном в сравнении с другими странами, ибо может воспользоваться их опытом, не повторять тех ошибок, которые привели, в частности, на эшафот не одного монарха, ибо «российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей, но благодетельному вдохновению верховной власти»⁷. России нужны перемены, никакие полумеры тут не помогут: «Все исправления частные, все, так сказать, при-

стройки к настоящей системе были бы весьма непрочны. Пусть составят какое угодно министерство, распорядят иначе части, усилят и просветят полицейские и финансовые установления, пусть издадут даже гражданские законы: все сии введения, быв основаны единственно на личных качествах исполнителей, ни силы, ни твердости иметь не могут»⁸. Какие глубокие, какие верные слова, и как современно они звучат! Увы, их актуальность для того времени была совсем не так очевидна.

«Отвечал» Сперанскому Карамзин.

Он не только не пытался оспаривать его мысли о самодержавии, об отсутствии твердых законов в стране, о рабстве крестьян, о несовершенстве системы управления, но и объявил часть из них не пороком, а достоинством «порядка вещей», а другие — крепостничество, например, если и недостатком, то терпимым и, более того, необходимым для сохранения статус-кво.

Что стоит за знаменитыми словами «самодержавие — палладиум России», т. е. то, без чего она не может существовать? Его опыт историка, показывающий, что абсолютизм реже превращается в тиранию, чем другие государственные системы. В «Историческом похвальном слове Екатерине» он писал: «Что же другое представляет нам история республик? Видим ли на сем бурном море хоть единый мирный и счастливый остров? Мое сердце не менее других воспламеняется добродетелью великих республиканцев; но сколь кратковременны блестящие эпохи ее? Сколь часто именем свободы пользовалось тиранство и великодушных друзей ее заключало?»⁹ А разве не о том же говорила новейшая история Европы?

Касаясь России, Карамзин повторял старый тезис о том, что такая страна может управляться только самодержавным монархом. Как иначе может сохраниться ее целостность, и как может поддерживаться порядок в ней? Карамзин приводит соображения не только теоретические: доказательству своих мыслей он подчиняет исторический обзор, весьма тенденциозный. Всякое ослабление самодержавия в России обязательно приводило либо к анархии, либо усиливало аристократию, создавало олигархию, что было вариантом гораздо худшим. Именно худшим, ибо Карамзин ни в коем случае не закрывает глаза на то, что самодержавие не чуждо «примесов тиранства».

Другими словами, он считает, что истинное самодержавие так же далеко от тирании, как и от республики. В том же «Похвальном слове» приводится статья из «Наказа»: «Предмет самодержавия не то, чтобы отнять у людей свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу». Поэтому логично его мнение о Павле I: он сделал в отношении самодержавия то же, что якобинцы в отношении республики «заставил ненавидеть злоупотребления оногo».

Поэтому вполне естественным выглядит многократно осмеянное как апофеоз политической наивности обращение к монарху, заключающее в себе едва ли не главное, по Карамзину, «целительное средство»: «Да царствует благодетельно! Да приучит подданных ко благу! Тогда родятся обычаи спасительные, которые лучше всех бранных форм удержат Государей в пределах законной власти»¹⁰. Ибо для Карамзина этика, нравственность, совесть монарха (и не только монарха) — понятия не абстрактные, более того, они лежат в основе его взгляда на историю вообще.

Как только монарх перестает соблюдать этические нормы, т. е. нарушает принцип справедливости, он превращается в тирана. А что бывает в России с тиранами — это и Карамзин, и его читатель — Александр I — знали хорошо. Отсюда опять-таки кажущийся наивным тезис о страхе «возбудить всеобщую ненависть» как факторе, препятствующем перерождению монарха в деспота: «Тиран может иногда безопасно господствовать после тирана, но после Государя мудрого — никогда»¹¹. У Карамзина получается своеобразная картина «выворачивания» деспотии: там нет «кроткого правления», там боятся все: и деспот, и его народ, и все страдают, а здесь — тоже словно бы боятся, но от страха делают добрые дела. То есть добродетельное царствование оказывалось как бы взаимовыгодным предприятием: царя не убивают, а подданные живут хорошо и покойно. «Заговоры да устрашают народ для спокойствия Государей! Да устрашают и Государей для спокойствия народов!» Почему заговоры должны устрашать народ? Потому что они могут привести к анархии, безначалию, а это хуже любой тирании: погибнуть может любой, а тиран убивает все-таки не всех.

Отсюда понятно, почему, отвергая попытки поставить закон над монархом, он, в известном разговоре мадам де Сталь с Александром I принял бы сторону первой, соглашаясь, что совесть монарха лучшая конституция, и отвергая конституционный¹² подтекст ответа царя, сказавшего, что его характер — счастливая случайность.

Отсюда и предлагаемые им «лекарства», которые, впрочем, никак не могут считаться положительной программой, да и вообще программой. Во-первых, «искать людей», что в данный момент «всего нужнее».

«Излишнее уважение форм» власти не дает реального результата, по Карамзину. Неважно, как называется должность, важно, насколько умен и честен человек, ее занимающий. Будет он хорош — будет и порядок, а окажется плохим — не спасут никакие «уставы». «Дела пойдут в России как надо, если вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа»¹³. Мы уже знаем, что и наши герои исповедовали принцип «каждый на своем месте» и придавали ему большое значение в деле улучшения положения дел в стране.

Во-вторых, страх с эпитетом «спасительный» (ср. «благодетельная строгость» Ермолова). «Мудрое правление находит способ усилить в чиновниках побуждение добра или обуздывать стремление ко злу. Для первого есть награды, отличия, для второго — боязнь наказаний. Кто знает человеческое сердце, то не усумнится в истине сказанного Макиавелем, что страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных... Сколько агнцев обратилось бы в тигров, если бы не было страха!... Строгость, без сомнения, неприятна для сердца чувствительного, но где она необходима для порядка, там кротость не уместна»¹⁴.

И, наконец, Карамзин произносит воистину знаменательные слова: «В России Государь есть живой закон; добрых милует, злых казнит., наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит

и наказывает детей без протокола, так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести».

Под этими словами с легким сердцем подписалось большинство русских дворян того времени, в том числе Ермолов, Закревский, возможно, Сабанеев. Ибо патернализм — одна из характернейших черт мышления правящего класса в России во все, увы, времена. Хуже того, к нему с пониманием относятся и неправящие классы.

Предложения Карамзина еще в XIX в. вызывали усмешку у позднейших исследователей, и их вполне можно понять. Нам в начале XXI в. эти меры кажутся верхом простодушия и «царистско-губернаторских» иллюзий. Как все знакомо: «усилить борьбу», «в целях дальнейшего совершенствования», сменить министра, председателя и т. д. Как не вспомнить, кстати, что при Николае I из 50 губернаторов в коррупции не было замешано 2—3. Но, возможно, впечатление от наивности Карамзина несколько убавится, если принять во внимание следующее обстоятельство, весьма важное для понимания его мировоззрения в целом.

Реформаторы чаще всего полагают, что несовершенство мира можно исправить, проведя те или иные разумные реформы (разумные с точки зрения общечеловеческих идеалов). Для Карамзина же несовершенство мира — его априорное свойство. Он прекрасно понимает (в отличие, например, от Л.Н.Толстого периода работы над «Войной и миром»), какая это мощная **движущая** (именно так!) сила истории — сила социальной **инерции**, сила привычки, «порядок вещей». Эта сила первой вступает в бой с любыми «новостями», с преобразованиями, и от этого столкнове-

ния и получаются те непредсказуемые последствия, к которым ведут реформы, те ужасы, видеть которые в России Карамзин решительно не желает. Он потому и советует примириться с этим несовершенством, что знает: ничего идеального в мире нет, что «мало агнцов, мало и злодеев, а больше смеси, т.е. добрых и худых вместе». Это относится не только к людям, но и к жизни вообще, и социальным системам, в частности. Никогда не будет совершенного во всем и для всех социального устройства. Нетрудно видеть, что и этот тезис разделяют Ермолов и другие наши герои (хотя и не до конца). Вспомним, хотя бы фаталистическую уверенность Ермолова в том, что плутни и воровство истребить нельзя.

Поэтому Карамзин убежден, что нужно приводить в порядок то, что есть (резервы здесь немалые), а не строить что-то новое. Разве можно менять привычный уклад в стране, где более девяноста человек из ста неграмотны, ленивы, склонны к пьянству, так что от окончательного падения их спасает только забота их хозяев? Разве можно менять государственную систему в стране, где чиновники в массе своей продажны и корыстны и где не могут найти 50 честных губернаторов? Разве от введения новых «уставов» они станут нравственнее? Конечно, нет, говорит Карамзин. Надо сначала улучшить нравы, а потом уж думать о реформах.

Характерно, что Сперанский отнюдь не оспаривал российской специфики в широком смысле и вовсе ею не пренебрегал. В некоторых важных моментах они близки друг другу. Так, и Сперанский, и Карамзин согласны, что Россия — не Запад, что соразмерно территории и нравам народа власть царя должна быть

большей, чем в других государствах Европы, что самодержавие в строгом смысле не монархия, что законов в России нет, а есть указы (хотя Карамзин, несколько противореча сам себе, утверждает, что и указы — это законы), что государь должен быть добрым, что нужно время для исправления нравов, что поспешность в реформах вредна и что перемены нужны лишь в случае крайней необходимости. Однако из этого делались совершенно разные выводы. Карамзин настаивал на сохранении самодержавия потому же, почему Сперанский хотел его реформации. Французская революция привела часть мыслящих русских людей (хотя и немногих) к совсем другим мыслям, нежели Карамзина и иже с ним.

Пыпин был совершенно прав, когда писал, что Карамзин привел «все возражения, какие можно было сделать против... такого установления конституционных учреждений, о каком тогда думали. Эти возражения очень сильны, и для тогдашних отношений справедливо указывали если не на невозможность, то чрезвычайную затруднительность предприятия. Но мысль, отчасти верная для данной минуты, заключала в себе ту всегдашнюю ошибку фанатического консерватизма, что Карамзин решал за будущее»¹⁵.

Слепой на скале

Я бы желал, чтоб кто-нибудь показал различие между зависимость крестьян от помещиков и дворян от государя.

М.М. Сперанский

Позиция Карамзина не будет понятна до конца без обращения к крестьянскому вопросу.

Напомним слова Ермолова: «У нас народ удобен рассуждать исключительно в свою пользу, которую весьма понимает и по малому еще образованию не допускает совместность польз другого состояния людей, а потому власть дворянства есть необходимая сила для удержания равновесия, и выгода правителя состоит в точном определении сей силы, ибо чрезмерность с той или другой стороны лишает его власти, ему приличествующей...» Царь, дворянство и крестьяне образуют жесткий каркас, своего рода равнобедренный социальный треугольник, где существующее в данное время положение каждой силы-вершины зависит от двух других, и потому-то только и существует эта структура. Малейшее изменение чревато ее разрушением. Важно, что правитель как бы отстранен и от тех, и от других, для него опасно чрезмерное влияние не только крестьян, но и дворян. То есть царь рассматривается как сила, стоящая над подданными, — он и связующее звено, и посредник одновременно. Эта точка зрения была весьма распространена среди дворянской

интеллигенции того времени. Кстати, так же оценивали роль императора и сами крестьяне, для них он был единственной силой, способной защитить их от произвола помещиков. Другими словами, крепостничество, наряду с самодержавием, являлось «палладиумом».

Далее. Что стоит за примечательными словами «совместности польз другого состояния людей», которую не понимают необразованные покуда крестьяне.

Неужели Алексей Петрович всерьез думал, что крепостничество полезно крестьянам? Или же это искреннее заблуждение большого ума?

Почти за сто лет до попытки образования «Общества для освобождения крестьян» В.Н.Татищев писал, что вольность крестьян и холопей нужна и полезна в других государствах, однако в России она «с нашею формою монархического, правления не согласует и вкоренившийся обычай неволи переменить не безопасно¹. А вот как говорил И.Н.Болтин, опровергая критику Леклерком российского крепостничества: «Во всяком ли состоянии, во всякое ли время и всякому ли народу одинакая приличествует свобода, или по различию оных с некоторым исключением, изъятием, с некоторыми условиями, предписаниями, правилами?» Решалась эта проблема Болтиным без лишних затруднений: «Земледельцы наши прусской вольности не снесут, германская не сделает их состояния лучшим, с французской помрут они с голода, а английская низвергнет их в пучину погибели». Характерно, что и вопрос о том, является ли крепостничество злом, Болтиным не выяснен, как и другими его единомышленниками: «Правда, что состояние помещичьих крестьян не всех есть равное, некоторые из них по жестокосер-

дию и нечувствительности господ их обременены оброками и работами тяжкими и едва сносными; но большая часть и из сих живут в довольстве и покое, следовательно, и не признают состояния своего не-сносным»². Освобождение крестьян Болтин относил на отдаленное время, когда крестьяне «созреют» для свободы.

Замечательное сочинение с красноречивым заглавием «Размышления о неудобствах в России дать свободу крестьянам и служителям или сделать собственность имений» было написано кн. Щербатовым в 1785 г. В то время оно не было опубликовано. Основные положения автора сводились к тому, что и безземельное освобождение было бы вредно для самих крестьян. В первом случае их разоряли бы помещики, а во втором началось бы имущественное расслоение, и тогда немногие обогатились бы за счет многих. Вообще же русский народ ленив, пьян и «недостойн ни земли, ни вольности»³.

В этих «Размышлениях» проявляется изумительно стойкая во времени черта мышления российских правящих классов — стремление к соблюдению равенства среди подчиненных и подвластных, причем равенства в лучшем случае несытого. Это та самая забота о слабых, которая на деле оборачивалась борьбой с «сильными», толковыми, деятельными. Им постоянно создавали препятствия, их ум, смекалка, инициатива гасились, тушились и т. д. Так веками у народа отбивалась охота к деятельности, так сковывались его силы, въедались в кровь его равнодушие и апатия. Кстати, щербатовские затруднения легко решились в 1861 г., когда крестьянам дали землю с сохранением общины. Это был новый и последний виток пресловутой «заботы о слабых».

Нельзя не вспомнить и известный разговор кн. Е.Р.Дашковой с Дидро на ту же тему, имевший явно программный характер. Дашкова сказала, что установила в своем орловском поместье управление, сделавшее крестьян «счастливыми и богатыми», и притом ограждавшее «их от ограбления и притеснения мелких чиновников». Богатство помещиков прямо зависит от крестьян, а потому, считала Дашкова, «надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушить источник собственных доходов». Помещики — посредники «между крестьянами и казной», они кровно заинтересованы в ограждении их от корыстолюбия представителей власти⁴.

Дидро заметил, что если бы крестьяне были свободны, то «они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Дашкова отвечала, что она согласна на освобождение крестьян при условии освобождения русских дворян от «воли самодержавных государей» и «хоть бы своей кровью подписалась под этой мерой». Однако она убеждена, что Дидро путает следствия с причинами: «Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления».

Дидро сказал, что она его не убедила. Тогда Екатерина Романовна сообщила, что даже и в нынешнее царствование есть средства борьбы с жестокостью помещиков — изъятие у них крестьян, учреждение дворянской опеки над имениями. И привела весьма яр-

кое сравнение крепостного со слепорожденным, помещенным на крутую скалу, окруженную пропастью. «Лишенный зрения он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними». И здесь появляется глазной врач, возвращает ему зрение, но не может снять его со скалы: «Наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен; не спит, не ест и не поет больше; его пугают окружающие его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает в цвете лет от страха и отчаяния».

После этих слов, сообщает она, Дидро, вскочив со стула, назвал ее «удивительной женщиной» и сказал, что она «переворачивает вверх дном идеи», которые он «питал и которыми дорожил целых двадцать лет»⁵.

Разумеется, перевернуть какие-либо идеи «вверх дном» еще не значит доказать, что именно в таком положении они больше соответствуют истине, однако этого достаточно, как выяснилось, чтобы получить изысканный комплимент от одного из умнейших в мире людей. Во всяком случае, позиция родной тетки М.С.Воронцова в комментариях не нуждается.

Карамзин в «Записке о древней и новой России» во многом повторил доводы Дашковой и других своих предшественников. Освобождение крестьян означало бы, по его мнению, что они получают свободу передвижения, но не получают земли, т. к. она принадлежит дворянам. Положение их безусловно ухудшится, потому что если раньше помещики относились к ним терпимо, «щадили... свою собственность», то теперь «корыстолюбивые владельцы» сделают все, чтобы разорить крестьян, выжать из них все, что можно. Карамзин уверен, что крестьяне «благоразумного поме-

щика», который умерен в своих требованиях, живут лучше, чем казенные крестьяне, ибо барин для них «попечитель и заступник». А будет ли им лучше, если вместо такой покойной доли они падут жертвой своих пороков (в априорной порочности крестьян Карамзин не сомневается), а заодно и «откупщиков и судей бессовестных». Проще, считает он, обуздать жестоких помещиков — они известны всем. К тому же, от освобождения может пострадать казна⁶.

Однако главный его аргумент — угроза новой Пугачевщины. Если сейчас, полагает он, помещная полиция, господский надзор держат крестьян в рамках, полезных для них самих, для помещиков и государства, то с исчезновением этой опеки крестьяне непременно «станут пьянствовать, злодействовать: какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности! Одним словом, теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отняв у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена... Удержит ли? Падение страшно». И, наконец, заключение: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу... но знаю, что теперь им неудобно возратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, ныне имеют навык рабов; мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, к которой надобно готовить человека исправлением нравственным»⁷.

Таким образом, все основные постулаты в пользу сохранения крепостничества, все главные положения крестьянской «теории» были сформулированы рус-

ским дворянством еще в XVIII в. Удивительное единодушие и единообразие аргументации, которые обнаруживают рассуждения Щербатова, Дашковой и Карамзина (список легко увеличить) и, в частности, того же Ермолова (только в сжатом виде) показывают, насколько распространены были эти убеждения. Это была та стадия функционирования концепции, не слишком, впрочем, богатой с точки зрения умственных усилий, затраченных на ее постулирование, когда мудрено уже изобрести что-либо новое и на долю теоретика остаются архитектурные излишества.

Итак, есть добрые, точнее, «благоразумные» господа, у которых крестьяне живут совсем неплохо, и польза от этого обеим сторонам. Плохих же помещиков, нужно наказывать. Освободить крестьян нельзя, ибо они рабы по духу, а стать свободным может лишь просвещенный, «исправленный нравственно» человек. «Записку о древней и новой России» в этой части критиковали всегда особенно остроумно, и не без основания — в ряде случаев у Карамзина действительно не все в порядке с формальной логикой. Однако нас интересует не это. Насколько умозрительна была такая аргументация?

Мы так привыкли к мысли, что помещики и крестьяне враги всегда, везде и при любых обстоятельствах, что слова Фирса из «Вишневого сада» о воле как несчастье кажутся непонятными, странными, а сообщения о помещиках, строивших школы в имениях и кормивших крестьян в голодные годы, представляются поэтическим преувеличением, хотя помещики были обязаны кормить голодных в неурожайные годы и не допускать крестьян до нищенства по закону. (Впрочем, это была единственная узаконенная их обязан-

ность по отношению к подвластной «крещеной собственности», но важная.) А пресловутая некрасовская «цепь», при порыве ударившая «одним концом по барину, другим по мужику»? «Скованные одной цепью»?

В чем причина глубокой убежденности Болтина, Дашковой, Карамзина и других, отнюдь не худших людей того времени, в том, что положение крестьян вовсе не так скверно, как полагают иностранцы, ничего не понимающие в России, и доморощенные «либералисты»? Выше говорилось уже, как возмутился Александр I, увидев в шишковском манифесте слова об «обоюдной пользе» совместного существования помещиков и крестьян; Шишков сетовал на злосчастное предубеждение царя к крепостничеству. Нам, как будто хорошо представляющим ужасы крепостного права, взгляд Дашковой и Карамзина кажется просто кошунственным. С другой стороны, трудно сомневаться в их искренности: писали не по социальному заказу. Конечно, многое можно отнести на счет обыкновенной аберрации исторического сознания, которая была свойственна людям во все времена, причем не только тем, которые оценивают жизнь сверху вниз. «Я этого не вижу, или не хочу видеть, следовательно этого нет». Буколическое мнение Дашковой о ее орловском имении — аргумент спорный. Пьер Безухов, как известно, тоже считал, что устроил счастье своих крестьян; разумеется, Л.Н.Толстой «заставил» его думать так неспроста.

В 1802 г. Карамзин опубликовал «Письмо сельского жителя». Сюжет его вкратце таков. Некто под влиянием человеколюбивых сочинений решил осчастливить своих крестьян. Они получили землю за скромный оброк, сами избрали старшину, притом барин

уверил их, что всегда защитит от любого произвола властей. Когда же после долгого отсутствия филантроп вернулся в свое имение, он увидел пьяных нищих, в которых с трудом признал своих крестьян. Они ему растолковали, что его отец всегда жил с ними и «соблюдал» не только свои поля, но и их. А свобода, которую он им даровал, оказалась свободой ничего не делать, лентяи стали отдавать свои наделы по дешевке и пить. Тогда герой решил последовать примеру отца, возобновил барщину, «сделался самым усердным экономом» и т. д. Результаты не замедлили сказаться: крестьяне начали богатеть, перестали голодать и, разумеется, были чрезвычайно благодарны герою. Такой прекрасный итог дал «путешественнику» повод для обобщений. Иностранцы утверждают, что крестьяне мало и плохо работают, потому что господа забирают все плоды их труда. Но это оторванная от российской почвы теория, ибо кто же станет отнимать у своих крестьян хлеб и скот? Только враг самому себе. Поэтому все успехи в сельском хозяйстве — исключительно результат барской заботы. Хорошие хозяева совершенно необходимы для благоденствия крестьян. Причем в этом автор находит источник едва ли не высшего удовлетворения. Ему радостно сознавать, что он живет «с истинной пользой для пятисот человек». Заключение таково: «Главное право русского дворянина — быть помещиком; главная должность его — быть добрым помещиком; кто исполняет ее, тот служит отечеству как верный сын, тот служит монарху как верный подданный: ибо Александр желает счастья земледельцев»⁸.

Для данной темы важна версия приведенного выше спора Ермолова с Аббас-Мирзой о том, чье правление лучше, русское или персидское, которую излагает

в своих воспоминаниях Н.Н.Муравьев-Карсский. Персидский наследник попрекнул Ермолова тем, что в России продают людей, разлучая их семьями. Посол отвечал так: «Ручаетесь ли вы, ваше высочество, чтобы между вашими подданными не были бездельники? Они везде есть, а народ к нам привязан, права его защищены, имущества и честь каждой особы ограждены законами. Справедливо, что людей прежде таким образом продавали, но в царствование Александра сего не делают больше, их продают с семьями и с землей; правление наше... если не лучше, ничем не хуже вашего; у вас никто собственности не имеет, никто ни в чем не уверен; имущество и честь граждан ваших не защищены законами»⁹. Нетрудно видеть, о чем умолчал Ермолов в своей версии разговора — о продаже крепостных. Не будем сейчас выяснять причины такой деликатности; возможно, ему было не слишком удобно писать об этом после рассказов о том, как в Персии вельмож наказывают продажей гаремов, тем более в контексте лекции о правах человека. Поразительно другое — Ермолов искренен в своих оценках Персии и «кроткого правления» в России. Да, русские крестьяне — крепостные. Ну и что? В Турции и Персии крепостного права нет, а народ живет намного хуже и тяжелее, чем в России. Важны не отвлеченные принципы — важно реальное положение людей. Да, с точки зрения прав человека Россия — не Европа. Но ведь и не Персия. И России вовсе не необходимо походить на Европу, у нее свой путь. Так (или примерно так) рассуждает Ермолов, и его взгляд помогает понять реакцию многих других его современников, выступавших против эмансипации крестьян и, подобно ему, отнюдь не по меркантильным соображениям. Счи-

тал же, к примеру, Павел Петрович, что казенные крестьяне живут хуже господских, потому, отчасти, и раздавал их сотнями тысяч!

Этот взгляд, по сути, «шишковистский», крепостнический, естественно, очень легко оспорить. Ясно, что комплекс отношений между крестьянами и помещиками, как его рисовал Карамзин, мягко говоря, не исчерпывался идиллией из «Письма сельского жителя». Но ведь писал же Сабанеев, например, после посещения орловских имений Воронцова, что крестьяне на него молиться должны, ибо он для них «отец родной». Беда в том, что подобное «процветание» даже таким умным людям как Дашкова, Карамзин и другим, представляется вершиной гуманности и человечности, что они и помыслить не могут, что возможна и для крестьян иная жизнь, иное благоденствие!

Далее. Насколько прав Карамзин, утверждая, что безземельное освобождение окажется для крестьян большим злом, чем крепостное рабство? Вопрос очень важный и не менее сложный. Вообще говоря, освобождение без земли было идеалом для большинства дворян, ибо давало им дешевую рабочую силу: крестьяне должны были бы арендовать землю у господ. Указ 1803 г. популярностью у помещиков не пользовался и о наделении крестьян землей слышать не хотели не только Карамзин, не только «либералист» и ярый крепостник гр. Мордвинов, но даже (правда, лишь поначалу) будущие декабристы, в том числе Якушкин и Никита Муравьев. Именно поэтому проект освобождения, подписанный Аракчеевым в 1818 г., как отмечал еще В.О.Ключевский, был куда прогрессивнее мордвиновского, ибо предусматривал обяза-

тельное наделение крестьян двумя десятинами земли при освобождении.

Безземельное освобождение крестьян в Прибалтике в 1816—1819 гг., растянувшееся на долгие годы, несомненно, ухудшило их положение, резко снизив реальный жизненный уровень. Эти крестьяне мостили собой дорогу своим потомкам. В 1819 г. Новосильцев в особом письме императору резко отрицательно отнесся к идее безземельного освобождения, которая в ту пору стала овладевать умами дворян в Литве и Белоруссии. При этом он ссылался на печальный опыт подобного освобождения в бывшем великом герцогстве Варшавском, которое произвел Наполеон в 1807 г. Так что Карамзин был прав, выступая против освобождения без земли. Другое дело, что в проектах гр. Гурьева, Канкрина, «аракчеевском» мы встречаем иную точку зрения: наделение крестьян землей. Но эта позиция не была типичной, причем даже в эпоху Великих реформ. Ведь и в 1861 г. Александр II фактически заставил помещиков продать бывшим крепостным землю, совершив юридически акт насилия над принципом частной собственности.

Наконец, главный довод против освобождения — «свобода без просвещения ведет к анархии». Его так же опровергали много раз. И все же — так ли он неверен? Легко ли исчезает то, что копилось веками? Наше время дало и еще даст обширный материал, подтверждающий этот тезис. И аргумент Н.И.Тургенева — разве можно делать добро не вовремя? — скорее логический, чем реалистичный.

А пример Франции? Если там, в стране куда более просвещенной, была такая страшная бойня, приняв-

шая затем европейские масштабы, то чего ждать от «переворота» в России?

Сперанский рассматривал эту проблему еще в 1802 г.: «Что такое есть просвещение народа в рабстве, как не способ живее чувствовать горечь своего положения и как не повод к волнениям, кои должны кончиться или вящим его порабощением, или ужасами безначалия. Из человеколюбия, равно как и из доброй политики должно рабов оставить в невежестве или дать им свободу.

Думают, что свободе должно предшествовать народное просвещение. Но что понимают под словом просвещение? Естьли понимают под сим возвышенный образ мыслей, тонкие различия истины от лжи, чувство морального добра, то, вероятно, что до сего степени просвещения никогда и никакой народ здесь на земле еще не доходил... Я не знаю, к чему послужит сия высокая философия земледельцу. Естьли же под именем просвещения разумеют некоторое участие в полезных истинах, сообщаемых нам чрез книги, естьли разумеют усовершенствование (так в док. — *М.Д.*) видов промышленности и образа жизни, то я не понимаю, каким образом сей род учения может человек получить в рабстве; напротив, я думаю, что он должен иметь прежде некоторое бытие, некоторый участок свободы, которая одна дает жизнь и движение разуму и воле».

Увы, просвещение — не панацея, как убедительно показал куда как образованный XX в. Конечно, культурный народ при прочих равных имеет больше шансов не сойти с ума, но и это — не более, чем вероятность, к тому же опровергаемая многими примерами, в том числе и совсем недавними.

Правы ли Дашкова, Карамзин, Ермолов и другие? Да, конечно.

Прав ли Сперанский? Несомненно.

И хотя аргументы обеих сторон убедительны, при том что проблема теоретически едва ли решается, Сперанский, видимо, ближе к истине, по крайней мере когда говорит, что человек должен иметь «некоторое бытие, некоторый участок свободы», прежде чем начинать постигать «полезные истины» через книги. Об этом, в частности, говорит потрясающий взлет русской культуры и науки в конце XIX — начале XX в., который очень сильно связан с двумя поколениями, хотя отчасти и поротых, но лично свободных, русских крестьян и который был лишь началом.

Таким образом, в оценке крестьянского вопроса, как и в оценке возможных реформ, Карамзиным (и Ермоловым!) есть много верного. Их рассуждения нельзя просто отбросить по причине их реакционности.

И все-таки...

И все-таки — Правда была не за ними.

У Сперанского был сильнейший аргумент, «неубиваемая карта»: «Мудрость правительства не в том состоит, чтоб ожидать и покоряться происшествиям, но в том, чтоб владеть самою возможностью их и силою разума исторгать у случая все, что... его устремление может иметь вредного»¹⁰.

Прав, во многом прав Карамзин.

Но когда-то нужно было начинать.

Ни Сперанский, ни «Общество для освобождения крестьян» и не думали предлагать никаких революционных мер. Они хотели, в частности, предотвратить ту самую Пугачевщину, которой с полным основанием опасались ничуть не меньше Карамзина, Ермоло-

ва и Закревского. Речь шла о том, чтобы сдвинуть с места тяжелый состав российской государственности. А их критики были уверены, что дальше и ехать не надо и что здесь-то и нужно устроить, условно говоря, мемориальный музей. В 1816 г. Карамзин говорил, что Россия теперь может скорее упасть, чем подняться еще выше. Мысль не оригинальная, так же считал и Александр I, но с существенным уточнением — с точки зрения внешнеполитической, с точки зрения военного могущества. А Карамзин, Ермолов и тысячи их единомышленников именно с военной мощью — и только с нею — связывали величие страны. Остальное было второстепенным.

Когда-то нужно было начинать долгий путь к свободе. Теперь, полтора века спустя, имеются тысячи доказательств того, как труден путь «исправления нравственного». Кстати, это хорошо понимали и тогдашние «либералисты» и именно потому хотели вступить на эту дорогу как можно раньше. В этом же пафос Сперанского. Мы, к сожалению, отлично знаем, к чему ведет свобода без просвещения. Но защитники крепостничества, как давно отмечено в литературе, оказались в порочном круге — крестьян нельзя освободить, поскольку они непросвещены, а так как они всегда непросвещены, то их никогда нельзя освободить.

Будущее надо готовить. Иначе оно мстит за слепоту тем зрячим, которые ведут себя, как дашковский «слепой на скале».

Немного о консерватизме правящих классов и российских в особенности

Тема эта вечная и в содержательном, и в эмоциональном аспектах. Начнем мы со времен, отстоящих от нас и от Ермолова с Закревским в 1820 г. на равную примерно величину, с 1907 г. К этому времени не было уже детей Ермолова, хотя, проживи они с отцово, увидели бы манифест 17 октября, а младший, Николай Алексеевич, — и эвакуацию Врангеля.

Революция, в огромной степени спровоцированная недалёковидностью, даже тупостью правящего класса на всех уровнях, особенно самом высшем, революция, фитиль которой был зажжен еще в 1861 г., была практически подавлена. И российские крайне правые, которых не было слышно и видно в самые опасные для царизма дни 1905 г., вновь подняли головы.

Была разогнана Первая Дума и не за горами было 3 июня 1907 г, но правым все было мало. Их проклятья уже сыпались на головы тех, кто, по их мнению, потакал революционной крамоле, был недостаточно тверд, т. е. жесток.

Скоро они объявят «красным» Столыпина, лихорадочно пытавшегося спасти то, что считал нужным спа-

сти, в том числе и этих крайне правых. Один из его ближайших сотрудников, Сыромятников, предупреждал об опасности «после безумного поворота влево... столь же безумного поворота вправо, возрождения старой нашей исторической лжи, что все обстоит благополучно и что шапками закидаем» («Россия», 13 мая). Но правым было ненавистно все, что напоминало о революции, была ненавистна Дума как символ ограничения власти самодержца, пусть и достаточно формального ограничения. Тут они вполне могли поспорить с Карамзиным. Их идеал был там, в николаевской, дореформенной эпохе. Напрасно правительственная газета «Россия» объясняла им, что «времена крепостного права никогда не вернуться», доказывала, что монархические убеждения совместимы с конституционными взглядами, убеждала, что «реку не засыплешь, но что можно направлять ее русло». Российским ультра ставились в пример германские консерваторы: «Надо защищать историческую сущность, а не те или другие временные ее выражения... Пора бы нашим правым поехать в Пруссию и поучиться тому, как работает в ландтаге и рейхстаге прусская консервативная партия, отстаивающая монархическое начало конституционными средствами» (3 июня, день «государственного переворота»). И еще одна цитата из «России»: «Разумная политика после революции требует реформ, а не восстановления прошлого в его неприкосновенности и целости для того, чтобы дать нравственное оправдание новому взрыву народных страстей».

1820 г. и 1907 г. — совершенно разные эпохи. В 1820 г. о реформах только говорили, и становилось все яснее, что разговорами дело и кончится. В 1907 г. они как будто начались. Однако нельзя не видеть и об-

шего, заключавшегося в реакции большинства дворян на саму возможность реформ.

Поведение ультраправых в 1907 г. показывает, что можно, даже пережив 1905 г. — более чем выразительное Предупреждение, ничего не понять, «ничего не забыть и ничему не научиться». Немного в истории найдется примеров исторической близорукости, имевшей воистину фатальное значение, подобных этому. И первым среди тех, кто ничего не желал видеть и понимать, был сам царь. И хотя жизнь давала этим людям еще какую-то надежду на спасение, как бы бросала канат безнадежно утопающему — утопающий предпочел утонуть в полном соответствии с тем, что принимал за каноны.

С.Ю.Витте, один из умнейших людей, когда-либо служивших династии Романовых, характеризуя политику царизма тех лет, пророчески говорил: «Сверху пошел клич — все это (война и революция — *М.Д.*) крамола, измена, и этот клич родил таких безумцев, подлецов и негодяев, как иеромонах Илиодор, мошенник Дубровин, подлый шут Пуришкевич, полковник от котлет Путятин и тысяча других. Но думать, что на таких людях можно выйти — это новое мальчишеское безумие. Можно пролить много крови, но в этой крови и самому погибнуть и погубить первородного чистого младенца сына-наследника. Дай Бог, чтобы сие не было так, и во всяком случае, чтобы не видел я этих ужасов...»¹

Так можно ли обвинять Карамзина, Ермолова или Закревского в консерватизме?

Кстати, подобная слепота — явление вовсе не чисто российское, хотя в России, пожалуй, оно имело самые роковые последствия для тех, кто эти взгляды исповедовал. Вспомним, например, как сопротивлялись

в конце XVIII в. реформам императора Иосифа II магнаты и дворяне в Австрии, как негодовали прусские юнкеры в середине XIX в. из-за реформ, которые должны были спасти (и спасли!) их самих. Количество примеров такого рода легко умножить.

Последствия политики, которую в первой четверти XIX в. отстаивали, приветствовали Карамзин и его единомышленники, вполне очевидны. Нам же сейчас важно понять, что в 1820 г. имела место стандартная ситуация, возникающая в любой стране при попытках проведения любых реформ. Были, условно говоря, правые, левые и центристы. Как и в 1820-х гг. они различались и степенью влияния на царя, и своей численностью, а главное, численностью тех, кто их «делегировал», чьи интересы, понимаемые как гласно высказываемые мнения, они отражали. За консерваторами стояла подавляющая масса дворянства, совершенно инертная в общественно-политическом плане, незаинтересованная ни в каких реформах, которой нужно было уничтожить крайности павловского деспотизма и не более. За реформаторами, в сущности, не было никого. Их проекты зиждились на собственных убеждениях и не подкреплялись общественным мнением, в отличие от позиции Карамзина; иногда эти либеральные идеи своекорыстно рассчитывались на известные всем настроения царя.

1820 г., как и эпоха Сперанского, показал, что дворянам реформы были не нужны. Бесконтрольность власти царя соответствовала такой же бесконтрольности в отношениях помещиков и крестьян. Близорукость правящих слоев — обычный сюжет в мировой истории.

Ведь сам по себе факт желания или нежелания реформ большинством представителей класса вовсе не обязательно говорит о понимании большинством его членов своей настоящей, действительной пользы, насколько точным может быть этот термин. Реформа — нечто ломающее привычный уклад. При человеческой склонности к консерватизму она часто встречает естественное сопротивление — не было бы хуже! Чаше всего реформы проводятся вопреки воле арифметического большинства, даже когда это и в его интересах. Это закон истории. Потом их могут приписать большинству, но это надругательство над здравым смыслом, т. е. ходом истории, недооценка естественной силы вещей.

Любопытен и еще один вопрос — о степени зрелости реформ. Еще раз повторим, что серьезные реформы — чаще следствие неудач, чем успехов. С этой точки зрения деятельность Александра I и Сперанского после Тильзита выглядит куда логичнее, чем попытки реформ после Венского конгресса. Неудачи ясно показывают необходимость перемен, успехи же, напротив, поощряют сохранение статус-кво. Понятия — «государственная необходимость», «назревшие реформы», «реформы, время для которых настало» — нередко (не всегда!) — есть самая примитивная попытка объяснения исторического результата постфактум.

Если с преобразованиями получается — говорят, что время пришло, почему все и вышло хорошо, если нет — значит, рано. Но всегда ли так было на самом деле? Что стоит за «зрелостью» тех или иных реформ? Нередко простой факт — удалось их провести в жизнь или нет. Но ведь проведение реформ в абсолютистс-

ком, например, государстве сильнейшим образом зависит от конкретно-исторического «расклада» в высших эшелонах власти. В свою очередь, этот «расклад» может очень приблизительно отражать то, что мы называем государственной необходимостью (или принимаем за таковую). Не говоря уже о том, что в истории можно найти примеры самых невероятных, нелепых и т. п. ситуаций, вполне подпадающих под понятие реформ: вспомним, разве редко воплощались в жизнь проекты — плоды усилий честолюбивых одиночек? И напротив, то, что могло бы спасти страну от бедствий, включая и тех, кто отдал все силы, чтобы ничего не менять, осталось на бумаге. Ведь понятно, что если бы освобождение крестьян началось не в 1861 г., а на полвека раньше, результат был бы иным.

Очень часто одной из главных причин революции является недальновидность правящих классов и групп, не представляющих, что может произойти с их же детьми и внуками. Правящие классы России в этом смысле просто уникальны. Это ведь только в школьных учебниках говорится, что-де Крымская война воочию продемонстрировала гнилость и бессилие царизма, показала необходимость освобождения крестьян. Кому показала, а дворянству — нет. Как ожесточенно оно сопротивлялось реформам! Представим на секунду, что произошло чудо и даже не гр. Панину в 1860 г., а Карамзину и Ермолову показали бы кадры кинохроники 1917—1920 гг. Случись такое, убедись они, во что обошлась потомкам их ограниченность, верно, крестьян начали бы освобождать, не дожидаясь «Севастопольских рассказов», и поэтический ответ на вопрос «кому на Руси жить хорошо?» был бы, возможно, иным.

Увы, в начале XX в. С.Ю.Витте писал на эту тему: «Все великие реформы императора Александра II были сделаны кучкою дворян, хотя и вопреки большинству дворян того времени, так и в настоящее время имеется большое число дворян, которые не отделяют своего блага от блага народного и которые своими действиями изыскивают средства для достижения общенародного блага вопреки своим интересам, а иногда с опасностью не только для своих интересов, но и для своей жизни. К сожалению, такие дворяне составляют меньшинство, большинство же дворян с точки зрения государственной представляют кучку дегенератов, которые ничего, кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей — ничего не признают...»²

«Конституционные прения»

В историографии давно уже предпринят анализ споров о будущем России между Киселевым, Д.В.Давыдовым и М.Ф.Орловым, происходивших в период их совместной службы во 2-й армии. Мы, однако, позволим себе вернуться к ним, чтобы уточнить некоторые важные детали, касающиеся мировоззрения Давыдова и Киселева в этот период.

Начнем с известного письма Давыдова Киселеву от 15 ноября 1819 г., где Денис Васильевич высказывает свое отношение к идеям, которые владели тогда Орловым: «Да простит мне Михаил-идеолог! Скучное время пришло для нашего брата солдата! Что мне до конституционных прений!» И далее Давыдов признается «в эгоизме». Будь он молодым офицером, возможно, он встал бы под знамена «Михаила-идеолога». А теперь рисковать 20-летней репутацией, опытом, знаниями поздно. Тем более, что он знает: «и при свободном правлении» он останется «рабом», ибо останется солдатом. К тому же в теперешнем состоянии он избавлен от необходимости быть «слепцом», держаться за поводья, а напротив, сам может поучить многих, — для Давыдова это очень сильный аргумент. Итак, эгоизм, а не принципиальные разногласия. Не

обсуждает Давыдов и вопроса о полезности «конституционных прений» — они подаются им как нормальная разумная альтернатива, а значит, как нечто не менее разумное, по крайней мере, так же имеющее право на существование, как и армейская стезя, избранная им 20 лет назад.

Но это взгляд теоретический. В жизни все сложнее.

«Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу; я ему говорил и говорю, что он болтовнею своею воздвигает только преграды в службе своей, которою он мог быть истинно полезным отечеству. Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России. Этот домовой долго еще будет давить ее тем свободнее, что, расслабься ночью грезой, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом. Но мне он не внимает».

Итак, приемлемые в теории мысли Орлова в реальной жизни оказываются заблуждением: России нет дела до конституции. Обществу нужно то, что помогает его сегодняшним нуждам, и потому деятельность Орлова сейчас бесполезна и даже вредит ему самому. Ведь как человек талантливый он мог бы принести «истинную пользу». (Как разнится понимание истины даже у близких в общем людей!) Отношение самого Давыдова к абсолютизму отнюдь не пиетическое, как можно видеть.

Затем в письме содержится фрагмент, показывающий глубину постижения Давыдовым современной жизни: «Опровергая мысли Орлова, я также не совсем и твоего мнения, чтобы ожидать от правительства законы, которые сами собою образуют народ. Вряд ли оно даст нам другие законы, как выгоды оседлости для

военного поселения, или рекрутский набор в Донском войске». То есть, Киселев верит в «реформы сверху», а Давыдов нет. Прав оказался последний.

«Я представляю себе свободное правление, как крепость у моря, которую нельзя взять блокадою; приступом — много стоит, смотри Францию. Но рано или поздно поведем осаду и возьмем ее осадой... пока, наконец, войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева. Что лучше всего — это то, что правительство, не знаю почему, само заготавливает осаждающим материалы военным поселением, рекрутским набором на Дону, соединением Польши, свободою крестьян и проч. Но Орлов об осаде и знать не хочет; он идет к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся Россия движется, а выходит, что он да бешеный Мамонов, как Ахилл и Патрокл, которые вдвоем хотели взять Трою, предприняли приступ»¹.

Этот фрагмент при всей красочности и образности языка (одно сравнение Орлова и Дмитриева-Мамонова с Ахиллом и Патроком чего стоит!) оставляет много вопросов. Если продолжить сравнение Давыдова, то получится, что Киселев полагает, будто крепость сама отворит ворота, Орлов считает, что надо штурмовать ее. Сам Давыдов уверен, что на сдачу рассчитывать нечего, а штурм, т.е. революция, в принципе дорого стоит, поэтому надо вести осаду. Но что это? И кто будет осаждать? И что понимается под «всей Россией», которая, как думает Орлов, идет за ними на приступ? Только ли дворянство или же другие классы тоже? Народная ли это революция или военная, в духе будущей революции в Испании? Судя по тому, что на помощь «осаждающим» работают и военные поселения, и грядущее якобы освобождение крестьян, и столь

же гипотетический набор рекрутов на Дону, и образование Царства Польского — круг достаточно широк. Но все равно остается неясность. Уже восставали бугские казаки и чугуевские поселения, еще продолжается восстание на Дону. Если произойдет всеобщий взрыв, — разве он не будет тем же приступом, в реальность и успешность которого Давыдов не верит? Или же цепь народных восстаний должна вырвать у правительства уступки? Возможно. По крайней мере, ход осады описан натурально и момент постепенности заострен. Но ведь и осада требует деятельности вполне определенного рода. Словом, точка зрения Дениса Васильевича во многом представляется весьма туманной.

Итак, Киселев считает, что правительство само даст реформы. У Киселева, который несколько лет провел возле царя, были как будто основания для подобного заключения, ведь разговаривал с ним Александр I довольно откровенно. Позиция эта не была оригинальной по тому времени — в то, что рабство падет «по манию» царя верили и многие декабристы, хотя за полтора года, прошедших после варшавской речи, веры поубавилось. Нам сейчас важно не то, что Давыдов, как и Ермолов, оказался прозорливее Павла Дмитриевича, а то, насколько вера в перемены «сверху» вписывается в общие взгляды Киселева того периода. Сохранившиеся черновики его писем к М.Ф.Орлову, приводимые Н.М.Дружининым, многое проясняют на этот счет.

Киселев постулирует: «Цель моя благонамеренная и потому одинакая с твоею», «каждому определено, каждому предназначено увеличить блаженство общества». В этом смысле он приветствует желание Орло-

ва улучшить существующий порядок. Вопрос в том, как это сделать, какими способами и средствами. «Все твои суждения в теории прекраснейшие, в практике неисполнительные. Многие говорили и говорят в твоём смысле; но какая произошла от того кому польза? Во Франции распри заключились тиранством Наполеона, в Англии — приращением власти министерской, в Германии — Марнским инквизиционным трибуналом. Везде идеологи — вводители нового — в цели своей не успели, а лишь дали предлог к большему и новому самовластию правительств». Киселев по-своему прав и во многом прав. К тому же у него, как и у Давыдова, мощный аргумент: 25 лет революций и войн, начавшихся штурмом Бастилии и закончившихся «Ста днями».

«Общее зло менее чувствительно, чем частное, — полагает Киселев, — общее искореняется веками, обстоятельствами, судьбою, а частное — увеличивается или уменьшается облеченными властью»². Эта мысль уточняется в дневнике: «Время и необходимость сообразоваться с его духом есть лучшее средство преобразования общества; ускорять его неблагоприятно, не сознавать его было бы нелепо»; «всякие насильственные потрясения гибельны»³.

В связи с этими мыслями Киселева нельзя не вспомнить снова Карамзина, писавшего: «Утопия будет всегда мечтою доброго сердца или может приметным исполниться действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов... Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой и во всяком правлении человек насладится мирным бла-

гополучисм жизни». (Никита Муравьев по поводу этих строк заметил: «Так глупо, что нет и возражений».)

Киселев поясняет, почему гибельны потрясения. В такие моменты на авансцену выходит простой народ и выдвигает свои требования. Конечно, одновременно «нашлись бы благонамеренные и представилось бы много желательных улучшений; но вместе с ними появились бы и люди 1793 года и предложения развратные», вместо порядка наступает анархия.

Итак, Киселев за эволюцию и против революции. Медленное, постепенное продвижение вперед, обязательно соотнобразующееся с исторически сложившимся духом народа и страны. И руководить этим продвижением должно само правительство.

Если бы Киселев и Орлов спорили не в 1819 г., а 30-ю годами раньше, в 1789 г. то неизвестно, что написал бы Киселев, да и был ли бы спор вообще. Однако всю жизнь они с Орловым провели в борьбе с тем, что вышло из реализации идей, которыми живет Орлов. Поэтому на стороне Киселева факты, а у Орлова эмоции и «суждения в теории прекраснейшие». Легко разрушить то, что создавалось веками, а вот построить идеальное общество, как показал опыт Франции, не просто трудно — невозможно. Ведь Киселева не нужно убеждать, что многое вокруг требует изменения. Он сам прекрасно видит это и в меру своих сил пытается улучшить, но именно улучшить, а не решительно изменить. Все должно происходить постепенно. Вопросы о переломе для него нет, ибо всегда, каждую минуту он помнит о революции во Франции. То, что итогом революции явилось крушение феодализма в этой стране и ослабление феодального гнета на большей части завоеванных Наполеоном земель, Ки-

селев не замечает, а если бы ему указали на это, то, верно, и не обрадовался бы: «дорого стоит». Он-то хорошо знал, чем заплатила Европа за «пагубную анархию Революции» (хотя, вероятно, ему не была известна цена — до 5 млн. человек по современным данным).

Павел Дмитриевич пытается внушить Орлову то же, что внушал тому Давыдов: «Я полагаю, что гражданин, любящий истинно отечество свое и желающий прямо быть полезным, должен устремиться по мере круга действия своего к пользе дела, ему вверенного. Пусть каждый так поступает — и более будет счастливых... от министра до будочника, от фельдмаршала до кап-рала, каждый чин, каждое звание — влиянием своим полезен быть может»⁴. Орлов хочет сделать счастливыми всех сразу, а это невозможно. Поэтому Киселев предлагает ему обратиться к той сфере, где он может быть «истинно полезен отечеству», улучшать положение солдат, порядок дел в армии в той степени, в какой это от него зависит.

Таков был спор, один из множества подобных споров, происходивших в то время в России, и данная его версия не слишком отличалась от тех немногих, которые нам известны.

Трудность положения Киселева заключалась в том, что в итоге он оказался посвящен не только властями, но и теми, кто собирался против них. Вопрос в том, насколько далеко заходили предложения последних. То, что Орлов предлагал — вне сомнения. Но Орлов был близким другом и с ним можно было быть откровенным во всем. А вот подчиненные «молодые якобинцы»? Якушкин уверен, что Киселев все знал о Тайном обществе, но смотрел на это сквозь пальцы. Так ли?

В историографии приводится цепь противоречивых, как кажется исследователям, поступков Киселева, вытекающих якобы из «неразрешимой двойственности его социально-политической позиции» (Н.М.Дружинин). Он покровительствует Пестелю и иже с ним, а в то же время следит за неблагонадежными в армии (т. е. и за ними тоже? Тогда не благодетель, не покровитель, а провокатор!); дружит с Орловым, но энергично расследует «Камчатскую историю» (о ней ниже), добиваясь отставки Орлова; обнимает Басаргина, которого через несколько часов арестуют и отправят в Петербург, и уверяет его в своей неизменной любви и т. д.

Неужто объятия Иуды? Конечно, нет.

Киселеву вообще гораздо раньше многих современников пришлось начать репетицию страшных дней конца 1825 — начала 1826 гг., когда 14 декабря, пропахавшее по живому, по живой ткани, разрывало узы кровные, дружеские семейные, и каждый, точнее, очень многие решали для себя на практике вопрос о том, есть ли противоречие между «дружбой» и «службой». А тогда, в 1819 г., была уникальная, никогда более не повторившаяся в истории русского освободительного движения ситуация: власть знает о заговоре, но не репрессирует, и не началось еще Размежевание. Все воспринимают друг друга еще только через призму боевой, бивачной, гарнизонной дружбы, и факт некоторых вольностей в разговоре отдельных знакомых еще не наделен той невеселой значимостью, которую он получит позже. Ведь это время, когда П.М.Волконский, один из первейших сановников империи и друг царя, пишет: «Весьма рад, что Миша мой Орлов женится; надеюсь, что после того остепе-

нится, я его люблю и сожалею, что ветреностию своею и легкомыслием он много делает себе вреда, тогда как у него душа и сердце предобрые и благородные чувства, но язычок проклятый не может удержать, воображая, что все, что он говорит, есть свято и что все должны быть с ним одного мнения»⁵.

Никогда уже потом не будет настолько массовых неформальных связей будущих жертв, палачей, пособников и зрителей.

«Миша мой Орлов — душа и сердце предобрые...»

«Утопия будет всегда мечтою доброго сердца...»

Всегда ли?

«Чего хотят сии злодеи?»

Каков век?

Н.М. Карамзин

В июне 1819 г. вспыхнуло восстание поселян в Чугуеве, подавленное с необычной даже по аракчеевским меркам жестокостью: 2000 арестованных, 275 человек, приговоренных к 12 тыс. ударов шпицрутенами (по другим данным — 204 человека), 25 умерших от побоев, несколько сот сосланных в Оренбургский корпус. Эта зверская по тому времени расправа вызвала возмущение, далеко выходявшее за пределы декабристского круга. Закревский писал Киселеву: «О чугуевских веселостях мы давно знаем, ибо 4 полка из 1-й армии пошли туда на помощь. Змей также туда отправился... Признаться надо, что он единственный государственный злодей»¹.

«Незавидное положение гр. Аракчеева, — пишет Ермолов, — усмирять оружием сограждан. Я подобное дело почел бы величайшим для себя наказанием»².

Аракчееву оставалось 6 лет власти, и не Чугуевым кончаются его «веселости».

* * *

Летом 1820 г. Александр I обозревал войска и военные поселения в ряде губерний Центра и Юга страны. Впе-

чатления Волконского, который в таких случаях всегда «ретранслировал» мнения царя прямо-таки радужные: «Поселения идут очень хорошо, деревни отстраиваются и содержатся в удивительной чистоте и порядке, из кантонистов выйдут удивительные не только солдаты, но и отличные офицеры». Словом, полная идиллия, совсем «как при покойной бабушке» императора, путешествия которой по этим же примерно местам обогатило человечество бессмертным афоризмом о других деревнях, тоже быстро (возможно, даже чересчур!) строившихся и тоже блиставших чистотой за неимением времени запылиться.

Но сходство здесь, конечно, чисто внешнее. Ибо на «потемкинских деревнях», были ли они декорацией или нет (а историки этот вопрос не решили) — отблеск веселого водевильного розыгрыша. Аракчеевские же поселения слишком реальны, и чугуевские, и иные «веселости» разыгрываются совсем не в жанре водевиля.

В письме, написанном из Чугуева 31 июля 1820 г., Волконский между сообщениями о том, что в «Курске кирасирский смотр был отличный, не дурны были также смотры и в Козлове, и Воронеже» и что «жары необычайные стоят, и сил нет переносить, а смотры и балы замучили», замечает: «Местоположение Чугуева прекрасное, но город более похож на деревню». О прошлогоднем восстании, понятно, ни слова. Но, видимо, есть своя невеселая символика времени в том, что именно в этой, вошедшей в историю как образцовая, аракчеевской деревне царем подписан указ о награждении палача восстания на Дону Чернышева «Александровской лентой за усмирение»³.

Справедливости ради надо заметить, что через четыре года Волконский, уже побежденный Аракчеевым

и отставленный от прежней должности, получил возможность сравнить «показуху», которой встречали царя и его самого, с некоторыми реалиями российской действительности. В июне 1824 г. Денис Давыдов поделился с Закревским впечатлениями от встречи с полуопальным «Петраханом» и в том числе сообщил следующее: «Ездив всегда с Государем, для коего и украдкой от коего, несмотря на рабочее время губернаторы выгоняют целые губернии для работы дорог, Волконский теперь увидел во всей наготе дороги, по коим мы, грешные, ездим, или лучше сказать, кои мы, грешные, объезжаем, ибо ездить по ним нет возможности. Словом, он выехал из Москвы в Суханово верхом...»⁴.

Летом 1820 г. радость Волконского омрачает одно важное для него обстоятельство. «Быв в Вознесенске, имел я случай видеть детей своих, которые приехали ко мне из Одессы с женою, и к крайнему сожалению видел, что они потеряли весьма много времени в лицей в науках, и гораздо менее знают, нежели кантонисты гр. Витта, кои из мужиков; не могу вам изъяснить, сколько сие меня огорчило», — жалуется он Закревскому. Теперь Волконский собирается отправить детей за границу, чтобы там они получили «нужные знания и переменили бы заключение мое на их счет», — продолжает он, однако признается, что боится посылать их в Париж «по беспрестанным там раздорам». Ведь только накануне получено известие о заговоре против Бурбонов. Заговорщики намеревались выслать королевскую семью за границу, а королем провозгласить сына Наполеона при регентстве Евгения Богарнэ. Выдали их солдаты, 35 офицеров уже арестовано, но последствия пока неясны. «Все сие, — заключает Волконский, — заставляет сомневаться, чтобы покой

остался надолго во Франции, и не только в одной, но и в других государствах, ибо и в Италии идет все не хорошо».

Письма почтенного «Петрахана» частенько предстают таким слабоуправляемым «потокосознанием», и в них попадаются удивительно безыскусные переходы от «вселенских судеб» к, условно говоря, носовым платкам. Но в этом письме, действительно, странным образом оказываются связанными и кантонисты «из мужиков», посрамляющие своими знаниями недоучек-князей, выпущенных из Одесского лицея — будущего Ришельевского, и заговор бонапартистов против Бурбонов (и их первого министра — того же герцога Ришелье), и судьбы европейской революции.

«Признаюсь, что мы живем в весьма трудном веке, и нельзя понять, чего хотят сии злодеи. Процесс королевы в Англии также не делает чести ни ей, ни королевству, и также, думаю, хорошо кончиться не может. Как и у нас в числе молодежи, особенно петербургской, есть чрезвычайно много вскруженных голов, то я писал сегодня к Васильчикову, чтобы он имел за ними неослабный надзор, и вас прошу приложить всемерное наблюдение за всеми их поступками, и особенными собраниями их между собою. Нужно бы завести доверенных людей, кои бы старались быть вхожи в таковые собрания, дабы более иметь сведений об оных и предупредить могущее случиться какое-либо зло»⁵, — завершает он это письмо.

Так и хочется объяснить князю Петру Михайловичу, «чего хотят сии злодеи». Но, думается, это не было секретом для него. Тут, скорее, крик души — неужели все еще мало? Народы, однако, иного мнения. Им не нужны правители, приезжающие в обозе завоевателей,

не нужна власть, которая держится иноземными штыками, и не могут они испытывать уважения к такой власти. Выясняется, что нельзя объявить народ счастливым и обязанным покорствоваться новым установлениям, сделав вид, что не было страшного 25-летия. Но и Волконскому, и его господину, и многим другим все еще кажется, что это только нарушение нормы. Они не могут выйти из привычных понятий феодального «способа мышления» и потому им тяжело увидеть и понять. Легче назвать трудным век и объявить его виновным в «кружении голов».

А век не трудный — он другой.

Франция, Италия, Англия, Россия (а в скобках Испания, где революция в разгаре). Впечатляющая панорама кризиса. И надо брать меры в отношении гвардейской молодежи, зараженной «французской болезнью» (выражение П.А.Вяземского). Волконский, как мы видим, беспокоится о заведении агентуры в гвардии. Пока на дилетантском уровне (впрочем, для доноса не требуется специального образования, это еще в ту пору доказали Грибовский, Майборода, Бошняк и Шервуд). Закревский сразу и категорично отказывается от участия в установлении слежки за офицерами, ибо нельзя так унижать офицерское звание, недвусмысленно сообщает он Волконскому.

Но «могущее какое-либо зло» случилось очень скоро.

Мирный бунт

Вестница судеб, Семеновская
история...

Н. И. Греч

«Почтеннейший князь Петр Михайлович, происшествие, случившееся в Семеновском полку, всех здесь огорчило, но должен сказать, что сему не иная есть причина, как совершенное остервенение противу полковника Шварца, и других побочных причин совершенно никаких нет, разве военный суд... не откроет ли чего... Знаю, что вы с Государем примете сей случай с большим неудовольствием и весьма справедливо. Но делать нечего, и мера, взятая с сим полком была необходимая... Прощайте, будьте здоровы, веселы», — так 19 октября 1820 г. началась многомесечная переписка Закревского с Волконским по поводу восстания в Семеновском полку¹. Легко представить как «веселились» император и Волконский в конце октября — начале ноября 1820 г. Заключение письма вышло у Закревского почти издевательским, ненамеренно, конечно.

Событийная канва восстания хорошо известна, что дает нам возможность не останавливаться на ней и ото-слать читателя к прекрасной книге Вл. Лапина «Семеновская история» (Ленинград, 1991). Напомним лишь, что после заграничного похода в Семеновском полку

установился особый психологический климат (впрочем, и это относится почти ко всей гвардии), были уничтожены телесные наказания, отношения между офицерами, среди которых были, в частности, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, и солдатами резко диссонировали с палочным режимом, господствовавшим в армии в целом. Новый командир Семеновского полка, полковник Шварц, снова ввел телесные наказания, издевался над солдатами, заставлял их плевать друг другу в лицо и т. д. С 1 мая по 3 октября 1820 г. по его приказу было наказано 44 солдата, получивших в сумме 14250 ударов. 16 октября вечером головная «государева рота» самовольно собралась на переключку, вызвала начальство и принесла жалобу на Шварца. Роту обманным путем увели в манеж, там арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. Тогда поднялся весь полк. Военным властям Петербурга удалось его арестовать и посадить в крепость.

Сейчас нас прежде всего интересует реакция наших героев на «Семеновскую историю». Но прежде заметим, что назначение командиром старейшего полка русской армии (шефом семеновцев был сам царь) Шварца, который довел в 4 месяца эту примерную во всем часть до восстания, нужно рассматривать не только как этап усиления аракчеевского режима (Шварц был креатурой «Змея»). Одновременно это была и определенная веха в «тихой» борьбе Александра с «молодыми якобинцами». Гвардия, по его мнению, была распущена чересчур мягким управлением таких командиров как Потемкин, Сазонов, Розен. Царь, насколько можно судить по письмам Волконского Закревскому, прямо связывал рост числа «вскруженных голов» с той психологической атмосферой, которая

была привезена из заграничного похода русской армии. Тут требовались радикальные перемены. В марте 1820 г. был заменен целый ряд полковых командиров, причем новые имели весьма специфическую известность. Закревский писал Киселеву в марте 1820 г.: «Признаться тебе должен, что не понимаю нынешнего назначения полковых командиров... В Семеновском — Шварц, в Преображенском будет Пирх, в Измайловском — Мартынов и в Московском — Фридерикс. Я говорил о сем Васильчикову, и он мне ничего не мог, кроме, что Государю угодно. Ни в чье командование корпусом гвардейским не назначали таких командиров, как теперь, и полагаю, что с сего времени гвардия будет во всех отношениях упадать, кроме ног, на кои особенное обращают внимание... Скажи же по совести, что ноги без головы, куда же годятся... Я думаю, что никогда не должно было так заниматься, как теперь, гвардией, и иметь хороших начальников, к которым бы имели уважение. Война, и гвардия наша будет пренесчастливая». А вот как Д.В.Давыдов сообщал Закревскому о выходе в отставку в том же марте 1820 г.: «Наконец я свободен: учебный шаг, ружейные приемы, размер пуговиц изгоняются из головы моей! Шварцы, Мартыновы, Гурки и Нейдгардты торжествуйте, я не срамлю ваше сословие! Слава Богу я свободен!»

Однако для царя именно в этом был их «плюс». Последствия не заставили себя долго ждать. Полк, в котором Александр многих солдат знал по имени, восстал.

Это, кстати, была уже не первая «история» в Семеновском полку. Первая случилась летом 1812 г. в разгар отступления. Полком с 1809 г. командовал полковник К.А.Криднер, «грубый человек, который не пропускал

дня, чтобы кого-нибудь не допечь» из офицеров. 8 июля 1812 г. дело дошло до открытого столкновения. Криднер заявил одному из офицеров, Храповицкому: «Вы перед взводом идете, как кукла». Участник этих событий, капитан Павел Пущин (будущий член «Союза Благоденствия», тогда командир роты) записал в дневнике: «Порешив проучить командира, все офицеры батальона постановили отправиться к нему и объявить, чтобы на будущее время он предъявлял какие угодно строгие требования, но чтобы никогда не осмеливался говорить дерзости офицерам». Локализовать скандал не удалось. 9 июля уже все офицеры-семеновцы объявили своим батальонным командирам, что хотят «потребовать у... Криднера довести до сведения великого князя (цесаревича Константина — *М.Д.*), что офицеры, не имея возможности долее терпеть грубого с ними обращения командира, ходатайствуют, чтобы его обуздали». Характерно, что по замечанию Пущина, «была всеобщая радость, несмотря на то, что дело могло принять дурной оборот». Еще бы, за такие действия в военное время легко было лишиться не только эполет. Об этом, в частности напомнил офицерам на другой день сам цесаревич, апеллировавший к их патриотизму, к их любви к своей особе. Очень показательно, что семеновцы решили действовать вместе до конца («Мы порешили не оставлять наших товарищей и во всем разделить их участь!»); то есть в подобных случаях русские дворяне вели себя так же, как солдаты и крестьяне. После отъезда Константина Павловича произошла новая вспышка. В итоге Криднер счел за лучшее сказать больным, а полк возглавил полковник Посников. Но история этим не закончилась.

Приехав в армию император в декабре 1812 г. объявил свое неудовольствие Посникову и сообщил, что «если в настоящее время он не налагает взыскания на главных зачинщиков, то только благодаря великому князю, которому он обещал это, и кроме того,.. Криднер, покинув армию, связал его своим недостойным и низким поступком». Батальонный командир Храповицкого получил армейский полк, «чтобы он, отличившись, мог оправдать... снисхождение» царя. Семеновцев возглавил Потемкин. Показательно, что Александр заявил, что расформировал бы полк, не глядя на то, что «это полк Петра Великого», если бы не указанные выше причины, и что семеновцам «много и много надобно служить, чтобы заставить... забыть происшедшее»². Уже в марте 1813 г. в Польше полк провел учения в его присутствии. Царь остался доволен и, пишет Пущин, «сказал, что теперь нам прощает все, в чем перед ним провинились, поступив нехорошо с Криднером».*

На этот раз он прощать не собирался. Он так и не поверил в случайность этого мирного бунта. Правительство упорно искало следы подрывной деятельности. Обнаружить их не удалось, но убеждение в том, что она имела место осталось. Обвинение пало прежде всего на офицеров, которые якобы намеренно не мешали Шварцу истязать солдат с тем, чтобы вызвать

*) Пущин саркастически замечает: «Мы, несчастные, думали, что нам придется бить неприятеля, чтобы достигнуть прощения, упустив совершенно, что одно удачное учение заменит по меньшей мере одну победу. Доказательство — то, что Бородинское сражение и вся бессмертная кампания 1812 г. не могли расположить к нам его величество настолько, как парад в Калите» (Дневник Павла Пущина, Л., —. 1987. С.93).

скорейший взрыв, и которые открыто в присутствии солдат высказывали свое негативное отношение к Шварцу.

Волконский, разумеется, солидарно с императором прямо считал, что «полк погиб от ошибок» военных властей столицы и обвинял прежде всего Васильчикова и Бенкендорфа, начальника штаба гвардии. Если бы они действовали с самого начала иначе, дело окончилось бы мелким конфликтом. Закревский пытался защищать их, но весьма неуклюже. В ответ на заявление Волконского, что «несчастье полка произошло от того, что Бенкендорф потерялся на первом допросе», он писал: «Я не полагаю, что Бенкендорф потерялся, ...он, мне кажется, просто (!) не умел прилично действовать; он не знает достаточно русского солдата, не умел хорошо объяснять по-русски, и не знает какими выражениями (!) и какой твердостью должно говорить с солдатом, чтобы заставить себя понимать и повиноваться»³. Прекрасная характеристика! Осталось только выяснить, каким образом подобный человек оказался на должности начальника штаба российской гвардии. Реакция Ермолова, как обычно, была содержательна и точна: «Пречудесные проказы сделались у вас в Семеновском полку и справедливо огорчится Государь... Надлежало при самом начале, когда одна еще рота объявила неудовольствие, не выводя из происшествия никакой важности, командующему корпусом дать оклик роте и человек пять-шесть передрать розгами, хотя бы в число то попались и не самые виновные. Таким образом не *было бы* огласки». Если Шварц виновен — отстранить его от командования под предлогом болезни до приезда императора. «Весьма странно целую роту посадить в крепость и, конеч-

но, это верное средство возбудить в целом полку ропот и негодование. А что целый баталион посадили, то кто ни узнал о сем, первое чувство — хохот! Это не самая мудрая мера!... В какое трудное Государь приведен положение. Наказывать большое число не ловко, не наказывать нельзя, ибо примеру сему последуют другие... Но это не последняя в гвардии мерзость, если будут полками начальствовать Шварцы и им подобные. Солдат видит, что офицер не может иметь уважение к такому полковнику. Офицеры не могут, а быть может даже и не хотят скрывать того, и солдат почерпает вредный пример разврата... Воля ваша, но, по крайней мере, в гвардии надобно начальников людей благовоспитанных, а не таковых, кои, окончив подвиги свои на плац-параде, никакого после того внимания к себе не внушают и спасаются от явного презрения несколькими золотцем на плечах наклепанным»⁴. Ермолов из Тифлиса видел то, что осталось незамеченным в Петербурге. Итак, в оценке Семеновской истории наши герои едины. Шварц — мерзавец, но это не имеет отношения к проблеме воинской дисциплины: армия не может исправлять ошибки командования неповиновением, тем более коллективным, иначе она перестает быть армией.

Семеновская история как бы сфокусировала основные проблемы армейской жизни того времени. Из них одна носит, так, сказать, методологический характер — проблема воинской дисциплины. Это вечный сюжет для всех армий. Каким образом следует добиваться повиновения? Как воспринимать подчиненных — как партнеров по выполнению долга или как сборище разгильдяев, которое нужно заставлять выполнять элементарные обязанности? Вопрос, повторим, непрехо-

дящий. Для России того времени он как будто был решен — после 1815 г. в армии воцарился аракчеевский режим (кстати, сам Аракчеев имел к этому достаточно косвенное отношение, но какова сила социальной репутации!). Однако картина, рисуемая источниками, сложнее, и вся мера этой сложности пока не очень понятна.

Вопреки нашим представлениям о жестокой дисциплине, которые стали общим местом в историографии (исключение — та же книга Вл.Лапина), в письмах Закревского постоянно звучит беспокойство о том, что дисциплина в армии падает.

«Давно замечено, что в гвардии и армии нашей поселилось бабство и странная мягкость, вовсе не приличествующие качества в войсках». Если сначала Закревский возмущение семеновцев относил только за счет жестокости Шварца, то затем мнение его меняется (притом без необходимости лицемерить): «Участь Семеновского полка решена довольно милостиво, но офицеры сего не заслуживают; они всему причиною и прежнее доброе или слабое правление. Вот единственная причина сего происшествия... Солдаты сего полка слабым управлением до того были доведены, что не желали исполнять свои солдатские обязанности без всякой на то жестокости. После сего чего бы ты мог от них ожидать?» — писал он Киселеву в декабре 1820 г. В мае 1821 г. он сообщает ему же, что «у нас по милости полковых и дивизионных командиров так часто бывают в полках гвардии происшествия, что пятую неделю пишем с фельдъегерями к Государю об оных. Воображаю, как ему приятно такие вести получать. По приезде Государю надо сим заняться и дружбу переменить на строгость, а любезность, с фальшивостью со-

пряженную, совсем истребить»⁵. Что имеется ввиду — понятно. В письме кн. Волконскому Закревский говорит, что офицеры семеновцы, видимо, высказывали недовольство Шварцем в строю при солдатах, подавая последним дурной пример «неуважения к начальству», а в итоге и сами не смогли на них воздействовать в нужную минуту. «Я не оправдываю и полковых командиров в гвардии: они излишнею деликатностью своею, мне кажется, распустили офицеров до того, что они не имеют вовсе уважения к начальству. Каждый гвардейский офицер (с последнего прапорщика начиная) почитает себя вправе рассуждать о всяком распоряжении начальства, осуждать оное и, сделав свои заключения по оному, развозить по городу со своими примечаниями». Таких «болтунов» нужно выписать в армию с тем же чином, объявив об этом в приказе по гвардии: «Сие тем более полагаю я нужным, что дух, ныне царствующий в Европе, сильно поражает слабые их умы и заражает их; они, напившись оным, первую обязанность себе поставляют опорочивать все распоряжения и действия начальников и об оном говорить во всех собраниях». Однако причину Закревский видит не только в «духе времени». Отсутствие императора в столице стимулировало повышение чувства собственной значимости у петербургских военных властей. В январе 1821 г. он пишет Волконскому, что «дух единомыслия» в военной верхушке «исчез совершенно»: «Лица, которых мнения имеют большой вес в публике и влияние на умы, говорят против некоторых распоряжений корпусного командира. В сем участвуют и статские, не имеющие понятия о том, что значит военное непослушание... Не нужно вам говорить, сколько вредно такое разномыслие, особливо в отсутствие Государя, и

что оно, внушая неуважение к власти корпусного командира, делает вместе с тем пагубное впечатление в войсках и в публике... Кроме весьма дурных следствий, особенно для службы, другого от сих неуместных разговоров ожидать нельзя». В первую очередь Закревский имеет ввиду Милорадовича, военного губернатора столицы. Но и другие генералы ведут себя не лучшим образом. Так, за обедом у императрицы Елизаветы Алексеевны поссорились генерал Толь и граф Орлов-Денисов. Волконский совершенно справедливо писал: «Не поверите, как мне больно было слышать об истории, происшедшей за столом у Императрицы между генералами. Какой пример господа сии дают молодым офицерам, и можно ли до такой степени забыть уважение, которое обязаны они хранить к особе той, куда были приглашены...» Волконский занимает жесткую позицию, он хочет знать имена всех, кто больше других говорит «пустые вздоры и выпускает разные толки противу правительства... Лучше, чтобы потерпело несколько человек злых, нежели тысячи добрых и невинных»⁶. Закревский же был противником «наказания... по одним словам, без всякого доказательства», — это было бы «совершенно несправедливо и послужило бы не к исправлению других, а более к раздражению умов». В феврале 1822 г. он пишет Киселеву, что «если у нас есть много молодежи распущенной в войсках и потеряна дисциплина, то в сем никто более не виноват, как начальствующие войсками, которые не так служат, как *должно* благородному и с чувствами человеку, а ведут себя некоторые несвойственно их званию. А здесь чума сия в полной мере поддерживается и сим совершенно расстраивает порядок и дисциплину; а неуместная строгость, несообразная вине, *более* делает вреда, не-

жели пользы»⁷. Итак, ситуация в гвардии в первом приближении как будто ясна: атмосфера 1812 — 1814 гг., которую пытались сохранить в последующие годы, оказалась неподходящей для мирного времени, каким его хотело видеть правительство; офицеры разбалованы (солдаты тоже), а генералы подают дурной пример. В армии же картина схожая, но, кажется, по другим причинам. В 1822 г., когда царь отказался отправить Д.В.Давыдова на Кавказ, к Ермолову, тот писал Закревскому» что «обращается к сохе», ибо во внутренней России не пойдет служить ни начальником корпусного штаба, ни командиром бригады или дивизии: «Места сии сделались весьма опасными: они между своевольством, вкравшимся в класс штаб- и обер-офицеров, и неограниченной власти главнокомандующего. Сам Рот (дивизионный, затем корпусной командир — М.Д.) коего нельзя упрекнуть в человеколюбии, сам Рот сносит от подначальствующих своих оскорбительные поругания... Любя славу Царя и отечества, сердце разрывается видеть армию нашу в таком положении! В ней грубость начальников и непослушание подчиненных заменили благородное обхождение первых и субординацию последних»⁸. Это мнение достоверно. Достаточно вспомнить всю цепочку событий, приведших к дуэли Киселева и Мордвинова, да и саму дуэль! Командир Одесского полка, подполковник Ярошевицкий, «грубый, необразованный, злой», был ненавидим всем полком, «начиная от штаб-офицеров до последнего солдата». «Наконец, вышедши из терпения и не будучи в состоянии сносить его дерзостей, решились от него избавиться. Собравшись вместе, офицеры кинули жребий, и судьба избрала на погибель штабс-капитана Рубановского. На другой день назначен был дивизи-

онный смотр... Рубановский с намерением стоял на своем месте слишком свободно и даже разговаривал. Ярошевицкий, заметив это, подскакал к нему и начал его бранить. Тогда Рубановский вышел из рядов, бросил свою шпагу, стащил его с лошади и избил так, что долгое время на лице Ярошевицкого оставались красные пятна». Рубановского разжаловали и сослали в Сибирь. Но Киселев выяснил, что бригадный командир Мордвинов узнал о заговоре офицеров, однако устранился. Киселев сказал ему, что будет советовать Витгенштейну снять его с должности, что и случилось. Следствием был вызов Мордвиновым Киселева на дуэль, что одобрял, кажется, один А.С.Пушкин. Князь Волконский с присущим ему здравомыслием прокомментировал эту историю: «После сего, кому охота быть начальником, ежели всякий подчиненный будет требовать объяснение за дело по службе»⁹. Происшествие в Одесском полку — далеко не единственное в этом роде. Правительство где-то упустило, скорее всего ненамеренно, важнейший факт — офицерский корпус в лице своих лучших представителей вернулся с войны другим. В данном случае имеется в виду вовсе не «французская болезнь», не тяга к «представительному правлению». Чувство собственного достоинства, которое, несомненно, проявлялось офицерами и раньше, достаточно вспомнить самоубийства павловского времени, стало выражаться теперь все чаще коллективно; впрочем, ситуацию XVIII в. в этом смысле мы представляем пока плохо. Но о развитии корпоративного чувства у офицеров русской армии говорит не только Семеновская история 1812 г., но, скажем, и такой эпизод. После кампании 1807 г. все офицеры Выборгского мушкетерского полка прислали назад пожалованные им золотые кресты за Прейсиш-Эйлау

с рапортом, заявив, что пока не наградят их однополчанина капитана Тимофеева, они награду не примут. Своего рода эпиграфом к возмущению семеновцев стало происшествие в Измайловском полку (сентябрь 1820 г.). Бригадный командир великий князь Николай Павлович приказал полковому командиру Мартынову после развода заняться муштровкой офицеров, которые, по его мнению, были плохо подготовлены для фронта. Те возмутились, и «ежедневно трое подавали прошения об отставке, по очереди и по жребию». Васильчиков убедил Николая извиниться, после чего офицеры взяли свои прошения обратно¹⁰. Об одном из генералов Закревский писал Киселеву так: «Ты желаешь иметь мое мнение о Маевском. Должен сказать, что он храбрый офицер, но характер имеет несчастный. Из одной бригады его карабинерной 40 штаб- и обер-офицеров подали в отставку. Часть оных уже прислана ко мне, но Дибич... просит оные остановить. Он послал уговаривать отличных офицеров, дабы остались в полках, но не знаю, какой будет успех»¹¹. Число подобных примеров можно умножить, но в этом едва ли есть необходимость. Ясно одно — что ужесточение дисциплины, переходящее в унижение личности, несовместимое с понятием о личной чести не повышало уровня субординации, но прямо вело к обратным результатам. И дело, как мы видели, не ограничивалось «оскорбительными поношениями» начальника-хама. Он рисковал большим. Напомню, что сказал Киселев после дуэли с Мордвиновым: «Воля Царская, и я готов пожертвовать местом за честь свою, которую в жертву принести не могу».

Вышесказанное подтверждают и другие свидетельства. Среди бумаг гр. А.Х.Бенкендорфа содержалась «Записка о состоянии русского войска в 1825 году», ос-

новые положения которой, несомненно, относятся ко всему периоду 1815—1825 гг. Автор ее говорит, что с внешней стороны (обучение, парады, маневры) русская армия вне конкуренции. Однако ее внутреннее состояние весьма далеко от совершенства. Основные причины этого: «отсутствие должной энергии у генералитета, неудовлетворительный состав корпуса офицеров, пренебрежение начальными подчиненности и незнание служащими своих прав и обязанностей».

В армии отмечается упадок дисциплины. Нередко начальники дивизий вместо того, чтобы наказать офицера за упущения по службе, говорят им: «Смотрите, чтобы вас не увидел корпусной командир». Боязнь генералов «сделать несчастными подчиненных» — «один из важнейших «бичей» русской армии. Отсюда вытекает «вопиющая безнаказанность виновных», которой могло бы не быть при «некоторой энергичности» начальников. Но последней трудно ожидать от людей, ставших генералами в основном в преклонных годах за выслугу лет, а не за отличие — это люди «с утраченными физическими и душевными силами». Их бездействие не только унижает их самих, они «роняют достоинство того небольшого числа генералов, которые по своему «благородству не могут следовать несовместной с их званием системе малодушия. Об этом меньшинстве в среде генералов, к их невыгоде, составляет мнение, как о каких-то тиранах. «Страсти разгораются: этим энергичным генералам повинуются только нехотя; наказания учащаются, а вместе с тем увеличивается ненависть к начальнику, не имеющему, однако, другой вины, кроме желания заставить уважать свое положение».

Касаясь второй причины падения дисциплины, автор указывает на то, что «полковые командиры не имеют должного влияния на подчиненных офицеров и, не будучи полными хозяевами в деле пополнения офицерского состава, не могут в необходимой мере нести за них ответственность». «Пренебрежение началами подчиненности» в «Записке» трактуется как распространенная практика передачи приказаний не по нисходящей (в порядке подчиненности), а непосредственно «через голову» промежуточных начальников. Например, начальник дивизии, делающий выговор полковому командиру непосредственно, дискредитирует тем самым бригадного командира¹²; вспомним реакцию Сабанеева на действия инспектора полковника Киселева. Боязнь «сделать несчастными подчиненных» — действительно весьма устойчивый стереотип мышления русского офицерства. Ее можно интерпретировать и как «систему малодушия», и как свидетельство благородства командира. Давыдов, например, ставит в заслугу Суворову то, что он «не сделал несчастным ни одного чиновника и рядового». Но автор «Записки» прав в том, что эта боязнь нередко оборачивалась попустительством подчиненным. Где же грань? Кажется, ее *довольно точно* определяет тот же Давыдов: «Напрасно думают, что лишняя строгость нестерпима, нет; нестерпимо несправедливое варварство, капризы и пристрастия, вот что нестерпимо! А Рот этого дела мастер... Боюсь распространяться на сей счет, ибо, право, волос дыбом становится, как подумаешь о несчастных, ему пожертвованных»¹³.

Идеал

В это время здравствовал еще знаменитый Румянцев, некогда начальник Суворова, и некоторые другие вожди, украшавший век чудес — век Екатерины; но блеск имен их тонул уже в ослепительных лучах этого самобытного, неразгаываемого метеора...

Д.В.Давыдов

В обращении с подчиненными не подражал он иностранцам, у которых младший видит в начальнике своем строгого неумолимого судью, но подражал генералам века Екатерины, которые ласковым обращением с русскими офицерами, служащими из чести, подвигали их на великие предприятия.

А.И.Михайловский-Данилевский

Идеал наших героев находился в недавнем прошлом и персонифицировался, конечно, в А.В.Суворова, «представителе всей военной славы нашего отечества, сем единственном состязателе военной славы Фридерика и Наполеона». Армия Суворова — это идеальная русская армия, а сам Суворов — идеал военачальника.

В нескольких предложениях Д.В.Давыдов сформулировал концепцию этой армии, концепцию, которая разделялась его единомышленниками: «Когда и по сию пору войско наше многими еще почитается сборищем истуканов и кукол,двигающихся по средству одной пружины, называемой страхом начальства, — он, более полустолетия тому назад, положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение. Он уверился, вопреки мнения и того и нашего времени мни-

мых наблюдателей, что **русский солдат**, если не более, то, конечно, **не менее всякого иностранного солдата, причастен воспламенению и познанию своего достоинства**, и на этой уверенности основал образ своих с ним сношений. Найдя повиновение начальству — сей необходимый, сей единственный склей всей армии, доведенным в нашей армии до совершенства, но посредством коего полководец может достигнуть до некоторых только известных пределов, он тем не довольствовался. Он удесятирил пользу, приносимую повиновением, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской гордости и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в мире, — чувством, которого следствию нет пределов»¹ (выделено мной — *М.Д.*). Не нужно специально пояснять, что чувство «превосходства... над всеми солдатами в мире» обычно возникает у армии, которая доказывает это делом, которой командует великий полководец.

Наши герои были и в этом смысле воспитаны русским XVIII веком, притом что только Сабанеев и Ермолов служили действительную в то время, правда, успев повоевать под началом Суворова. Время Александра I может называться переходным между екатерининским и николаевским в данном аспекте, но кажется, что только потому, что в 1805—1814 гг. шла перманентная война, неизбежно повышающая число степеней свободы или, что то же самое, «портящая война». (Эту фразу Д.В.Давыдов приписывает цесаревичу Константину Павловичу.) Можно сомневаться, что наши герои сделали бы свои карьеры, т. е. добились бы положения, которое занимали, в мирное время, видимо, за исключением Воронцова и Киселева. Они были, не теми людьми, которых цари ценят в мир-

ное время. Напомню, что говорил Закревский о Сабанееве — отличный генерал для войны. Это проблема вечноострая для всех армий.

И идеал отношений между начальниками и подчиненными также исходил из лучших образцов XVIII века. Вот что писал Ермолов о том, кто для него, как и для тысяч русских воинов был эталоном командира, — кн. П.И.Багратионе: «Обязательный и приветливый в обращении, он удерживал равных в хороших отношениях, сохранил расположение прежних приятелей. Обогащенный воинской славой, допускал разделять труды свои, в настоящем виде представляя содействие каждого. Подчиненный награждался достойно, почитал за счастье служить с ним, всегда боготворил его. Никто из начальников не давал менее чувствовать власть свою; никогда подчиненный не повиновался с большею приятностию. Обхождение его очаровательное!»² Д.В.Давыдов говорил, что кн. Багратион «умел всегда сохранить преимущества своего сана без оскорбления чьего бы то ни было самолюбия».

Естественно, наши герои в меру темперамента и воспитания реализовывали этот идеал, доказательства чему уже приводились (даже с «ярым» Сабанеевым все не так просто, как писал В.Ф.Раевский). А вот мнения некоторых современников о Ермолове — начальнике. «Я люблю видеть сего Ахилла во гневе, из уст которого никогда не вырывается ничего оскорбительного для провинившегося подчиненного»; «в офицерском кругу был он душою весь нараспашку, здесь не было чинов, и офицеры, забывая их, никогда не забывали, что находятся перед Ермоловым, к которому привыкли питать глубокое уважение, благоговейную любовь и преданность». Показательный эпизод при-

водит П.Х.Граббе. Под Дорогобужем во время отступления в 1812 г. Ермолов послал его к Дохтурову с приказом тому немедленно выступать. Во время поисков Дохтурова, пишет Граббе, «несколько знакомых артиллеристов остановили меня, уговорили, стащили почти с лошади, усадили с собою на траве и подали мне стакан чаю. Все это время я был в каком-то забытии, не размышляя, зачем я тут, не помня, куда послан». «Ос-толбенение» закончилось при громе пушек отступающего русского арьергарда. Граббе бросился исполнять приказ; Дохтуров давно уже ждал его. В Главной квартире недовольный Ермолов спросил Граббе о причинах задержки: «Не зная, что отвечать, я только взглянул на него с смущением. Проницательным и быстрым своим взглядом он всмотрелся в меня и не сказал более ни слова, ни тогда, ни после. К счастью, арьергард не был нисколько задержан; иначе намерение мое было принято загладить ошибку одним средством, которое мне оставалось». Именно такой стиль отношений Давыдов и называет «благородным обхождением»; он при этом совершенно не означает, что начальник потока подчиненным.

При всем том не нужно идеализировать русскую армию XVIII в. Там также была жестокость, которой не может не быть, если кто-то получает возможность безнаказанного издевательства над людьми. Там тоже были поклонники муштры и шагистики. Там исчезали целые рекрутские наборы. В 1795 г., к примеру, из 400 тысяч солдат списочного состава русской армии не хватало 80 тысяч, т. е. 20%. Да, у русской армии XVIII в. было немало недостатков. Но, как точно заметил Вл.Лапин, «следует помнить, что эта внешне несколько расхлябанная армия умело маневрировала,

не боялась недостатка провианта и фуража, смело шла в бой против превосходящего по силам противника». Противопоставление ее армии Павла и Павловичей должно идти не по линии «хорошо-плохо»; и разница была, так сказать, методологическая, — в господствующем подходе. Давыдов ничего не выдумал в той концепции армии, о которой шла речь выше. Вот, что писал гр. С.Р.Воронцов, отец М.С., во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг.: «Если солдаты будут иметь амбицию и будут сохранять строй непоколебимо, то и непобедимы будут от каких бы превосходных сил ни было, и ничто против них стоять не будет. Я разумею, что сии подробные поучения и толкования каждому рядовому господам ротным командирам трудны покажутся, но знаю то, какая великая разница есть командовать людьми, прямо выученными, совершенно знающими долг своего знания и преисполненными благородным честолубием или такими, кои под именем солдата образ мыслей и дух крестьянства сохраняют. Сколь лестно первыми и сколь грустно последними предводительствовать!»⁴ Наши герои думали так же (хотя, естественно, ничего не знали о мыслях гр. С.Р.Воронцова, исключая его сына). Можно вспомнить хотя бы ермоловские приказы войскам Кавказского корпуса, которые он сам называл «римскими» и где обращался к солдатам «товарищи!».

Однако с воцарением Павла I климат в армии изменился. Конечно, сразу «вышибить потемкинский дух» оказалось невозможно, но во многом Павел и его сыновья преуспели. Немало написано о причинах резкого усиления муштры в армии — говорят о семейных пристрастиях, о моде, о том, что это было средством подтянуть дисциплину и даже об окончательном утвер-

ждении абсолютизма, одним из знаков которого и стала парадомания. Для нас сейчас важны следствия, вытекавшие из смены господствующего взгляда на воинскую службу. Они в полной мере проявились в ходе кампаний против Наполеона в 1805—1807 гг. Д.В.Давыдов более чем красноречиво объяснил это при описании Прейсиш-Эйлаусского сражения: «...Стратегические виды решительно пожертвованы были каким-то мнимым тактическим выгодам, основанным на ложном мнении, что русскому столько же необходимо для битвы местоположение открытое, сколько французскому закрытое или изобилующее естественными препятствиями и что, сверх того, войску нашему от малого навыка его к **строеным движениям в боях, выгоднее оборонительное, чем наступательное действие**; как будто за семь лет перед этим при Суворове оно знало не только сущность, а даже название сего рода действия! Как будто бы Альпы с их ущельями, пропастями, потоками и заоблачными высями принадлежат более равнинам, чем закрытым и изобилующим естественными препятствиями местностям! Но таково было рассуждение всех вообще военачальников того времени, и на сем-то рассуждении основана была мысль на открытом местоположении при Эйлау сразиться оборонительно»⁵ (выделено Д.В.Давыдовым).

Итоги 1805—1807 гг. известны, правда, преимущественно политические. Видимо, не менее важны были следствия психологические. Победы французов обескураживали. Аустерлиц переживался очень болезненно; даже десятилетия спустя Ермолов говорил, что россияне не должны забывать позор Аустерлица. Желание отомстить за поражение было общим, об этом говорит множество мемуаристов. Кампании 1806—1807 гг. не могли добавить оптимизма в этом смысле, и успехи в

войнах со шведами и турками утешали слабо. Естественно вставал вопрос о причинах поражений. Бесспорно признаваемая всеми гениальность Наполеона объясняла многое, но не все. Одна из причин была на поверхности. После загадочной смерти восходящей звезды русской армии Н.М.Каменского-младшего Воронцов с горечью и даже не совсем обычной для него злобой писал: «Как мало у нас людей, да и тех теряем; мы на это удивительно несчастливы; дурные же никак не умирают. Граф Сергей Михайлович (брат умершего — М.Д.) здоров, как бык. Колюбакин, теперешний мой дивизионный командир, Палицын, мой бригадный командир, будут жить еще к несчастью нашему 20 лет, и вся армия знает, что они дураки и трусы. Между тем у Колюбакина 18 батальонов в команде; что же мудреного после того, коли французы нас бьют? У них тоже в числе генералов верно есть и плохие; но. таких, которые были бы и дураки и трусы, не может быть: их бы давно расстреляли; или, чувствуя себя, сами бы из службы вышли, боясь худого конца. У нас же их в отставку не пускают, хотя должно бы заплатить еще им за то, чтоб они убрались. Вот главная наша беда, которая еще дорого нам станет. Нельзя все иметь гениев; может быть и во сто лет ни одного не будет; довольно бы и того было, чтобы совершенно недостойных и посрамляющих мундир не терпеть. С нашими солдатами, и особенно с нашими офицерами, коих большая половина герои в деле, этого бы довольно; но по несчастью, почти третья часть наших генералов, особенно в кавалерии, самого простого долга своего не исполняют... Терпения нет, когда *об* этом думаешь. И как про это не думать, если у нас был недавно еще дивизионным командиром Воинов! А теперь такой, которому я бы в своем полку капральства не дал»⁶.

Слова Давыдова о «некоторой уверенности в непобедимости Наполеона, вкравшейся уже тогда в дух большей части войска» объясняют немалую толику мемуаров и писем, относящихся к 1812 г. М.С.Воронцов в своих незаконченных записках мемуарного характера роняет удивительную для его суховатого стиля фразу: «Это может показаться невероятным, что даже при тех серьезных обстоятельствах (дело происходило после Бородина — *М.Д.*), а, возможно, отчасти вследствие их волнующего значения, мы были почти все довольны, веселы и даже ели с большим аппетитом. На самом деле кризисная ситуация нарастала и все мы предчувствовали, что этот кризис может сыграть благоприятную роль в судьбе нашего Отечества; мы сознавали, что так сражались, что французы не могли похвастаться одержанной победой, если бы не обстоятельства, вынудившие нас отступить и покинуть древнюю столицу»⁷. В источниках содержатся десятки замечаний такого рода.

Только Отечественная война 1812 г. и кампании 1813—1814 гг. вернули русской армии то чувство уверенности в себе, которое было ее отличительной особенностью в течение XVIII в. и которое отчасти было утеряно в 1805—1807 гг. главным образом из-за забвения славных традиций Петра I, Румянцева и Суворова. К сожалению, после 1815 г. вновь началось «исправление» войск, «испорченных войной».

Результаты не замедлили сказаться уже во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. и восстания в Польше в 1830—1831 гг. Русская армия шла к Крымской войне.

«Самое трудное ремесло»

Каблуки сомкнуты. Подколенники стянуты. Солдат стоит стрелкой. Четвертого вижу, пятого не вижу...

Умирай за дом Богородицы, за Матушку, за Пресветлейший дом.

А.В.Суворов

Суждения, выводимые из контраста, едва ли не самые впечатляющие. Им так легко стать обиходными! Например, мы давно привыкли делить офицеров того времени на «гатчинцев» — аракчеевцев и «суворовцев». Отправным пунктом этого деления является банальная антитеза: с одной стороны, плацпарады, тупая муштра, Аракчеев, Клейнмихель, Шварц, дрессирующие несчастных солдат на манеже, и «зеленая улица» как апофеоз системы, а с другой — картина Сурикова, где великий полководец символично изображен на донской (по легенде) лошадке среди альпийских снегов, не слишком, впрочем, возвышаясь над своими чудо-богатырями, которые с довольными лицами штурмуют очередную пропасть.

Герои нашего рассказа, как известно, «суворовцы».

Всегда ли мы понимаем, что стоит за этим термином?

Вопрос кажется неуместным, ибо смысловой центр термина, практически не оставляющий места периферии — человеческое отношение к солдатам, всесторонняя забота о них. Но это пока общие слова. А что кон-

кретно подразумевается под ними? Значит ли гуманное отношение, что, например, солдат в армии Суворова не били или что им жилось легко, они не были обременены служебными обязанностями? Отнюдь. «Палочки» использовались, об этом и в «Науке побеждать» говорится. И пословица «Тяжело в ученье, легко в походе» не просто так появилась — служивые представляют, что такое десятки верст с полной выкладкой. Надо помнить, что муштра — это не только универсальное средство приведения солдатских мозгов в единообразное состояние, но и способ занять солдат. Мысль о том, что «безделье мать всех пороков» для армии (и не только армии) весьма актуальна. Вопрос в том, будут ли солдаты заниматься боевой подготовкой, как было при Суворове, или маршировать, как это стало нормой после его смерти, точнее, в конце его жизни. От этого зависит очень много. Кстати, и сам Суворов, как истинно великий человек, не очень похож на то сусальное изображение, которое создано в XX в. преимущественно стараниями советских историков. Ведь упреки Раевского в адрес Сабанеева как «офицера суворовской школы» возникли не на пустом месте.

И все же — «суворовцы».

Мы знаем, что каждый из наших героев по мере сил боролся с «гатчинским наследством», на которое каждый год нарастали большие «проценты». И все же при более подробном рассмотрении эта, казалось бы ясная картина, точнее, «групповой портрет» усложняется.

Вот пространные выдержки из двух документов того времени: Из первого: «Солдатское ремесло было бы самое трудное даже и в то время, если бы каждый из нас более всего заботился облегчить его участь. Дав-

но удивлялся я геройскому их терпению, давно чувствую в полной мере их добродетели. Наконец, случай дал мне повод вникнуть во все подробности солдатской жизни.

Марта 1-го 1810 г., будучи в лагере за Дунаем, по пробитии вечерней зори вышел я из лагеря и сел подле дороги над озером, из коего войска пользовались водою. Вскоре после того увидел я четырех казаков. «Куда идете?» — спросил я их. «В лагерь», — отвечали они мне... Спустя несколько минут показались два егеря с манерками:

— Куда ребята?

— За водою.

— Отчего же так поздно?

— Виноваты; поужинали, пить захотелось.

Великий Боже! помыслил я сам с собою. Отчего виноват тот, кому после ужина пить захочется? Казак и егерь, оба русские, служат одному и тому же Государю. Отчего же казак свободен, а солдат не имеет права пользоваться таковою свободою? Ужель не отягчая участи бедного солдата нельзя соблюсти порядка службы? Ужель позволительная свобода может быть поводом к беспорядкам и неустройству? Я думаю, напротив того, что единственное и надежное средство сбегать армию во всех отношениях состоит в том, чтобы улучшить состояние солдата.

...Солдат отвечает только за себя; между тем от фельдмаршала до ефрейтора все именуются его начальниками, из коих каждый имеет неоспоримое право его бить, как будто бы нет иного способа удерживать войска в должном повиновении. Возможно ли положиться на моральность каждого из начальников, сей длинный ряд составляющих? Никак. Сле-

довательно, польза службы да и самая справедливость требует, чтобы власть некоторых чиновников в телесном без суда нижних чинов наказании имела свои пределы...

До сих пор мера власти в наказании ограничивается двумя крайними пределами: палки и смерть. Последняя не во власти начальника только в отношении ко времени; то есть, кто в один раз убьет, тот *убийца*, а кто в два года заколотит, тот не в ответе»¹.

Из второго документа: «С 18 до 30-ти лет — суть лета, когда человек... принимается на службу военную. И в эти лета вдруг, оставя семейство,... он клянется царю и службе на 25 лет сносить труды и встречать мученья и смерть с **безмолвным повиновением**. Клятва ужасная! Пожертвование, кажется, невозможное.

...Участь его была бы сносною, если б вкравшиеся злоупотребления, основанные на лихоимстве и бесчеловечии, не вырвались бы из пределов своих и не обременили солдата кандалами незаконного насилия... Первое зло, которое вкралось в русскую армию, есть несоразмерно жестокие телесные наказания, которые употребляют офицеры, вопреки всем законам для усовершенствования солдат, и, к несчастью и стыду, других средств большая часть из них не постигает.

...Наши офицеры от чистого сердца верить не могут еще, чтобы солдат мог быть когда-нибудь прав!

Ни один беспорядок в армии не возник собственно от солдат — и либо жестокость или корыстолюбие и неразумие начальников были тому поводом. Русский солдат с каким-то благоговением видит власть и повинует ей безмолвно, но любит видеть власть законную и справедливую... Если бы солдаты были вверены исключительно людям справедливым, благоразум-

ным и образованным, тогда (и то с трудом) побои допустить бы можно было. Но где они?

Участь благородного солдата всегда почти вверена жалким офицерам, из которых большая часть едва читать умеет, с испорченной нравственностью, без правил и ума. Чего же ожидать можно?»²

Очевидно, что люди, написавшие эти фрагменты, — единомышленники. И даже не очень различаются темпераментом.

Однако в марте 1822 г. авторы этих строк, весьма близких по духу, близких неприятием существующей практики обращения с солдатами, встретятся лицом к лицу, но при этом одного приведут под конвоем, а другой будет его допрашивать. Первый отрывок взят из «Мыслей о солдате» Сабанеева, а второй — из «Записки о солдате» майора В.Ф.Раевского, «первого декабриста», арестованного после событий в Камчатском полку. Перед нами как бы увертюра встреч в Петропавловской крепости в декабре 1825 — мае 1826 г., когда люди, придерживающиеся по многим вопросам близких взглядов, а в прошлом иногда просто близкие, будут в разных ролях по разные стороны столов-баррикад. Один из вечных российских парадоксов. Но — только на первый взгляд.

В конце 1821 г. произошла «Камчатская история». Камчатский полк, как говорилось, входил в 16-ю дивизию, начальником которой был М.Ф.Орлов. Один из ротных командиров, Брюхатов, хотел присвоить солдатские деньги, и когда каптенармус отказался ему их отдать, решил наказать его за это палками. Рота просила помиловать его, капитан настаивал на своем, тогда трое солдат отняли палки у унтер-офицеров, которые должны были производить экзекуцию. Ор-

лов приказал произвести официальное расследование и уехал в Киев. Однако случилось так, что следствие взял в свои руки Сабанеев, и одной из первых мер был арест Раевского. Так началось пятилетнее дело Раевского, закончившееся уже после суда над декабристами.

Большой интерес представляет переписка Киселева и Закревского по этому вопросу. Вот что пишет 15 февраля 1822 г. Киселев: «Адамов (командир полка — *М.Д.*) глуп и был причиной требований солдат, а солдаты требовали потому, что распушена дисциплина в 16-й дивизии и что есть люди, которые, может быть, с намерением зло сие усиливали. Они давно под надзором, и вскоре будет расплата. ...Мечтания Орлова хороши в теории, в практике никуда не годны. В службе нет дружбы, а еще менее панибратства. Заставить себя любить забвением обязанностей своих стыдно. Пусть ненавидят, но уважают... Вся его система фальшивой филантропии нам не годится. У меня в батальоне (учебном, при штабе армии — *М.Д.*) не тиранят людей, но палок у унтер-офицеров не отнимают. Одну и ту же цель достигнуть можно разными способами. Он употребил те, которые в России не годятся и зародыш неповиновения оказался... Я с июля месяца ему предсказывал сей случай... Он утверждал, что нравственные способы приличнее и полезнее тех, которые невеждами употребляются, и думал, что с Адамовыми, Брюхатовыми и солдатами нашими красноречивые толки будут иметь успех. Ошибся и сам пострадать может. Сабанеев решительно требует другого дивизионного командира».

Закревский отвечал совершенно в том же духе: «Неужели примеры не могли научить Орлова, как должно

обходиться с нашими солдатами; он, кажется, худо понимает звание нашего солдата. Нежность и приветствие пустое есть вред настоящий для службы, и давать солдату чувствовать, что не может его наказывать унтер-офицер и фельдфебель — значит внушать солдату нашему их не слушать. Живой сему пример любезное обхождение в Семеновском полку довело до какого сраму нашу армию? Наш солдат не есть иностранный, его надо держать в руках и чтобы боялся поставленных над ним начальников, которые имеют право всегда его наказывать; но всегда отпускать все ему принадлежащее и ничего не удерживать, пекись о нем, быть строгу, но справедливу, тогда служба пойдет надлежащим порядком. И буде Орлов иначе думает о нашем солдате, то весьма неосновательно, что легко можно ему доказать»³.

А вот еще одно мнение Киселева: «Орлов должен сознаться, что система его неудобноисполнительная; он корчил Воронцова и позабыл, что тот командовал во Франции, имел средства обширные и со всем тем во многом не успел. Сверх того, добродушие Орлова ему повредило, он мягок для наших офицеров и добр до глупости».

И снова Киселев в споре с Орловым, на этот раз заочном, говорит, что к одной цели можно идти разными путями. И это не риторический оборот: благоденствие России и ее солдат связаны множеством нитей. Киселев и Закревский солидарны в понимании причины возмущения солдат. «Нравственные способы», «нежность и приветствие пустое», а также люди «правил весьма вредных», т. е. Раевский, развратили их, и дисциплина упала до того, что они посмели возмутиться незаконными действиями командира и ста-

ли требовать принадлежащее им по праву. То есть, исходная причина «фальшивая филантропия», а не жестокость «глупых» начальников. При этом ясно, что ни Киселев, ни Закревский не в восторге от этой жестокости, но и пробуждение чувства собственного достоинства у солдат огорчает их не меньше. Для них здесь, впрочем, только неповиновение, несовместимое с понятием воинской дисциплины. Такой же, мы помним, была реакция и на восстание семеновцев.

«Наш солдат не есть иностранный», «он худо понимает звание нашего солдата», использует способы «у нас в России непригодные» — эти мысли, очень важны для понимания проблемы в целом. Легко догадаться, что речь идет о том, что русский солдат по своей непросвещенности, по своему характеру не может понять и оценить «любезного обхождения», «нравственных способов», приводящих к ослаблению дисциплины. Если тут и есть упрек солдатам, то по крайней мере он сильно сглажен тем, что «Адамовы и Брюхатовы» глупы и тоже не могут оценить этих «способов». Над солдатами должен стоять унтер с палкой, считают Киселев и Закревский, и тогда все образуется.

Однако оценка Киселевым и Закревским действий Орлова кажется несколько упрощенной. Вспомним его известные приказы, отданные в самом начале командования 16-й дивизией. Причины участвовавших побегов солдат он определяет так: «недостаток в пище и пропитании», «послабление военной дисциплины» и «слишком строгое обращение с солдатами и дисциплина, основанная на побоях». С первой из них все ясно — офицеры нередко попросту обкрадывали солдат, вторая же раскрывается следующим образом: «Дух беспечности и нерадения, в частных начальниках тем

более предосудительный, что пример их действует быстро на самих солдат, порождает в них последних лень и от лени все пороки». Касаясь третьей причины, Орлов говорит: «Я почитаю великим злодеем того офицера, который следуя внушению слепой ярости, без осмотрительности, без предварительного обличения, часто без нужды «и даже без причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат., строгость и жестокость суть две вещи разные, одна прилична тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно». Внушения Орлова, как известно, имели относительный успех, в чем он и сам признавался. В приказе о лишении команды офицеров Вержейского, Гимбута и Понаревского читаем: «Жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду...» Весьма красноречиво заключение Орлова: «И что ж? лучше ли был баталион от их жестокости? Ни частной выправки, ни точности в маневрах, ни даже опрятности в одеянии — я ничего не нашел; дисциплина упала, а нет солдата в баталионе, который бы не почувствовал своими плечами, что есть у него начальник»⁴.

Таким образом, как и в случае с офицерами, «тиранство» парадоксальным образом не ведет к укреплению дисциплины в армии, не поднимает уровня воинской выучки солдат. Жестокость по отношению к солдатам — не более, чем способ удовлетворения офицерами своих комплексов, и, напротив, оказывается причиной падения воинской дисциплины.

Вместе с тем едва ли следует представлять солдат как сплошь замордованную, безответную массу, терпеливо сносящую издевательства начальства. Это не совсем правильно. Напомним, что в 1819 г. Киселев писал, что замечает «в нижних чинах некоторую отклонность от требуемого и долженствующего быть чинопочитания» и что «уничтожил не форму в офицерах, а в солдатах оплошность перед ними», и просил Закревского прислать «приказ Аракчеева о дисциплине». Греч говорит о Шварце, что «презрение к нему офицеров и дерзость солдат доходили до высшей степени». Интересны в этом плане и впечатления будущего декабриста А.С.Гангеблова о первых неделях пребывания в Измайловском полку вскоре после восстания семеновцев: «Нам стало заметно, что полк далеко не спокоен: солдаты, хотя и исполняли требования дисциплины, но покорялись ей с нескрываемым пренебрежением и на офицеров смотрели свысока, насмешливо... Нельзя было не заметить озабоченности, особливо ротных командиров: случались такие выходки со стороны подчиненных, которые ясно указывали на сознание этими последними своей силы... Однажды наш батальон, долженствовавший в тот день занять караулы... стоял вольно в ожидании своего полковника; а мы, офицеры, сойдясь шагах в двадцати перед фрунтом, весело разговаривали. Показался со стороны казарм... старый гренадер... Вместо того, чтобы обойти стороной он направился в интервал между нами и фрунтом батальона и, когда с ним поравнялся, то обратился к батальону и громко скомандовал: «Смирно!» Батальон смолк и стал «смирно», как бы по команде своего полковника. «Здорово, ребята!» — крикнул гренадер. «Здравия желаем!» — грянул батальон, и вслед за тем по всему строю раздался хохот. Гренадер повернул-

ся и пошел своей дорогой как ни в чем не бывало, и никто из офицеров, даром что все они были сильно поражены такою дерзостью, никто из них не тронулся с места, чтоб остановить наглеца. Видно начальство потеряло почву под собой». Причины появления «такого мятежнического настроения» Гангеблов видел в возмущении семеновцев, в коллективной подаче прошений об отставке офицерами самого Измайловского полка, в убийстве одним лейб-егерем своего ротного командира капитана Батурина — «таких небывалых дотоле фактов слишком достаточно, чтобы произвести более или менее глубокое впечатление». Усугубило ситуацию решение «завести кабаки по полкам, по одному в каждой ротной артели» дабы солдаты не шатались по городу пьяными. Это и стало основной причиной того, что «расшатанная дисциплина дошла до своевольства»⁵. Положение исправил начавшийся поход гвардии к границе (она должна была участвовать в подавлении революции в Италии). Многомесячное пребывание в Белоруссии и Литве вернуло все на свои места.

Солдаты-измайловцы проницательно почувствовали изменения в привычных условиях службы. Видимо, не была для них секретом и неуверенность военных властей во время «семеновской истории», а некоторое смягчение дисциплинарной практики после нее было воспринято как проявление слабости начальства и позволило ощутить свою силу. Так что Киселев и Закревский на первый взгляд не так уж неправы. Однако Павел Дмитриевич однажды высказал на этот счет удивительно точную мысль: русские солдаты «в действительности беспрекословно повинуются только таким начальникам, которых уважают».

Но проблема для нас этим не исчерпывается. Что стоит за раздраженными словами Киселева — Орлов «корчил из себя Воронцова»?

После того, что мы знаем о деятельности Воронцова во Франции, сближение его с Орловым, человеком, который по нашей привычной шкале «хорошо-плохо» располагается от него весьма далеко, уже не кажется слишком странным. Тем не менее оно заслуживает более подробного рассмотрения. Но начнем мы с Ермолова, точнее с его реакции на практику Воронцова-командира.

Ермолов, как во многом и Закревский, относился к идеям Воронцова об укреплении законности в армии, о реформе военного судопроизводства достаточно скептически. Еще в 1816 г., готовясь к отъезду в Грузию он в своих бесконечно остроумных письмах Воронцову не раз мимоходом язвил по этому поводу: то заметит, что «ты у нас, любезный брат, молодец, а Арсений уверяет, что сверх того пишешь новые законы во Франции», в другой раз, сообщая, что в свободное время они только и говорят о нем, радуются «счастливому устройству аудитории» у него: «Недостает только речей обвинителей и защитников, а то перенесли бы мысленно в парламент, где безбоязненно справедливость защищает права народа свободного». И хотя позже он скажет обидевшемуся Воронцову, что это были шутки, на деле за иронией скрывались весьма серьезные разногласия по кардинальным вопросам жизни страны.

В 1817 г. Ермолов отвечает Закревскому на его замечания о деятельности Воронцова: «Вижу, ...что немало и побегов, и суды беспрерывные. Это предзнаменование, что при выходе корпуса из Франции по-

рядочно шарахнутся его легионы, и он сам немало будет тому причиною, ибо многие приказы прочитываются у него в ротaх такие, о которых мог бы солдат и не знать никогда. Я согласен с тем известием, о котором пишешь ты, что у него ослабевает дисциплина и иногда сказывается непослушание. Он русского солдата трактует на манер иностранный! Он ударился в законы, и беда!»⁶

Упреки уже знакомые. Снова спор.

Впрочем, на первый взгляд, этот фрагмент кажется не очень понятным. Сначала можно привычно связать побег и уверенно прогнозируемый Ермоловым рост их числа со строгостью Воронцова, с тем, что суды работают с максимальной нагрузкой. Обычная точка зрения: побег как «пассивная» форма протеста против угнетения. Но продолжение мысли Ермолова заставляет задуматься. Он обвиняет Воронцова в мягкотелости, потворстве солдатам, ибо дисциплина ослабела. Как же иначе можно распустить солдат? Мы так привыкли к тому, что бегут только от жестокости. Но побег как следствие слабости командования?

Между тем Ермолов связывает падение дисциплины, во-первых, с тем, что солдаты получают информацию, о которой им знать не надо («гласность») и, во-вторых, с тем, что Воронцов «ударился в законы», что отчасти пересекается с первым. То есть «русского солдата трактует на манер иностранный».

А как же «трактует» его сам Алексей Петрович?

В 1818 г. он был взбешен тем, как несли сторожевую службу казаки — «на пикетах спят, как на квартирах», и сообщал Закревскому, что у него «в большом ходу плети», которыми он «наделяет» казаков. С их офицерами разговор был иной: он предупредил их, что

если найдет кого-либо спящим в постели, то накажет плетью «под видом, что драбант забрался в постель офицера». Понятно, что никакому генералу не может понравиться, что часовые спят на посту, но ясно и то, что телесные наказания офицеров с самыми лучшими намерениями никакими законами предусмотрены быть не могут и даже наоборот. Но Ермолов считает их единственно возможными в тех условиях. Далее он говорит, что обратился с ходатайством о предоставлении ему права лишать чинов офицеров иррегулярных войск и иноверцев по приговору военного суда». При этом Ермолов хорошо понимает, что этим теряет преимущество, которое он имеет в сравнении со многими другими начальниками: привязанность офицеров, но уверяет Закревского, что его «к тому понудила самая необходимость». Примечательно заключение этого фрагмента: «Здесь без страха ничего не сделаешь, а надобно только весьма небольшое число строгих примеров. Верь, ...что сколько я ни строг, но не легко, однако же, мне делать, ибо я сделал над собою самим полезный опыт, как тяжело переносить несчастье». Другими словами, Ермолов не «алчет крови», а хочет только напугать, ибо «здесь без страха ничего не сделаешь». Это один из любимых ермоловских оборотов кавказского периода.

Именно к описываемому в этом письме случаю относится следующий красноречивый эпизод, передаваемый Н.Н.Муравьевым-Карским, любопытный еще и потому, что показывает, какую «информацию» Ермолов утаил от Закревского. Горцы, пишет Муравьев, вырезали несколько казаков на пикете. А их командира Ермолов позвал в свою палатку и, сказав, что офицера плетью он наказать не может, собственно-

ручно избил, повалил на землю, потоптал ногами и, выбросив из палатки, велел рыть яму, в которую приказал бросить избитого офицера живым. Казачьему полковнику Сысоеву удалось отговорить Ермолова, который, пишет Муравьев, вероятно, все же не закопал бы офицера, хотя яму уже начали рыть. Офицера из службы исключили⁷. (Довольно трудно представить, чтобы нечто похожее сделал, например, Воронцов.)

Достаточно показателен и такой эпизод из ермоловских мемуаров относящийся ко времени отступления русской армии в 1812 г.: «Желая знать дух солдата и мысли о беспорядках и грабежах, которые начали размножаться, посреди их в темноте, не узнаваемый ими, я спрашивал: солдат роптал на бесконечное отступление и в сражении ожидал найти конец ему; недоволен был главнокомандующим, виновным в глазах его, почему он не русский. Если успехи не довольно решительны, не со всем согласны с ожиданием, первое свойство, которое русский солдат приписывает начальнику-иностранцу, есть измена, и он не избегает недоверчивости, негодования и самой ненависти. Одно средство примирения — победа! Несколько их дают неограниченную доверенность и любовь»⁸.

Такой несколько ироничный, насмешливый подход очень характерен для Ермолова, и не только для него. Этот подход несколько не противоречит искреннему восхищению русским солдатом, его личными и боевыми качествами, чему есть множество свидетельств. Однако Ермолов не склонен закрывать глаза на то, что такой уровень культурного развития, на каком стоит русский солдат, предполагает отличную от западной дисциплинарную практику. Ермолов относится к солдату иногда как старший брат, иногда как

отец, иногда как бабушка — иногда с одобрением, иногда с восхищением, иногда с умилением, иногда с уважением, но никогда не закрывая глаза на некоторую, по его мнению, недоразвитость что ли, требующую *особого* подхода. Понятно, что таково же и мнение его о русском народе вообще и именно тут во многом коренится его взгляд на преобразования в России.

Теперь можно повторить вопрос: а что же так раздражает в отношении Воронцова к солдатам — заметим, не Арачеева и не Клейнмихеля — а его ближайших друзей, ненавидевших Аракчеева и всю жизнь стремившихся облегчить долю русского солдата?

Разве Ермолов, Закревский и Киселев считали, что полезно бить солдат «за ничто по своевольтву»? Нет. Еще раз напомним, что «брат Михайла» не был мягкотелым командиром и не потворствовал «дурным поступкам» подчиненных. Неужели трактовка «русского солдата на манер иностранный» заключается только в регламентации наказаний и в расширении служебного кругозора солдат? Видимо, так.

Мысли Воронцова, на наш взгляд, текут в таком направлении. Армия не может обойтись без крайних мер. Экстремальность самих понятий «война» и «армия» подразумевает, что и методы управления тысячами людей, которые не просто живут вместе, но обязаны быть единым целым, механизмом, если угодно, и притом ежедневно должны рисковать жизнью, убивать и погибать — эти методы могут, хотя и не обязательно, быть экстремальными. Весь вопрос в мере, в степени. Строгость и «тиранство» — разные вещи. Но как их, различить? Ведь то, что Воронцов считает строгостью, кому-то покажется мягкотелостью, и наоборот.

Поэтому нужен закон, нужна законность. Отсутствие строгого закона плодит беззаконие. Вспомним, что и Сабанеев, и Раевский разными словами говорят одно и то же: необходим закон, ибо положиться на «моральность» начальников нельзя.

Знаменательно, что вопреки всем прогнозам воронцовские легионы нимало не «шарахнулись» при выходе из Франции, о чем мы уже знаем, как и о том, что отдельные части корпуса оказались не так плохи. Писал же Киселев, что не понимает, почему «до такой крайности опорочили войска, из Франции возвращающиеся». Даже и в 1822 г., несмотря на полемический запал, признает, что «Воронцов во многом не успел», но это же значит, что в чем-то и успел! Следовательно, не так уж неверна была его метода! А разве атмосфера отношений между солдатами и офицерами, царившая в Семеновском полку до прихода Шварца, не исключила практически дисциплинарные проступки из жизни полка?

Здесь мы сделаем несколько неожиданный переход. Когда в 1912 г. прогремели залпы на Ленских приисках, один из виновников «Ленского расстрела», член правления «Лензолото» Тимирязев, бывший министр торговли и промышленности, в интервью заявил, что забастовка носила политический характер и в доказательство привел требования рабочих, среди которых было требование обращения на «вы». Не нужно пояснять, как были возмущены такой беспардонной наглостью все нормальные люди в стране. В газете «Русское Слово» по этому поводу высказался Кугель, писавший под псевдонимом Хомо Новус: «Фраза г. Тимирязева по поводу ленской трагедии, что, дескать, забастовка была политической, потому что забастовщики в числе пунк-

тов выставили требование «вежливого обращения» — без сомнения, фраза классическая, она классическая по совершеннейшей наготе своей, а не по нелогичности или нелепости. Эта мысль совершенно правильная, но только бесстыжая, потому что выдает сокровенную надежду сделать из «политики» орудие плантаторства и крепостного права. Но истина в том, что самосознание общественного класса прежде всего выражается в пробуждении чувства собственного достоинства, и с такой точки зрения «вежливое обращение» есть первый шаг политического выступления»⁹.

Все это имеет прямое отношение к нашим «сюжетам». Негодование Киселева и Закревского по поводу слабого управления, «фальшивой филантропии» Орлова понятно. Более того, они верно устанавливают связь между отношением к солдату **как к равному**, как к человеку, имеющему такое же достоинство человека, как генералы Воронцов, Орлов, Киселев и т. д., и их возмущением несправедливостью начальства, ибо такое отношение и пробуждает в первую очередь чувство собственного достоинства, которое когда-то так умилило Сабанеева в казаках. Именно это чувство, воспитанное либеральными офицерами-семеновцами, побудило восстать солдат, которых заставляли плевать друг другу в лицо, хотя за несколько месяцев до появления Шварца они никогда бы не подумали восставать. Так что в действиях офицеров этого полка, как и Орлова, и вправду содержался элемент «революционный», если считать, что «самосознание общественного класса прежде всего выражается в пробуждении чувства собственного достоинства».

В этом очно-заочном споре Ермолова с Воронцовым Киселев на стороне последнего. В 1819—1822 гг.

он постоянно обращается к проблеме судопроизводства. Так, в феврале 1821 г. он пишет Закревскому: «Свод законов отлично полезное дело, тобою сотворенное; теперь введите правосудие, с духом времени согласное и отклоните жестокость и произвольность, ни с каким временем не согласные. Вот монумент, который ты должен себе воздвигнуть и который должен удовлетворить честолюбие твое»; то, что Киселев называет «сводом законов» есть вариант сборника приказов по военному ведомству. Ответ Закревского красноречив: «Нет, не беру на себя ввести правосудие, с духом времени приличное и отвратить жестокость и произвольность. Надо время и люди, чтобы заняться законом, и я на себя сего не возьму, ибо законы не есть циркуляры, которые, рассылаются по военному ведомству»

В январе 1822 г. Киселев вновь деликатно возвращается к этой теме, говорит о необходимости «рассмотреть законы, исправить обветшалые, уничтожить противуречие и потом уже составить свод или кодекс», изменить сам порядок суда, ибо «у нас кто под судом, тот и виноват». Закревский отвечал, что очень интересуется этим вопросом, но времени для занятий мало¹⁰. Мы видим, что и Закревский — не противник реформы судопроизводства. Но — нет времени, нет людей, т. е. помощников, да и сам Закревский, видимо, не очень подготовлен к роли реформатора законодательства. А кроме того, говорит Закревский, для реформы нужно благожелательное «чтение вышних»; таковое отсутствует. И посему господствуют «жестокость и произвольность, ни с каким временем не согласные», вместо законов — циркуляры, а законом называется «приказ о непоказывании галстуха». И Власть это положение устраивает.

Об уровне правосознания **самых** высших носителей власти можно судить по двум следующим эпизодам. Первый из них излагается Н.М.Лонгиновым в письме к гр. С.Р.Воронцову от 26 февраля 1821 г. Аракчеев добился в Комитете министров осуждения некоего губернатора, которого хотел «изничтожить» «каким бы то ни было способом», и объявил, что его должна будет судить Уголовная Палата той самой губернии, где тот начальствовал. На это статс-секретарь Молчанов заявил, что не может вписать такой нелепости в журнал, ...ибо губернаторы судятся только Сенатом». Дальнейший диалог между Аракчеевым и Молчановым представляет немалый интерес:

— Почему это Сенатом, и что есть общего между ним и виновным губернатором? Он предается суду Комитетом министров и на это есть **Уголовная палата**.

— Существует закон, — возражает Молчанов, — по которому только Сенат может судить губернаторов.

— Ну, так закон дурен!

— Закон этот не мною установлен, но я здесь для напоминания о нем и для применения его.

— Значит, нет никакого способа для правосудия? — говорит Аракчеев.

— Правосудие будет, да не по вашему способу...

— Зачем вы все говорите прежде всего о Сенате и все о Сенате?

— Повторю вам, что этого требует закон.

— А почему такой дурной закон?

— Закон превосходный, потому что первая основа справедливости, на котором и создан этот закон, та, что всякий судится судом равных себе. Ведь если губернатора предать суду Уголовной палаты его губернии, судьями будут его же подчиненные; в Сенате же

его судьями будут равные ему. К тому же закон не мною писан, но он существует везде, чем доказывается его пригодность».

В ответ Аракчеев одарил собравшихся «язвительной гнусной усмешкой» и произнес свою всегдашнюю присказку: «Извините, я на медные деньги у приходского дьячка учился»¹¹».

Второй эпизод относится к первым неделям после Семеновской «истории». Князь П.М.Волконский в числе прочего упрекнул Васильчикова за то, что тот не уведомил о происшествии Закревского, который как дежурный генерал Главного штаба «вправе был тотчас туда ехать» и, уверен Волконский, «при первом допросе кончил бы дело иначе». Закревский отвечал, что на это он не имел права, т. к. Васильчиков, будучи командиром Отдельного корпуса ему не подчинен: «Наши власти никакого средоточия не имеют, и я не мог бы ни в каком случае вмешаться во внутренние его распоряжения». И в распоряжение полка Закревский поехал не потому, что он дежурный генерал: «Все советы, которые мог я подать ему в сем случае, были частные, которые я себе в обязанность поставил изложить ему, как человек, присягавший в верности престолу, как русский генерал, не могший хладнокровно видеть таковое неслыханное происшествие, и как человек, желающий общей пользы и любящий Васильчикова».

Волконский сделал чрезвычайно важное возражение: «Скажу вам, что Его Величество совсем иначе понимает сие и тогда, как я вам о сем писал, то было по словам Его Величества, и ныне повторяю, что ваше звание не то, что дежурный генерал при армии; вы, находясь при Его Величестве, имеете уже под собою

армейских дежурных генералов, а тем более еще и корпусных отдельных командиров — вот собственные слова Государя». Но убедить Закревского не удалось и ссылкой на высший авторитет: «Права, преимущества и обязанности каждого чиновника определяются законами, которые объявляются для сведения каждого. Права и обязанности, присвоенные моему званию, определены образованием дежурства, но в сем образовании мне ни мало не присвоены те права, о коих вы пишете... Каким образом мог бы я учить Васильчикова и распоряжаться внутренним его управлением? Он просто мог бы мне приказать удалиться и не вмешиваться не в свои дела; мне нечего бы было ему отвечать, ибо дежурному генералу нигде не предоставлено сего права. Теперь, даже зная волю Государя, я не могу сего предпринять, ибо кроме меня никто об оном не известен... Если Государю угодно предоставить званию дежурного генерала при Его Величестве подобные права, то должно сделать о сем прибавление к образованию дежурства и оное объявить по военному ведомству. Тогда только дежурный генерал будет оным руководствоваться»¹².

Основное в этих двух фрагментах не то, что существовала оппозиция Аракчееву и что Закревский позволял себе оспаривать мнение царя, и не то, что история губернатора имеет счастливый конец, впрочем, мнимый (Сенат решил, что он достоин трех наград вместо суда, но тем не менее он умер в нищете), и даже не то, что статс-секретарь Молчанов вовсе не был столпом нравственности, а совсем напротив. Удивительно другое: такие лекции по основам права читают в кадетском корпусе или училище колонновожатых, а не императору России и двум его ближайшим помощни-

кам, притом, что император учился не «у дьячка», а у Лагарпа. Вместе с тем трудно сомневаться в том, что несмотря на разницу в образовании, и Александр I, и Аракчеев на самом деле хорошо знали, что такое законы. Здесь, видимо, сказывается ощущение привычного всемогущества, ощущение полной необязательности законов **для себя**. Такой взгляд естественно вытекал из опыта жизни в стране, где само понятие «закон» было чем-то расплывчатым, аморфным, правилом, которое можно было трактовать и так, и иначе. Для скрупулезного следования законам от любого должностного лица требуется либо значительные личностные усилия, либо «страх» а ля Карамзин — постоянный контроль со стороны. Нужно ли пояснять, что ни к царю, ни к его временщику это не относилось? Нужно ли пояснять, что и к тысячам их подчиненных, поданных это имело отношение лишь большее или меньшее, но никак не являлось императивом? Трудно переделать людей, привыкших к безответственной манипуляции законами. Да их никто и не переделывал. Тут не помогал ни кнут, ни пряник.

Неудивительно поэтому что в цитированной уже «Записке о состоянии русского войска в 1825 году» четвертой причиной неудовлетворительного внутреннего устройства армии называется «незнание военными служащими своих прав и обязанностей». Автор полагает, что офицерам совершенно невозможно ознакомиться с военным законодательством, включающим «инструкции полковым командирам, законодательство Павла I, Положение о большой действующей армии и тысячи частных распоряжений и дневных приказов». Девять из десяти генералов, считает он, не читали «Воинского устава Петра Великого и в своей

служебной деятельности руководствуются лишь преданиями, часто ложными, а иногда и противоречивыми». Нередко командиры, не зная пределов своей власти, выходят за них, и в то же время законные требования считаются произволом. Автор приводит любопытный пример: «Всем генералам одной армии был предложен на разрешение вопрос о том, имеет ли право генерал арестовать офицера, не состоящего у него в подчинении и замеченного в какой-нибудь неисправности; ответ последовал, что, «основываясь на здравом смысле», генерал имеет такое право; однако ни один генерал не мог привести соответствующей ссылки на закон»¹³. Трудно не согласиться с автором «Записки», убежденным, что для начальников одного здравого смысла недостаточно, необходимо и знание законов.

Нельзя в связи с этим не вспомнить изумительно верное замечание, будто бы сделанное М.С.Луниным после того, как в кабинете иркутского генерал-губернатора он увидел Полное Собрание законов Российской империи, а рядом — томик кодекса Наполеона: «Как смешны эти французы; все свои права имеют в такой маленькой книжке! Кто только посмотрит на все эти полки, сейчас же предпочтет наше законодательство»¹⁴. В этих горько-ироничных словах — целый пласт жизни России, Дотянувшийся и до нас.

А Ермолову, кажется, ближе 40 томов ПСЗ. Русский солдат не может оценить нормирования наказания, а закон это подразумевает неизбежно. Ермолов, который никогда не был жесток с солдатом, тем не менее считает, что вредно переносить отношения между командиром и подчиненным в область законности. Потому что тем самым в определенной степени уравни-

ваются и начальники и подчиненные. Они все «обязаны» закону. Тем самым, разумеется, с тысячью оговорок, и солдат, и генерал в «сопоставимых ценах» оказываются равны перед законом, хотя бы и законом о телесных наказаниях. А вот этого-то и нельзя допускать. Ибо тогда командир лишается нимба всемогущества, что вредно для службы. Ибо страх солдат должен быть постоянным, абсолютным, безграничным, а возможные действия начальника — непредсказуемыми.

Потому что «наше правление отеческое, патриархальное». А ребенок, особенно провинившийся, подходя к отцу, не должен знать, пожурят ли его и погладят по головке, или дадут затрещину.

Что лучше для казачьего офицера — быть избитым лично генералом от инфантерии и кавалером или пойти под суд?

Конечно, такие вопросы каждый решает для себя сам.

Но для Ермолова первый вариант, видимо, предпочтительнее.

Излишне снова напоминать, что Ермолов не защищает садистов.

Просто страх, точнее СТРАХ — универсальное средство управления Россией.

«И чтобы боялся поставленных над ним начальников».

«Страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных». Воистину смертных.

«Здесь без страха ничего не сделаешь».

«Здесь» — это очень много. «От Перми до Тавриды», от Тифлиса до Акатуя. Все это — «здесь».

И уж совсем непростительно, по Ермолову, «здесь» менять положение, при котором «офицеры от чистого сердца верить не могут еще, чтобы солдат мог быть когда-нибудь прав», и, обратно, солдат мог верить, что офицер когда-нибудь может быть не прав. А приказы Воронцова сообщают им, что и офицеров наказывают за проступки, что и на них есть управа. Это опасно: солдат начинает видеть мир по-другому, в других измерениях, начинает видеть возможность другой жизни. Просвещать, образовывать можно ведь не только ланкастерской методой. (А где просвещение, там и свобода.)

Кстати о просвещении.

Логично было бы предположить, что усилия, предпринимаемые нашими героями на «ниве» солдатского просвещения, соответствуют той темпераментной удрученности, с какой фиксируется печальный факт необразованности солдат. Взгляды и практика Воронцова нам уже известны.

Выше говорилось, что еще в июне 1819 г. Киселев отправил кн. Волконскому письмо относительно открытия ланкастерских школ во 2-й армии. «Основная мысль, — сообщает он Закревскому, — что просвещение необузданное, как и мрачное невежество, имеет свои неудобства»¹⁵. Примечательные слова! Оставим в стороне тот факт, что и то, и другое имеют, следовательно, свои «удобства». Важнее другое. На первый взгляд эта афористичная фраза обладает свойствами плохого плаката — она профанирует, снижает идею настолько, что она становится не то, чтобы абстрактной, но как бы лишается смысла. Вот слова «мрачное невежество» — понятны. А как просвещение может быть необузданным? Это уже словно бы не из Киселева, а из Скалозуба.

В этих словах можно усмотреть либеральную мысль об органичности постепенности, осторожности приобщения к культуре. В самом деле. Ликбез — если дело кончается ликбезом, а у солдат не было возможностей подняться выше — антипод просвещения. Мы сегодня отлично знаем, что просто научить человека грамоте вовсе не значит сделать его образованным. Уметь прочесть передовицу или лозунг — не значит быть культурным. В таком случае радость от самого процесса чтения весьма часто настолько застилает, подавляет остальные чувства, а главное, содержание лозунга, что последний усваивается на уровне более чем примитивном. А эффект от этого бывает такой, что, кажется, лучше бы человек «грамоте не умел» вовсе.

Увы, и хотелось бы рассматривать эту фразу Киселева как либеральную, но не выходит. Об этом, в частности, говорит письмо ему М.Ф.Орлова по поводу инструкции об учебных командах при дивизии: «Инструкцию сделал давно и во многом с тобой согласен. Одна только разница: твой предмет только фронтовой, а мой и нравственный. Я хочу, чтобы все чины, выходя из сей команды, перенесли бы к себе другой образ действий и мыслей. Поймешь ли ты меня?» Разница в подходах Киселева и Орлова к образованию нижних чинов здесь выступает наглядно. Но это не все.

Когда в 1817—1818 гг. с ведома и одобрения Александра ланкастерские школы стали входить в моду, для солдат гвардейского корпуса была учреждена центральная школа, в которой обучалось до 250 человек. Организацией ее занимался Н.И.Греч, заведовал поначалу И.Г.Бурцев (член «Союза Благоденствия»). Греч вспоминает: «Учение продолжалось с удивительным успехом. В конце второго месяца солдаты, не знавшие

дотоле ни аза, выучились читать с таблиц и по книгам; многие писали уже порядочно. **Нельзя вообразить прилежания, рвения, удовольствия, с каким они учились: пред ними разверзлся новый мир**» (выделено мной — М.Д.). В июле 1819 г. школу посетил император. Он присутствовал на экзамене и остался очень доволен. Об этом свидетельствовали не только щедрые награды организатору и учителям, но — и это главное — приказ об учреждении таких же школ во всех полках гвардии¹⁶. Киселев, напомним, в июне 1819 г. спрашивал Закревского: «Заводить ли нам для полков ланкастеровы школы? Государь мне не весьма ясно на то отвечал, и я остался в недоразумении; заняться устройством сих школ мы готовы и рады показать усердие» Не нужно, видимо, думать, что для Киселева на первом месте стояла возможность «показать усердие», об этом, в частности, говорит шутовское «мы», нетипичное для его стиля. Но показательно, что если весной 1819 г., когда он уезжал в Тульчин, у Александра еще и были, возможно, какие-то сомнения, то после экзамена в гвардейской школе они исчезли.

Однако «Семеновская история» все изменила. Царь сразу же вспомнил о школах для солдат и даже решил, что Греч замешан в возмущении. Некоторая пикантность ситуации состояла в том, что в Семеновском полку школы не было, она должна была открыться через несколько дней после восстания (о чем самое высокое начальство узнало не сразу). Во всяком случае судьба солдатских школ в гвардии была решена. И уже в декабре 1820 г. Волконский пишет Киселеву, что император одобрил его представления об организации учебных заведений в армии, но относительно лицеев при корпусах заметил следующее: «Подобное

учреждение. принесет только пользу если цель его будет точно выполнена и **исключительно для военной службы**, если не будут примешивать в преподавании молодым людям политику и разные конституционные идеи, которые теперь в большой моде... Государь предоставляет дело собственно вашему суждению, вполне уверенный, что вы не только из чувства долга, но и из преданности к особе Его Величества постараетесь, **чтобы образование молодых людей ограничивалось лишь тем, что имеет отношение к знаниям, необходимым военному, не вдаваясь в политику.** В особенности надо иметь наблюдение за преподаванием истории и географии, чтобы учитель не слишком входил в подробности о разного рода правлениях» (выделено мной — М.Д.). Заметим, что взгляды царя и Киселева на образование в армии вполне совпадают («твой предмет только фронтовой»). Вообще фрагмент интересный, в том числе и увязыванием чувства долга с личной преданностью императору. Это показывает меру тревоги Александра Павловича. Насколько был необычен для него подобный тон, говорит и реакция самого Киселева, сообщившего Закревскому: «К крайнему удивлению моему на днях получил преобширное письмо от К.П.М., который пишет мне самым дружеским образом и по приказанию Царя». Не менее интересен и ответ Павла Дмитриевича. Он уверяет Волконского, что «дух времени не проник в армию, политика не имеет на нее никакого влияния». О ланкастерских школах сообщает, что лишь часть учеников, видимо, научится грамоте, но *этого* хватит для нужд армии. А затем следует знаменательная мысль, снимающая с Киселева всякие подозрения в приверженности идее постепенного приобщения солдат к знаниям: «По

моему мнению, образование действительно полезно только для людей, призванных командовать другими; обязанные же повиноваться могут без него обойтись и даже слушаются лучше». Не менее красноречив и категоричный совет Закревского Киселеву, сделанный в разгар следствия над солдатами-семеновцами: «Школы заводи только на нужное число письменных людей и не распространяй на всю армию»¹⁷.

Эти мысли — эпитафия, точнее, один из эпитафиев к мышлению целого класса», как и «космический» страх. Это ключ к пониманию многих российских проблем. Ибо несмотря на вековые разговоры о непросвещенности русского народа дворянство практически ничего не делало (за редкими исключениями, вроде Воронцова) для того, чтобы просветить народ. Не из тех ли времен берет начало трагическая ситуация на фронте в 1917 г., описанная В.Б.Шкловским: «Офицерство почти равнялось по своему количественному и качественному составу всему тому количеству хоть немного грамотных людей, которое было в России. Все, кого можно было произвести в офицеры были произведены. Хороши или плохи были эти люди — других не было, и следовало беречь их. Грамотный человек не в офицерском костюме был редкость, писарь — драгоценность. Иногда приходил громадный эшелон, и в нем не было ни одного грамотного человека, так что некому было прочесть список»¹⁸.

Приведенная мысль Закревского и отрицание Ермоловым практики Воронцова, таким образом, тесно связаны. Как ни парадоксально — ценимая ими выше всего военная мощь Империи оказывалась для них неотделимой от неграмотности, от забитости «нашего солдата», который устраивал их только таким, ка-

ков он есть: мужиком, сменившим армяк на мундир, лапти — на сапоги, барина — на офицера. В этом — залог могущества России. Главное, чтоб барин оказался добрым. «Правление наше отеческое, патриархальное».

Легко видеть, что восприятие Ермоловым и Закревским солдатской проблемы в целом повторяет их отношение к возможным реформам. Ибо переход от патриархального управления армией к управлению, основанному на твердой законности, — это калька аналогичного перехода в масштабах всей страны. Всемогущему командиру соответствует всемогущий царь. Законы не главное, хватает и циркуляров. А тот Закон, который стал бы своего рода армейской конституцией — не нужен, как не нужна конституция России.

«Мятеж не может кончиться удачей...»

Думаю, что гишпанская история
не останется без хвоста. Армия
дает законы королю?

Н. М. Карамзин

Давно замечено, что бывают годы, когда человечество как бы коллективно сходит с ума. Например, 1648—1649 гг., когда в Англии происходила революция¹, окончившаяся казнью Карла I, во Франции — Фронда, в Речи Посполитой — страшная война на Украине, в России — «Соляной бунт» и другие городские восстания. Год 1820 г., хотя впечатляет и меньше, но тоже, несомненно, из этих: революция в Испании, затем в Неаполе, Сицилии, Пьемонте, Португалии; одними романскими народами не обошлось — восстание в Грузии, а в 1821 г. — антитурецкое восстание в Валахии и Греции. К этому нужно добавить возмущение семеновцев, постоянные заговоры против Бурбонов, заставляющие Волконского в очередной раз ужасаться тому, «сколько там злых людей, которые никак не могут быть спокойны и желают каким-нибудь только способом производить общее беспокойство», и тому, что «такой век, что каждый день должно ожидать чего чрезвычайного». Неудобство жизни в таком веке мы сейчас тоже хорошо представляем.

«Слава тебе, славная армия гишпанская! Слава гишпанскому народу! Во второй раз Гишпания показывает,

что значит дух народный, что значит любовь к Отечеству», — написал в 1820 г. Н.И.Тургенев. Как известно, военные революции 1820 г. оказали весьма серьезное влияние на российских заговорщиков. Помимо восторженных эмоций они дали **пример**, живой реальный пример. Можно было рискнуть, или, цитируя М.Ф.Орлова, «пошутить». Проницательные представители старшего поколения вовремя почувствовали опасность.

Как уже говорилось, 1820 г. был трудным для Ермолова: восстание в Имеретии стоило много сил и крови, притом, напомним, он не был виноват и пытался предупредить взрыв. События в Европе, как обычно, занимают его и дают повод для актуального сравнения: «Я как житель Азии говорю вам о бунтах, но вы, просвещенные обитатели Европы, вы то же делаете, только что у вас слово «бунт» заменяется выражением «революция». Не знаю, почему это благороднее. Однако же и при сем том в Гишпании возмутились войска, к ним пристал народ и то, что приличествовало испросить у короля, у него вырывают силой. Прекрасные способы! Хороши и написанные к нему письма! Какой неблагоприятный поступок оскорблять то лицо, которое и при перемене правления должно остаться первенствующим. Это — приуготовлять собственное уничтожение! Скажите, сделайте одолжение, вас что заставляет все эти мерзости печатать в русских газетах? Неужели боитесь вы отстать в разврате от прочих? Нам не мешало бы и позже узнать о подобных умствованиях, которые, конечно, ничего произвести не могут, но нет выгоды набить пустяками молодые головы. А французская наша газета еще лучше: в ней написана даже королевская присяга, которую посоветились перевести в «Инвалиде»»¹.

От комментариев пока воздержимся. 30 ноября 1820 г. Ермолов в письме в близкому другу, Кикину, снова обращается к европейским событиям, и это письмо существенно уточняет ермоловские представления о революции, об отношениях армии и Власти: «Что за вздоры происходят у вас в мире просвещенном? **Головокружение** хуже чумы нашей, а укрощать и ту болезнь не легче; у нас та выгода, что восстающих против законной власти и разрушающих установленный порядок просто называют бунтовщиками и их душат, ибо напрасен труд вразумлять не рассуждающих, а при переворотах таковыми является большая часть людей; движущие же пружины в малом всегда числе или многосложная машина сама собой повреждается. Не нравится мне новый характер революций, производимых армиями. Если сии последние способствовали иногда властолюбивым удерживать народы в порабощении, то сколько же раз были оградой внутреннего царства спокойствия, благоденствия народов. Не в нынешние времена могут быть армии слепыми орудиями власти, следовательно, не им приличествует содействовать разрушению оной! Просвещение открывает народам пользу их, изучает властителей не пренебрегать общим мнением и довольно! Кто ныне не разумеет, что лучше сегодня дать добровольно то, что завтра может быть вырвано насилием. Достоинство есть свойственный вид власти, ей приличествует дар добровольный, не совместно соглашение, а народы не менее воспользоваться могут им принадлежащим»². Итак, Ермолов оценивает военные революции однозначно отрицательно. Вспоминаются строки из его письма Воронцову о высадке Наполеона в 1815 г.: «Какой ужасный дал Наполеон урок презирать народы тому, у кого в руках войско. Не-

ужели мы в XIX-м живем веке!» Понятно, что он не раз задумывался над проблемой отношений армии и правительства; все события европейской истории конца XVIII — начала XIX вв. в большой мере подталкивали к этому. Складывается впечатление, что он сделал свой выбор, решив однажды, кому он служит и как будет удовлетворять свое честолюбие. Полагаю, эти строки показывают его негативное отношение не только к военным, но и к любым революциям вообще: «Просвещение открывает народам пользу их, изучает властителей не пренебрегать общим мнением и довольно!» Остальное, надо полагать, — дело времени, которое во всяком случае торопить не военным. Примечательно ермоловское суждение о том, что соглашение с народом (бунтовщиками) «не совместно», «не приличествует» Власти, что она должна давать народу необходимое, не дожидаясь бунта. Мысль и тогда неоригинальная (вспомним Сперанского, к примеру), но от того не теряющая правоты. К слову, Ермолов на Кавказе, как представитель верховной власти старался действовать именно таким образом, достаточно умело сочетая «кнут и пряник».

«Владыкам, собравшимся на конгресс в Троппау, нельзя терять столько времени, как на конгрессе в Вене. Соседний Франции пожар неблагоприятен. Гишпанцы не взяли за образец хартию Людовика XVIII, следовательно, можно думать, что есть что-нибудь лучшее. Напрасно возлагать надежды спокойствия на одном рождении герцога Бордо. Он долго не будет полезнее напитка сего имени, а это не много!»³ Фактически Ермолов говорит о необходимости вооруженной борьбы с революцией в Испании. И это понятно. Он, как и Волконский, боится и справедливо

боится, что пример окажется заразительным, а повторения «Ста дней» в каком бы то ни было виде ему не хочется. Это мы знаем, что через полгода Наполеона не будет в живых; да ведь и без Наполеона всегда найдется «малое число» «движущих пружин».

В историографии есть мнение, согласно которому Ермолов «несмотря на возможное назначение главнокомандующим армией, направляемой для подавления восстания в Пьемонте, ...не скрывал своего одобрительного отношения к справедливой борьбе итальянского народа». В доказательство приводится цитата из письма его к Денису Давыдову (3 марта 1821 г.): «Если австрийцы должны будут укрощать оружием порывы к свободе своих владений в Италии их ожидает война народная»⁴.

Видимо, в данном случае оценка слов «народная война» по аналогии со знаменитой строкой «идет война народная, священная война» — не лучший выход из положения. Давыдов, отводя обвинение Суворова в жестокости, пишет: «Кровопролитие при взятии Измаила и Праги было лишь последствием всякого штурма после продолжительной и упорной обороны. Во всех войнах в Азии, где каждый житель есть вместе с тем и воин, и в Европе во время **народной войны**, когда гарнизоны, вспомоществуемые жителями, отражают неприятеля, всякий приступ неминуемо сопровождается кровопролитием... Ожесточение осаждающих возрастает по мере сопротивления гарнизона». П.Х.Габбе отмечает в своих «Записках»: «Государь выехал в Смоленск и Москву для приготовления новых средств к усилению армий и провозглашения войны **непримиримою, народною**»⁵(выделено мной — М.Д.). Отсюда ясно, что вкладывалось тогда в оборот «народ-

ная война». Это, если так можно выразиться, термин констатирующий, но отнюдь не несущий в себе априорно положительной оценки. Вооружение русского народа — факт для наших героев в 1812 г. позитивный, вооружение и ожесточенное сопротивление жителей Варшавы в 1794 г. — совсем наоборот. Попробуем теперь оценить ермоловские строки в контексте всего письма. Давыдов, услышав о возможной войне, размышляет о возвращении на службу, а Ермолов пытается рассмотреть возможные варианты. Давыдов полагал, что воевать придется с Турцией, Ермолов говорит, что куда реальнее война в Италии, ибо уже было известно, что Александр I обещал Австрии помощь России, и «хотя взят уже Неаполь, позволительно думать, что дурное состояние северной Италии не заставит пренебречь помощью». Далее следуют приведенные выше строки о «порывах к свободе» и «войне народной». Но примечательно продолжение: «Если верно, что пиемонцы обратились на занятие Милана, будет война единодушная, и не австрийцам удобно преодолеть мнение. Если будем содействовать им; по количеству движущихся войск надобно ожидать отдельного действия, следовательно, авангарда числом значительного. Партизаном в войне народной быть неудобно, в твоём чине надобно иметь большую команду; войско вспомогательное не может иметь такой конницы, от которой можно бы было отделять большую часть. Если решаешься просить Государя о назначении тебя на службу, мое мнение не стеснять выбором его непосредственной воли» и т.д. Под «войной единодушной», видимо, имеется в виду общеитальянское восстание против Австрии. Представляется, что в этом анализе будущей интервенции и советах ее возможному участнику — русскому генералу,

ощущается не столько нескрываемое одобрение революции в Италии, сколько нескрываемая неприязнь к Австрии, — чувство для русских дворян достаточно обычное и привычное. О неприязненном отношении к революции говорят и следующие строки из цитированного уже письма Кикину: «Неаполитанцы прикидываются, будто чувствуют себя людьми; впрочем, для беспорядков много годных инструментов, и если ладзарони возмечтают, что революция может дать им лучшую пищу, нежели излавливаемые в море черви, то и ими пренебрегать не должно»⁷. При всем желании здесь сложно увидеть симпатию к революционерам. Полагаю также, что и помощь служившему некоторое время на Кавказе испанскому революционеру Хуану Ван-Галену, никоим образом не говорит о «двойственном отношении Ермолова» к испанской революции, о чем подробнее я скажу ниже.

Наконец, ермоловская проекция европейских событий на Россию. Хотя он и ошибался, когда писал, что испанский пример ничего у нас произвести не может, но безусловно был прав, считая, что «нет выгоды набить пустяками молодые головы». Здесь у Ермолова интерес вполне конкретный, притом же он по себе знал об этих сюжетах немало. Время, правда, изменилось. Н.Тургенев отмечал «благородство инсургентов», в то время как Ермолов имел прямо противоположное мнение; куда более важным представляется другое расхождение между ними — Тургенев считает, что высшее проявление народного духа и любви к Родине состоит не только в сопротивлении иноземной агрессии, но и в борьбе с деспотизмом, в завоевании свободы для своей страны, а Ермолов никогда и не по-

думает сравнивать 1812 г. с какими бы то ни было попытками изменить существующий строй.

* * *

В 1821 г. единственным холостяком из героев нашего рассказа оставался Ермолов. Закревский женился на графине Аграфене Толстой, Сабанеев — просто увел жену у живого мужа, Воронцов женился на графине Елизавете Браницкой, Давыдов — на Чертковой, Киселев стал мужем графини Софьи Потоцкой. Закревский женился в 32 года, Киселев — в 33, Давыдов — в 35, Воронцов — в 37, Сабанеев — в 46 лет. Генералы на четвертом десятке и юные генеральши 10—15-тью годами моложе — явление тогда вполне обычное. Не будет, видимо, ошибкой сказать, что с титулованными невестами генералам не слишком повезло. Напомним, что графини Воронцова и Закревская занимают определенное место в истории не только пушкинистики, но и отечественной словесности вообще. Неудачен был брак Киселева.

Ермолов, убежденный и закоренелый холостяк, не был женат до конца дней. В 1819 г. он писал Закревскому: «С того времени, как ты женат, нападаешь на меня, чтобы и я женился также. Между нами в сем случае есть некоторая разница. Мне уже перешло за сорок, ты молод; мне еще надобно выбирать жену и Бог знает, на какую попаду, а тебе он уже дал молодую и хорошую и любезнейшую, которая тебя любит... Жаль мне, что я старею, а то взялся бы я за детей ваших и им приносить пользу было бы большим наслаждением. Ты говоришь о потомстве. До такой степени не простираю я моего самолюбия. Граф Румянцев был

не я — и что после него осталось? Молодой Суворов с наилучшими качествами его не заменил бы бессмертного отца своего! Много ли у нас отличных людей из фамилий знаменитых, а отцы их заботились о потомстве, ибо фамилии существуют. Дай Бог свой век прожить порядочно, не заботясь, будет ли сын мой **пачка**ть имя мое или возобновит его в памяти других. Было время, что не помышляя о потомстве, имел бы я его, ибо весьма был близок от женитьбы, но скудное состояние с моей стороны и ее бедность не допустили меня затмиться страстию. Чтобы из меня теперь вышло? Я, как и ты, имею правило ничего не просить, а дать мне, может быть, не догадались бы, и я теперешнюю свободу променял бы на всегдашнее сетование. Теперь нет богатейшего человека в мире! Итак, друг любезный, дай некоторую цену тому, что я люблю тебя, как брата, и прости мне, что не будет у меня сына, который бы любил тебя столько же!»

Никто не знает будущего, и извинение Ермолова оказалось преждевременным. Через 5 лет, в 1824 г., он сообщит Закревскому: «Я обогатился ими (детьми — *М.Д.*). Трое налицо и готовится четвертый. У меня всегда сыновья, и это еще счастье!»⁸ Все сыновья Ермолова были рождены вне брака, он усыновил их, дал свою фамилию и дворянство. Прав он оказался в одном: ни его дети, ни дети его друзей с «наилучшими качествами» не заменили отцов. Впрочем, это уже другая история.

Похмелье на чужом пиру

1820 г. был переломным для Александра I. Перелом этот начал обозначаться раньше, но именно в 1820 г. он стал фактом. Среди причин его были, видимо, и разочарование в попытках проведения реформ, наталкивавшихся на глухое, но от этого не менее мощное сопротивление русского дворянства, не желавшего понимать своего императора, и определенное разочарование в своей же польской программе — поляки почему-то не чувствовали себя очень уж счастливыми и, кажется, не были склонны ценить те усилия, которые затратил Александр на «восстановление» Польши. Были и другие причины. Идея спрута тайных обществ, опутавшего, как казалось Александру, всю Европу, в том числе и Россию, совершенно овладела им. Заговорщики мерещились ему повсюду. Сначала донос Грибовского, затем — восстание Семеновского полка, которое было тем последним усилием, которое окончательно толкнуло царя вправо, как любят говорить историки, «в объятья Меттерниха».

Письма Волконского Закревскому довольно точно отражают настроения, владевшие Александром. Постоянно варьируется одна и та же тема — заговоры, революции и революционеры, которые действуют везде и в России тоже. Так, 30 января 1821 г. он со-

общает, что неаполитанцы, в очередной раз сбросившие с престола своего короля, видимо, не будут сопротивляться австрийцам, но в Лувре в один день произошло два взрыва, не причинившие, однако, никакого вреда. «Все сие доказывает, сколько там злых людей, которые не могут быть спокойны и желают каким-нибудь только способом производить общее беспокойство. В Испании дела также идут ужасно плохо, одним словом, мы живем в таком веке, что каждый день должно ожидать чего чрезвычайного. Секретные общества иллюминатов ужасно увеличиваются и распространяются повсюду, им ничего нет невозможного и ничего у них нет святого, только и мыслят уничтожение всех властей и произведение общих беспокойств. Число их так велико, что и у нас очень много, и даже в войске и в разных должностях, почему и нужно обращать всевозможное внимание к открытию таковых извергов для удаления их»¹. Заметим, что «извергов» надо не уничтожать, что кажется нам более естественным, а только «удалять». Император, выдавая нежелаемое за действительное, был убежден, что существует единый центр подрывной деятельности, находящийся во Франции, что все тайные общества связаны между собой. Поэтому он считал, что подавляя революции в Европе, борется и против революции в России. «Нельзя не питать надежды, ни заключать сделку с революционерами всех стран, центр которых у вас. Они хотят падения всех тронов и разрушения общественного порядка», — говорил он французскому послу в России гр. Лаферронэ в июле 1821 г.²

Троппау-Лайбахский конгресс (20 октября 1820 г. — 12 мая 1821 г.) «узаконил» интервенцию как средство

борьбы с революционным движением народов Европы. Случай представился немедленно. Когда вспыхнули революции в Пьемонте и Неаполе, Александр без колебаний предоставил в помощь австрийцам 100 тыс. русских солдат. Командующим этой армией был назначен Ермолов, в начале 1821 г. отправившийся, наконец, по служебным делам из Тифлиса в Петербург. Вызов в Лайбах (Любляну) он получил уже в дороге. Ехал он из Петербурга долго, так, что у некоторых исследователей возникла мысль, что он сознательно тянул время, чтобы не командовать армией, подавляющей революцию. Странная логика — дело было вовсе не в том, когда Ермолов приедет в Лайбах, а в том, когда русская армия подойдет к Аппенинскому полуострову. Уже в Австрии, проехав «злодейской дорогой», которая «может сносно казаться одному спасающемуся от виселицы», он получил известие о том, что в Италии все кончено. «Не можешь себе вообразить, как я рад, и я думаю, первый еще главнокомандующий с такими чувствами. Люблю, друг почтенный, пользу моего отечества и о своей не помышляю», — писал он Закревскому — если еще войска идут к границам, то их успеют остановить и «матушке России не столько будет стоить, как пустой поход заграничный»³.

Первый и последний раз в жизни Ермолов получил под свою команду настоящую, не кавказского размера, армию. Судьба не привела его быть палачом Итальянской революции; не хочется гадать, насколько неприятно было бы для него командовать армией, выполняющей именно эту задачу. Впоследствии Ермолов говорил, что он опасался дебюта на сцене, где до него выступали Суворов и Наполеон. Кто знает?

Что несомненно — он рад экономии средств «матушки России» в этом случае, как и всегда, впрочем. Ясно и то, что на фоне весьма распространенного в обществе недовольства интервенционистскими планами Александра чувство облегчения у Ермолова не выглядит слишком искусственным. Война в Италии была совершенно непопулярна; Васильчиков писал царю, что гвардейские офицеры не хотят воевать за австрийцев⁴. Общие чувства выразил П.А.Вяземский: «Война с Неаполем была бы злодейство... Неужели Петр Великий пустил Россию в Европу, чтобы преемникам его было всегда в чужом пиру похмелье... Дострой свой дом, а потом иди чинить чужие дома. Образуй, просвети, разреши Россию и тогда она сама, не суясь ни в Троппау, ни в Лайбах, существенною, нравственною силою своею будет безапелляционным посредником европейских судеб»⁵.

* * *

Александр ненамного пережил Наполеона.

Судьба снова попыталась уравнивать их, на этот раз в смерти.

В смерти на «краю ойкумены», в отчуждении от жизни, в угасании...

Четыре года, отделяющие 5 мая 1821 г. от 19 ноября 1825 г., были далеко не лучшими в жизни всероссийского самодержца. Четыре невеселых года, заполненных страхом за прошлое, тревогой перед будущим, меланхолией и усталостью... Эти четыре года — сюжет для Шекспира.

Какая это, в сущности, грустная эпитафия: «Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге...»

Смертные, в том числе и цари, встречаются со смертью в момент движения либо по восходящей, либо по нисходящей линии развития личности, и возраст тут не при чем.

Последние годы своей жизни Александр устало шел вниз, и с каждой ступенькой все меньше света оставалось вокруг. Все меньше тех, кто был по-настоящему предан стране и ему самому. И жилось им все труднее, таким людям.

А его страна тем временем брела в тупик, делая вид, что идет строевым шагом...

«История прославит наше время...»

Событием, которое резко обозначило новый этап расхождения между царем и мыслящей частью общества, стало восстание в Греции против турецкого ига. В России его встретили восторженно.

«Дело не на шутку, крови прольется много, и, кажется, с пользой для греков. Нельзя вообразить себе, до какой степени они очарованы надеждою **спасенья** и **вольности**. Все греки южного края старые, как молодые, богатые и бедные, сильные и хворые, все потянулись за границу, все жертвуют всем и с восхищением собою для отечества. Что за время, в котором мы живем, любезный Закревский? Какие чудеса творятся и какие твориться еще будут. Ипсилантий, перейдя границу, перенес уже имя свое в потомство. Греки, читая его прокламацию, навзрыд плачут и с восторгом под знамена его стремятся. Помоги ему Бог в святом деле; желал бы прибавить — и Россия» — с редчайшим для него воодушевлением пишет 14 марта 1821 г. Киселев Закревскому. А в ответном письме есть приписка Ермолова, которому такой стиль был гораздо привычнее; «Воскресающая Греция дает теперь вам достойные занятия. Видел из письма к Закревскому, что события воспламеняют сердце героя, желающего

лететь на помощь стране знаменитой. Жалеть буду вместе с вами, если пламень греков угашен будет их собственной кровью. Дай Бог им успеха»¹.

Поддержка единоверных греков, как и южных славян, всегда была в высшей степени обаятельной для российских патриотов. Политика правительства за редкими исключениями удобно вписывалась в воодушевление, сопровождавшее эти настроения русского общества. Однако в 1821 г. имело место это самое редкое исключение. В период русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Россия пыталась поднять Балканы против турок. Тогда это не удалось. Одним из «памятников» неосуществленного «Греческого проекта» осталось имя цесаревича Константина Павловича. Теперь же, почти полвека спустя, у России имелась великолепная возможность, если и не реализовать идеи Екатерины и Потемкина, то по крайней мере существенно ослабить извечного соперника, Турцию. При этом совершенно очевидно, что эта война была бы столь же популярной, сколь непопулярной была бы война в Италии. Бог весть, как повернулась бы история России, если бы царь **решился**.

Но этого не произошло. Александр воспринял восстание греков в контексте общего взрыва революционного движения в начале 20-х гг., т. е. как диверсию против принципа легитимизма (это в отношении Турции!) и остался верен Священному Союзу. Подданные его ждали и жаждали войны, готовились к ней, но время шло, а царь вел переговоры, точнее бездействовал, а турки свирепствовали тем сильнее, чем спокойнее была Россия. Письма этих месяцев прекрасно демонстрируют то возбужденное, нервное настроение, в ко-

тором находились наши герои и которое, конечно, отражает настроения общества вообще.

«Турки с нами поступают, как с подвластными им татарами... Сабанеев, у которого я в гостях, бурлит ужасно, смотря на соседство турок. Уверяет, что, наконец, увидят, что фронтовые забавы и проч.», — пишет Киселев Закревскому. Что Сабанеев «бурлит» — бесспорно: «Мерзавцы-соседи наши делают свое дело, продолжают грабежи, убийства, насилия, не позволяют снимать хлеба... В апреле, мае, июне могли бы мы быть на Дунае и без труда овладеть крепостями и устьем Сулинским, необходимым для флотилии. Тогда, остановясь по Дунаю до Черновод, а оттуда до Кюстенджи по Троянову валу, можно бы заставить турок говорить по-русски. Теперь! Теперь! Какая разница! Тогда все выгоды были на нашей стороне, теперь все неудобства, и чем позже, тем хуже»².

Но Закревский, которому адресованы эти строки, знал больше своих друзей и писал, что войны, возможно, не будет совсем, «ибо есть большое желание остаться в мире, несмотря, что турки оскорбляли русских и тем унижают наше величие перед прочими державами. Дай Бог, чтобы все шло к лучшему, а по порядку и деятельности, ныне существующим, ничего хорошего ожидать нельзя. Надо быть здесь, видеть и потом судить, чего Россия может ожидать. Вот, любезный друг, как русский русскому говорить должен»³.

Эти выдержки не нуждаются в подробном комментарии: ход мыслей автора вполне понятен. Примечательны слова Закревского о том, что позиция правительства вредит престижу России. Нельзя пройти мимо его оценки существующих «порядка и деятельнос-

ти» — это скоро станет одним из постоянных мотивов его писем.

Ермолов, вернувшийся в конце 1821 г. в Грузию, поначалу рассуждал о перспективе войны весьма абстрактно. Одно время ходили упорные слухи, что он будет командующим главной армией против турок, но поскольку он снова оказался в Тифлисе, то можно было догадаться, что или войны не будет или командующим будет кто-то другой. (Впрочем, после его «мнимого» главнокомандования в Италии назначение его командующим в Молдавии выглядело бы вполне естественно.)

Однако постепенно он все больше раздражался, видя бездействие правительства. В феврале 1822 г. он замечает, что державы, особенно Англия, пытаются восстановить отношения России и Турции путем переговоров и намеренно их затягивают, чтобы истощить силы восставших, «кончится тем, что в греках, нам приверженных, оставим мы справедливое на нас озлобление! Я, как тебе известно, весьма несчастный политик и, конечно, о политике говорю вздор, но и без дипломатических глубоких познаний можно чувствовать свое достоинство. И я недаром принадлежу народу могущественному!»

Здесь имя царя прямо не называется, но адресат понятен. Это снова тот случай, когда А.П.Ермолов, русский дворянин и русский генерал, не хуже А.П.Романова, русского императора, знает, что такое достоинство России и как его нужно поддерживать.

«История прославит наше время и нам собственно отдаст должную похвалу. Уже целый год, как лютость турок христианские державы насыщают кровию греков и, кажется, не довольно!» — пишет он Закревско-

му в марте 1822 г. Скептически он оценивает перспективу поездки царя на конгресс в Верону. Второе лицо в Министерстве иностранных дел России гр. Каподистриа, грек по национальности, был незадолго до этого уволен. А Нессельроде смотрел на Меттерниха почти как на императора, поэтому Ермолов пронизательно писал, что «теперь Меттерниху праздник»⁴.

Войну с турками из-за греков, как и предсказывали наши герои, России все равно пришлось вести, но уже шестью годами спустя, а это не одно и то же. Победа в 1828—1829 гг. укрепила режим Николая Павловича, нуждавшийся в такой победе. Повторим: правительство могло воспользоваться взрывом сочувствия грекам, чтобы восстановить рвущиеся связи с лучшей частью общества. Причем не только с такими людьми, как наши герои, но и с будущими декабристами, которые отвлеклись бы от своей внеслужебной деятельности, притом с радостью, как можно судить по их восприятию восстания в Греции.

Однако в 1821 г. эта возможность была упущена.

«Порядок дел в нашем государстве никогда не улучшится»

Не случайно, конечно, именно с 1821—1822 гг. в жизни большинства наших героев наступает своего рода душевный кризис. Он проявляется у всех по-разному и в разной степени, не всегда совпадает по времени и т.п. В меньшей степени им был затронут Киселев, о внутреннем состоянии Воронцова можно догадываться по отдельным намекам Сабанеева. Среди причин, вызвавших этот кризис, значительную роль сыграли индивидуальные, личные, определенное значение имели и служебные неурядицы, но во многих плоскостях личное и служебное пересекались; прелестна в своей непосредственности мысль Закревского о том, что их личное благо всегда зависит от состояния службы. При этом у всех мы найдем острое осознание того, что страна идет в неверном направлении, что все не так, как должно быть.

Вот Сабанеев, в своем забытом богом и людьми углу России, неизлечимо больной, но по-прежнему неукротимый: «Спрашиваешь меня, мой любезнейший Арсений Андреевич, весело ли я живу? Какие веселости для человека, уничтоженного, заслужившего невинно гнев Государя? Признаюсь тебе, как старому при-

ятелю и сослуживцу моему, что видимое нерасположение ко мне Царя укрощает век мой, но никак не переменит правил моих. Я готов умереть на службе из обязанности быть полезным отечеству и признательности к прежним милостям Государя. Никогда не буду угождать Его Величеству со вредом для Него, никогда не буду льстить Ему и обманывать из собственной корысти, как другие. Пусть будут они Его временщиками, но я ни за какие милости не хочу изменить обязанности моей, не хочу обманывать Его нигде, ни в чем и готов терпеть все»¹.

Тон Закревского, как бы державшего руку на пульсе Власти, мрачнел с каждым месяцем. Дело не исчерпывалось только тем, что в 36-летнем возрасте у него резко ухудшилось здоровье из-за непрерывных «занятий» по службе. В определенном смысле, как мы знаем, ему было еще труднее, чем его друзьям. Они *наблюдали* за тем, что творилось в верхах издали, а он был рядом много лет изо дня в день. «Государь по приезде, конечно, должен заняться состоянием всех частей, которые в нынешнем положении остаться не могут и время покажет, что от сего произойдет невозвратное зло, которое ничем не в состоянии будут поправить», — писал он Киселеву еще в марте 1821 г. А через два года, получив восторженное письмо Киселева о свидании его с царем в Варшаве («я не могу нахвалиться милостию царскою»), отвечал: «Многое ты говорил Государю и даже о таких предметах, которые до тебя не касаются. Все слушано, а сделано ничего, следовательно, лучше бы о сем ничего не говорить, ибо пользы от сих разговоров никакой быть не может, и все осталось и идет по-прежнему... Теперь вижу, что ты был так обворожен Белым, что совершенно был в чадy

и от того легко думал, ...что все уже исполнено, в Варшаве сказанное. Ты сею поспешностию меня удивил, ибо известен тебе скорый ход дел и обещания, исполнение же всегда бывает тяжело и не скоро. Пора тебе побывать в Петербурге и видеть вещи, как прежде ты видел, и как всегда мы оные теперь видим.

Все вышеописанное оставь между нами; дела наши очень трудно сходят с рук, и оттого несчастные страждут, а я помочь не в силах. Мне кажется, порядок дел в нашем государстве никогда не улучшится, и потому трудно служить честным людям, которые думают не об личных выгодах, а о благоденствии своего отечества. Впрочем, как ни дурно, но дай Бог, чтобы Государь пережил всех нас, а без него, какая будет надежда и что за происшествия могут постичь Россию. Как подумаешь о сем, то сердце содрогается»².

Трудно выразиться яснее. Комментировать здесь нечего, кроме, пожалуй, заключения. Его не нужно рассматривать, на наш взгляд, как образец эпистолярного этикета. Просто «как ни дурно», а Константин Павлович на русском престоле еще хуже: «как подумаешь, то сердце содрогается».

Поездка в Лайбах как бы делит ермоловское «проконсульство» на два совершенно различных в эмоциональном отношении периода. 1816—1820 гг. — энтузиазм, планы, много надежд и остроумия. 1821—1825 гг. (и особенно 1826—1827 гг.) — усталость, хандра, много трудностей и язвительность Гамлета, беседующего с черепом Йорика.

На обратном пути в Грузию Ермолов несколько недель провел у отца в Орле, откуда, в частности, писал Закревскому: «Не поверишь, почтенный друг, как возрастает во мне охлаждение к службе и за какую несносную

потерю почитаю я возвращение в Грузию... Разрешаю я слишком долго продолжавшееся заблуждение мое, что без службы существовать невозможно». Эти совершенно немыслимые прежде в устах Ермолова строки — своего рода пролог писем последующих лет. Именно с этого времени он стал рассматривать свое пребывание на Кавказе как ссылку. Тому, конечно, было несколько причин. Вызов в Лайбах, назначение «главнокомандующим, хотя мнимым» как будто предвещало производство из «Проконсулов» в «Консулы». Но этого не случилось. Обманутые надежды такого рода всегда чреваты немалым разочарованием. К тому же возвращение на Кавказ, на край света, после годичной жизни на «Большой земле», жизни, которую он подзабыл за 5 лет напряженной деятельности, многомесячных походов в горы, постройки крепостей и т. д., не радовало. Почти в каждом его письме Закревскому мы встретим теперь высказывания такого рода: «Угасли пламенные мои замыслы и многое уже кажется мне химерою»; «так все наскучило, скоро вам надобно будет отпустить меня, нет сил»; «служба смертельно начинает скучать мне»; «какая жизнь несносная»; «нет у меня другого желания, как жизнь свободная и покойная» и т. п.³ Ермолов начинает хлопотать о покупке подмосковной деревни, что при его скромных финансовых возможностях совсем непросто. Все чаще говорит об отставке. И то, что происходит в государстве, в сущности неотделимо от этого состояния. Не всегда можно понять, что в этой хандре «первично».

Д. В. Давыдов, быстро затосковавший в отставке, решил проситься к нему на должность начальника Кавказской линии. Место это было видное и отчасти более престижное, чем должность одного из многочисленных дивизионных командиров в Европейской

России. На линии не затихала «малая война» с горцами — рай для Давыдова, возжеленное «партизанство»! Ермолов сразу ухватился за эту идею и развил бурную «дипломатическую» деятельность, следы которой мы встречаем в письмах Закревскому: «Не знаю, дадут ли мне Дениса, но я уверен, что человек с его умом и пылкостью, скоро привыкнув к делам, был бы весьма полезен». Но усилия Ермолова успеха не имели. Давыдов по-прежнему был в немилости у царя, так и не простившего ему юношеских выходов. Ермолов был очень возмущен несправедливым отношением к одному из самых одаренных генералов русской армии: «Впечатление, сделанное им в молодости, не должно простирается и на тот возраст его, который ощутительным весьма образом делает его человеком полезным. Таким образом можно лишать службы людей весьма годных, и это будет или каприз или предубеждение. Признаюсь, что это мне досадно, а князь Волконский даже и не отвечает на письмо. Словом, насмеваются над нашим братом. Не я теряю, ибо человек моего состояния не рискует лишиться кредита, им никогда не пользовавшись, но служба не найдет своих расчетов, удаляя достойных». Сам Давыдов с понятной горечью писал Закревскому: «Кажется, совесть моя мне упрекать не может; я хотел служить, и служить в таком краю, который большею частию военнотружущих наших почитаем ссылкой. Признаться должен, что будучи обременен семейством и я не без победы над собою решился стяжать сие место. На сие побудило меня, с одной стороны, страх, чтобы не истратить плодороднейшую часть моего века для собственной только пользы, а с другой, уверенность, что я был бы полезнее для России на Кавказе, нежели на площадях, про-

топтанных учебным шагом. Что делать! Надо повиноваться судьбе... Итак, я снова обращаюсь к сохе»⁴.

Ермолов последовательно критикует все действия правительства — и препятствия, которые чинят Воронцову, стремившемуся занять место Ланжерона, Новороссийского генерал-губернатора, и «несчастную историю Граббе», своего любимца, когда-то адъютанта; особое недовольство вызывает у него внешнеполитическая деятельность царя, унижающая, по его мнению, Россию: «Великодушно стремление Государя сохранить в Европе мир и тишину.. Но предание греков на истребление сохранит ли наше достоинство? Черное пятно сие не изгладится из истории нашей и нынешнего царствования. Кто не видит, что мы теряем существенные наши выгоды? Какую боязнь внушает Англия, народ совсем не страшный. Вся беда, что редок у нас будет сахар и кофе, и щеголих юбки не будут английские. Дела Италии и Испании нам очень нужны и конгрессу до них дело!» Здесь Ермолов уже говорит как П.А.Вяземский. Он хорошо видит связь между общим ходом дел в стране и частными словно бы эпизодами служебных неудач ярких, талантливых людей, вроде Давыдова и Граббе. П.Х.Граббе, активный член Тайного общества, до весны 1822 г. командовал Лубенским гусарским полком, а затем был уволен якобы за нарушение субординации, но на самом деле за «карбонарство» (слово, ставшее модным после 1820—1821 гг.). Закревский об этом знал и сообщил Ермолову, который отвечал, что не верит «сделанному о нем замечанию».

В ноябре 1822 г. Ермолов писал Закревскому: «Ты забавно описываешь, как Сакен действует с Милорадовичем, но больно видеть, что Государь не может све-

сти двух человек вместе, чтобы они не перессорились. Неужели в личной вражде нельзя не вмешивать службу? Кажется, что это две вещи совершенно разные. Какие странные свойства людей, и сии, выставлены будучи на первейшие степени государства, находясь на виду, дают собою другим пример весьма развратный.

Как часто у нас люди не на своих местах, и ей Богу — нельзя требовать от нас такого ослепления, чтобы мы даже того и не видали. Почувствуешь или увидишь, тотчас же запишешься в карбонари! Счастливы люди свободные, никакими должностями не обязанные. Вот чего я добиваюсь всем сердцем»⁵.

Ермолова, скорее всего, действительно забавляло, что командующий 1-й армией Сакен и генерал-губернатор столицы Милорадович делают на публике вид, что незнакомы друг с другом. Ермолов знал обоих 20 лет, и они не принадлежали к числу уважаемых им людей. А вот укор царю за неумение (или нежелание?) «свести двух человек вместе, чтобы они не перессорились» очень слабо маскирует другой, гораздо более серьезный упрек в адрес царя. Ведь никто иной, как он выдвинул этих людей на «первейшие степени государства».

Легко заметить, что раздражение Ермолова идет как бы по нарастающей и достигает пика в резкой формулировке, открывающей следующий абзац: «Как часто у нас люди не на своих местах». А затем, произнеся не самые верноподданические слова о записи в карбонарии, Ермолов как будто спохватывается и начинает мечтать о покое. Фраза «почувствуешь или увидишь, тотчас запишешься в карбонарии» настолько много

обещает, на первый взгляд, что невольно захватывает дух. Неужели?

Минутная ли эта вспышка «пламенного характера» Ермолова или же пункт программы? Во всяком случае отчетливее всего тут слышится мысль о том, что правительство само своей неразумной политикой если не плодит революционеров, то возбуждает недовольство людей, весьма далеких в принципе от «карбонарства». Именно в эти годы начинает всерьез рушиться тот союз Власти с лучшими людьми страны, который установился в XVIII веке. Вспомним письмо Давыдова к Киселеву, в котором он говорит, что правительство «само поставляет осаждающим материалы».

«Кто же может угодить?»

Наконец, во 2-й половине 1823 г. наступил последний этап «затемнения». После резкого столкновения с Аракчеевым Волконский был отправлен на воды в Карлсбад. Его место занял Дибич. Закревский получил должность генерал-губернатора Финляндии и командира Отдельного Финляндского корпуса, а дежурным генералом вместо него стал Потапов. Место Дибича в 1-й армии занял Толь, ставший генерал-адъютантом. За неделю до этого Гурьев уступил свою должность Канкрину, также избранному Аракчеевым. Вскоре вместо Кочубея министром внутренних дел стал приятель «Змея» Кампенгаузен; наконец, кресло умершего военного министра Меллера-Закомельского занял Татищев, еще одна креатура Аракчеева. Торжество временщика отныне было безраздельным.

«Сожалею только о том, что со временем, конечно, Государь узнает все неистовства злодея (Аракчеева — *М.Д.*), коих честному человеку переносить нельзя, открыть же их нет возможности по непонятному ослеплению его к нему; между тем растеряет много честных людей и восстановится прежнее лихоимство и беспорядок в ходе дел», — писал Закревскому Волконский в октябре 1823 г.¹, оскорбленный так глубоко, как

может быть оскорблен человек, с детства бывший другом и помощником монарха, 27 лет прослуживший ему верой и правдой, и которого монарх сбросил, как надоевшую кошку с колен.

«Теперь прочным образом основалось царство немцев», — выразил свое и общее мнение Ермолов.

Закревский, правда, перед уходом сумел хлопнуть дверь. Он напечатал небольшим тиражом свой «Отчет... по управлению дежурством Главного штаба» и разослал его «искренним друзьям». Этого было достаточно, чтобы «Отчет», весьма откровенный по части изображения недостатков системы, стал достоянием публики. Уже позднее Киселев писал Закревскому, что некоторые считают, что отчет дает возможность врагам Закревского подтвердить «вымышленное обвинение в гордости» его. «Некоторые мысли, резко изъясненные, пугают уши, к тому не привыкшие», — писал Киселев. Закревский с обычной прямоотой отвечал, что мысли «пугают уши» потому, что «у нас истина дерет всегда слух, разнеженный беспрестанной лестью, и что от непривычки слушать таковую за каждое смелое обличение своего образа мыслей заслуживаешь нареkanie [в] дерзости»².

Однако все это мало утешало Закревского. Финляндское «герцогство», как говаривал Ермолов, совершенно не прельщало Арсения Андреевича. Для него это был чужой край, который незнание языка делало еще более чуждым, где не было знакомых, привычной среды и возможности вести регулярную переписку с друзьями. Он, как это водилось, пытался отказываться от этого назначения, но царь настоял, и он покорно отправился туда в полной уверенности, что ни малейшей пользы принести не может.

С конца 1823 г. кризис, о котором мы говорили выше, переходит у наших героев в апатию. Это слово, пожалуй, точнее других характеризует их душевное состояние в то время. Служба стала не в радость. Перемены в Главном штабе были не просто кадровыми перестановками. Менялось само направление, характер его деятельности, что не могло не отразиться на функционировании армии в масштабах всей страны. Волконский и Закревский при всех недочетах много делали для армии, хотя бы потому, что не давали окончательно «разгуляться» Аракчееву. Они много помогали Ермолову, Сабанееву, Киселеву и Воронцову в преодолении обычных бюрократических препон. Ускорение рассмотрения их ходатайств серьезно облегчало их деятельность как командиров, особенно если учесть общее меланхоличное движение дел в стране.

Теперь все пошло по-другому. Ермолов писал Закревскому: «По делам весьма примечаю я, что не с тобою, но с другими имею я дело. Лежат представления без разрешения, являются отказы, которые можно бы и даже было бы прилично не делать. Делаются шиканские запросы и надобно будет бросить немецкое царство. Словом, изобретаются все средства поселить к службе всякого рода охлаждение». Ермолову вторит Киселев: «Деятельность моя ускромилась, или лучше сказать притуплена бездействием начальства, которое меня с учтивостью терпит... Убеждение в бесполезности заставит сложить ярмо, которое шесть лет ношу и которое при вас и от вас, любезные друзья, меня не тяготило, но теперь честолубие без пищи и пожертвование без цели; остается ожидать приговор судьбы, который кончит суетную жизнь, химер посвященную, для начатия другой, менее бли-

стательной, но более полезной»³. Вероятно, в этих строках есть и желание как-то утешить, сделать приятное Закревскому, но не только оно. Не лучшим образом настроен и Сабанеев: «Воронцов так же сед, как и я; мы живем с ним по соседству и нередко видимся... Что за удивительный человек, дай Бог таких людей более, но и им недовольны. Кто же может угодить? Никто, да и не надо угождать. Иди по чистой совести и по стопам заповеди, вот и все искусство управлять людьми, т. е. для управления людьми надобно сперва уметь управлять собою». Ясно, кому адресует Иван Васильевич это пожелание. В 1824 г. Сабанеев временно командовал 2-й армией и за несколько месяцев сэкономил 1,6 млн. руб. в сравнении с прошлогодней сметой. Однако царь не сказал ему и «полслова» благодарности: «Такое равнодушие к службе ревностной (если находят командование мое таковым) службе вредно, а мне унизительно. Так и быть. Покуда смогу служить буду я с тою же ревностию, как всегда»⁴. Закревский в декабре 1824 г. подал в отставку, но царь отклонил его прошение.

И в прежние годы герои этого рассказа ругали конкретных министров, Сенат, правительство вообще и позволяли себе осуждать самого царя. Однако не было таких широких и безысходных обобщений, скепсис не замешивался так густо на горечи, а раздражение было боевым, волевым что ли. Был настрой, они были готовы драться.

А сейчас руки словно опустились. Нет, разумеется, в этих руках еще помещались и Кавказ, и Финляндия, Новороссия и 2-я армия. И тем не менее.

Раздражение, не находящее выхода, загустевая, может превратиться в апатию.

Искоренить зло не в их власти. Когда политика правительства приходит в противоречие со здравым смыслом, труднее всего тем, кто имеет глаза и собственное мнение, что, впрочем одно и то же. Придворные остаются придворными, они не сомневаются, ибо сомнение — привилегия разума, но не веры.

«И нельзя от нас требовать такого ослепления, чтобы мы того даже и не видали».

Власть, со своей стороны, была ими недовольна и уже навсегда. Это тоже понятно. В момент, когда торжествуют «гасильники», **любые** проявления независимости имеют свойство увеличиваться и преувеличиваться в сознании.

Когда мы говорим об Александре I в период 1815—1825 гг., у нас есть тенденция чуть-чуть упрощать, спрямлять, пытаться провести прямую по кратчайшему расстоянию между наиболее зримыми ориентирами — поселениями, аракчеевщиной, Фотием, мистицизмом и т. п. Но в истории кратчайшее расстояние не всегда ведет к истине. Ведь кроме Фотия и Аракчеева есть польская конституция, «Уставная грамота», проекты освобождения крестьян, есть слова «не мне их (декабристов — *М.Д.*) судить».

Тем не менее в последние годы жизни состояние его таково, что он не верил уже не только Ермолову (это хотя бы можно попытаться понять), но и Киселеву, беспредельно преданному ему Киселеву (что непостижимо). Как известно, в его кабинете после смерти был найден следующий текст, написанный его рукой: «Пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается между войсками... Есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных

миссионеров для распространения своей партии Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров, сверх того большая часть разных штаб- и обер-офицеров»⁵.

Позже Нессельроде рассказывал, что Меттерних довел впечатлительного Александра до того, что даже он, Нессельроде, и кн. Волконский не могли быть уверены, что и их не обвинят в карбонарстве.

Воистину у страха глаза велики. Банальность половицы в данном случае несколько скрашивает то, что это глаза царя.

Время Александра — время молодости и зрелости наших героев, вместившее в себя, возможно, лучшие годы их жизни, кончалось. Двое из них потом станут министрами и графами, один — фельдмаршалом и князем, четверо из шести будут жить долго и переживут падение Севастополя, а трое — 19 февраля 1861 г. Но это будет другая эпоха.

Они в прямом и переносном смыслах были детьми XVIII столетия. Принадлежа по воспитанию, мировоззрению, мировидению «веку Екатерины», они с каждым годом все неуютнее чувствовали себя в военной системе Павловичей. До 1815 г. они были нужны, ибо во время войны нужны все, но затем Система постепенно кого-то из них выбросила, кого-то подмяла, приспособила к себе, но даже и в этом случае они резко выделялись на общем фоне (Воронцов, Киселев). В определенном смысле они — первые «лишние» люди русского XIX в., конечно, все в разной степени. Они не могли видеть русскую армию в «кандалах германизма», что, впрочем, имело мало отношения к реальной Германии. Они с трудом адаптировались к «новой формации».

Время, в котором они выросли, к которому привыкли, ибо не знали другого, кончалось. И разговоры об отставке, вероятнее всего, не поза, а трезвое осмысление того, что происходит вокруг, и своего места в этом мире.

Был ли другой выход?

Был ли другой выбор?

«Оппозиция его величества»

Мы знаем, что среди «важных государственных лиц», на сочувствие и, быть может, содействие которых рассчитывали декабристы, чаще других упоминаются имена Ермолова, Мордвинова и Сперанского. Но наряду с ними в показаниях декабристов мы встречаем и имена Воронцова, Закревского, Киселева.

Это, конечно, не случайно, и попытаться разобраться в этом необходимо. Однако сразу же заметим, что при исследованиях на тему «нет дыма без огня» очень важно не путать, условно говоря, горящую сигарету с пожаром на нефтебазе, к чему мы иногда очень склонны.

Уже говорилось о цепи якобы противоречивых поступков Ермолова и Киселева, которым, в отличие от Воронцова и Закревского, «разрешается» противоречивость. С одной стороны, они близки, они тяготеют к декабристскому кругу, прежде всего в смысле плохо скрываемого недовольства тем, что они видят в стране. Они лично близки со многими декабристами. Можно ли считать чистой случайностью, что два любимых адъютанта Ермолова, прошедших вместе с ним славные 1812–1814 гг. — М.А.Фонвизин и П.Х.Габбе, — были видными деятелями Тайного общества, а Н.П.Воейков, адъютант уже кавказского периода, при-

влекался к следствию, хотя и был оправдан? А Басаргин, адъютант Киселева? До какой степени простиралась дружба Киселева с Пестелем, Бурцевым и другими членами Южного общества?

Ермолов и Киселев как могли покровительствовали им, пытались облегчить их участь. Широко известно, что Ермолов фактически спас Грибоедова, дав ему возможность уничтожить все компрометирующие материалы, и аттестовал всех арестованных офицеров-кавказцев самым похвальным образом. В упоминавшейся уже главе «Ермолов и ермоловцы» в книге Нечкиной «Грибоедов и декабристы» показан «вольнодумный» пласт жизни и деятельности «Проконсула». Как, например, ведет себя Ермолов в истории с испанским революционером Ван-Галеном! Тот вступил на русскую службу, воевал на Кавказе, хотя и вопреки рекомендации «вышних». После начала революции в Испании царь приказал Ермолову выслать его с фельдъегерем и передать на границе австрийским властям. Ермолов поставил под сомнение царский приказ, дал ему 500 рублей золотом собственных денег и письмо к генералу Гогелю с просьбой о содействии. И написал царю и Волконскому весьма жесткие письма, недвусмысленно укоряя их за некорректные приказания. А таинственная история с пропажей списка членов Южного общества, доставленного Киселеву его агентурой и затем странным образом очутившегося не у начальства Киселева, а у декабриста Бурцева, который его уничтожил?! Версия о том, что Киселев сделал это намеренно, представляется убедительной.

С другой стороны, Ермолов и Киселев совершают ряд поступков резко диссонирующих, как считают

некоторые современники и особенно потомки, столько что названными. Об этом уже говорилось выше. Хотя и остается загадочный пока эпизод с задержкой присяги Кавказского корпуса Николаю I Ермоловым, но что он, в сущности меняет? Поднимать корпус, разбросанный на территории в несколько тысяч квадратных километров, и вести его против царя — до этого мог додуматься только сумасшедший, а Ермолов им не был, или революционер, которым он тоже не был, хотя в последние годы желание переместить его «влево» наблюдается у некоторых исследователей достаточно отчетливо.

На наш взгляд, между этими «линиями» поведения Ермолова и Киселева противоречие только внешнее, и внешнее постольку, поскольку их оценивают извне, со стороны. Заметим, что из круга людей, по-настоящему знавших того же Ермолова, упреки такого рода практически не слышны. Попытки же связать концы, исходя только из того, что видно всем и каждому, не всегда плодотворны.

Ведь помощь «несчастливым» — а декабристы в их глазах именно такими и были — прямая обязанность всякого нормального человека. Это норма людей их круга. Характерно, например, что Денис Давыдов обратил внимание на разжалованного декабриста Гангеблова, только узнав его историю. Можно привести немало примеров, когда они старались тем или иным способом облегчить участь пострадавших по разным причинам офицеров. Для наших героев такая помощь была разновидностью той постоянной заботы о подчиненных всех рангов, которая проявлялась и была совершенно обычной для них. Если их поддержкой пользовались люди благополучные в сравнении с де-

кабристами (тот же Якубович в 1825 г. был явно в более выгодном положении, чем в 1826 г.), то тем более на нее могли рассчитывать те, кто оказался в положении беспрецедентном по тому времени. Знаменитый эпизод с Грибоедовым произошел бы, окажись на его месте и другой человек. Сама постановка вопроса — спасти или выдать — была оскорбительна для них. С одной важной оговоркой — в пределах той свободы, которую им давало их положение или служба. Любой приказ имеет свое число «степеней свободы» и наши герои как опытные бюрократы это хорошо знали, как и «обязанность повиновения в точном смысле».

Легко представить, что Киселеву было неприятно передавать «наверх» список, в котором фигурировали его приятели, однако по должности он знал образ мысли приятелей приятелей, как, например, В.Ф.Равевского. Вот, например, что Киселев писал Закревскому по поводу будущего декабриста кн. Ф.Шаховского: «Отставьте Шаховского и удалите от военной службы всех тех, которые не действуют по смыслу правительства — все они в английском клубе безопасны, в полках же чрезмерно вредны. Дух времени распространяется повсюду, и некое волнение в умах заметно. Радикальные способы к исторжению причин вольнодумства зависят не от нас; но дело наше не дозволять распространяться оному, укрощать сколько можно зло. Неуместная и непрерывная строгость возродит его, а потому остается зараженных удалять и поступать с ними, как с чумными: лечить сколько возможно, но сообщение воспрещать. Вот, по-моему, чем обязаны прямые слуги Государя и верные сыны отечества, призванные к охранению общества от бед и напастей. Вот чем мы обязаны. Чем же обязаны стол-

пы государственные, не подлежит моему суждению и я о сем молчу.

Касательно армии я должен тебе сказать, что в общем смысле она, конечно, нравственнее других, но в частном разборе, несомненно, найдутся лица неблагомыслящие, которые стремятся, но без пользы, к возвращению других. Мнение их и действия мне известны, и потому, следуя за ними, я не страшусь какой-либо внезапности и довершу начатое. Сабанеев мне помощник отличный»¹.

Этот отрывок интересен во многих отношениях, но нам сейчас важно одно: эти строки со всей определенностью показывают, насколько далек от истины был Александр I, если считал Киселева одним из «миссионеров» Тайного общества. Здесь же нужно сказать, что отставки М.Ф.Орлова — вопреки некоторым мнениям — Киселев добивался не потому, что нужно было «зараженных удалять», а потому что для Орлова это был наивыгоднейший вариант в той ситуации, который избавлял его от следствия, в ходе которого ему было трудно оправдаться.

Теперь два слова о политике Ермолова в Дагестане. Дело не в том, что вообще говоря Ермолов был ничуть не более жесток, чем его преемники — Паскевич, Розен, Воронцов. Главное заключается в том, что набеги горцев Ермолов не только не рассматривал как борьбу свободолюбивых народов против колониального угнетения России, но и очень удивился бы, скажи ему кто-нибудь об этом. Горцы были для него грабителями и разбойниками, которые мешали нормальному развитию присоединенных к России территорий и казачьих областей. И если в 1812 г. Ермолов, не задумываясь, велел повесить русских солдат, уличенных

в мародерстве, то тем менее могли рассчитывать на снисхождение горцы. Свою основную задачу, как говорилось выше, он видел в превращении подвластных территорий в «русские уезды», а их жителей — в русских. Вопросы сохранения национальной самобытности десятками народов, населявших Кавказ и Закавказье, его совершенно не волновали. Он был твердо убежден, что «здесь без страха ничего не сделаешь». Его преемники были не столь откровенны, но действовали не менее решительно.

И все-таки имена Ермолова, Закревского, Воронцова и Киселева не случайно звучат в показаниях декабристов. Не случайно хотя бы потому, что на Паскевича, П.М.Волконского, Милорадовича или Васильчикова декабристы не рассчитывали. Следовательно было что-то, подкрепляющее их более или менее гипотетические надежды. Это «что-то», понятно, включало и прежнюю репутацию, и тот шлейф правды, неправды, слухов всех видов, который тянется за каждым значительным человеком, как спутная струя за самолетом, и который в большой степени формирует представление современников об этой личности. Современники в целом достаточно остро чувствуют, насколько тот или иной государственный деятель «вписывается» в господствующую линию государственной политики. Поэтому на фоне прогрессирующей обезлички верхов Империи, когда все дороже ценились не только мундиры, но и души, «застегнутые, как чемоданы» (слова Д.В.Давыдова), наши герои начинали выглядеть несколько старомодно. Отсюда же — по неизжитой привычке за высоким лбом Екатерины II непременно увидеть стриженную в скобку голову Пугачева — достаточно настойчивые попытки

«записать в карбонарии» того же Ермолова, которые предпринимаются в наши дни.

Мы уже говорили о том, что мнение о назначении Ермолова на Кавказ как ссылке по меньшей мере не учитывает точки зрения самого Алексея Петровича, хотя она обнародована более века назад. Тем не менее желание «сослать» Ермолова на Кавказ не ослабело до наших дней. Пример это частный, но показательный: так социальная репутация влияет на восприятие личности современниками и потомками. Легенда возникла, на наш взгляд, потому, что она удобно ложится на репутацию Ермолова, вечно преследуемого, вечно фрондирующего и т. п. И если ошибался Давыдов, хорошо знавший Ермолова, тем легче ошибались люди, наблюдавшие его со стороны.

Нечто подобное имело место и с другими героями этого рассказа. Их социальная положительная репутация и **видимое** всем поведение оставляли как будто некие резервы **скрытой** оппозиционности, сверх того, что было на виду. И этого уже было довольно, чтобы во времена, когда Власти требуются не личности, а бездумные исполнители, их подозревали в «карбонарстве». Причем подозревали по обе стороны уже почти готовой к тому времени «баррикады».

Но были ли эти потаенные резервы оппозиционности?

«Я прибыл в Тифлис в 1827 году, 2 февраля. В то время еще был главнокомандующим Алексей Петрович Ермолов, уже ожидавший смены и потерявший свою популярность; про него говорили тогда, что он только либерал-прапорщик; но он мог играть роль Валленштейна, если бы в нем было поболее патриотизма, если бы он при обстановке своей того времени и какого-то

трепетного ожидания от него людей ему преданных и вообще всех благородномыслящих не ограничился каким-то непонятным равнодушием, увлекшим его в бездейственность, в какую-то апатию, за которую Николай вместо благодарности заплатил ему неблагодарностью...» — так начинается очерк «Ермолов», приписываемый перу декабриста Цебрикова². Смысл этих резких и обидных слов ясен: Ермолов обманул, предал людей, веривших в него. Декабрист считает так: если ты порядочный человек, ты не можешь не быть с нами, теми, кто восстал против самодержавия, а если не поддержал нас, значит, — непорядочный.

Естественно, я не собираюсь «защищать» Ермолова от Ермолова. Тем более, что это не единственный взгляд на него из декабристской среды. Здесь важна альтернатива, перед которой Цебриков ставит Алексея Петровича, да и не только его. Но если такой взгляд со стороны столько перенесшего по тем временам, и все же менее не сломленного участника 14 декабря понятен и по-своему оправдан, то куда труднее согласиться с нынешними суждениями, которые, по сути, тоже ставят всех современников декабристов перед выбором: либо на Сенатскую площадь, либо в Грузино, к Аракчееву. Для Пушкина и Карамзина, к примеру, при этом делаются исключения. Не упоминаю уже о том, что иметь две логики для объяснения однопорядковых в принципе явлений, — это, как говаривал В.Б.Шкловский, «неправильный метод». Ведь в конечном счете и после 14 декабря остались люди, которые не пришли ни к первым, ни ко вторым, условно говоря. Последние годы правления Александра I — это еще не эпоха Выбора, а только одна из репетиций оного. Эта эпоха наступит век спустя. А ставить наших геро-

ев и им подобных перед дилеммой: либо Тайное общество (не говоря уж о цареубийстве), либо «передние» Аракчеева все равно, что предложить человеку на выбор — застрелиться или принять яду, когда у него есть возможность просто выйти вон в любую дверь.

Подобно большинству современников наши герои остались в стороне. Их многое сближает с декабристами, но в главном они расходятся. Так разные врачи, наблюдая одни и те же симптомы болезни, ставят разный диагноз и назначают разные методы лечения.

А реформы? Увы, император скорее всего был прав, когда в 1814 г. и позже говорил, что «нет людей». Воронцов и Киселев — этого мало для преобразования России. Впрочем, нет. Реформы нужно было поручить проводить Аракчееву и аракчеевцам. Они бы постарались сделать все сообразно желаниям царя, ибо по службе рассуждать не привыкли.

Нужно ли пояснять, что и в этом тоже — драма нашей Истории?



В 1909 г. в Англию поехала делегация III Думы. На обеде у лорда-мэра Лондона П.Н.Милюков произнес речь, в которой сообщил, что «пока в России существует законодательная палата, контролирующая бюджет, русская оппозиция останется оппозицией Его Величества, а не Его Величеству». К «русской оппозиции» это заявление имело очень косвенное отношение. Но эта знаменитая фраза очень точно обозначила некое явление. Действительно, почти во все времена, во всех странах, при всех режимах есть люди, выражающие свое недовольство нередко весьма гром-

ко, но притом никогда не посягающие на Основы и вовсе не от нехватки храбрости, а по убеждению, что Основы эти самые лучшие, правильные и т. д. при всех недостатках. Такие люди и составляют «оппозицию Его Величества», какое бы имя «Величество» не носило, в отличие от тех, кто видит свою задачу в замене Основ. Кредо первых — эволюция, вторых же — революция.

Судьба «оппозиции Его Величества» сравнительно благополучна в странах, где осуществились «конституционные мечтания», и куда менее спокойна в странах, имеющих «склонность» к деспотизму, особенно в периоды, когда эта «склонность» становится господствующей, а верховная власть не терпит возражения уже не только от врагов, но и от друзей, когда критерием лояльности выступает тщательность соблюдения формы, а не верность сущности содержания.

Герои этого рассказа — ярчайшие, быть может, представители «оппозиции Его Величества» своего времени. Они были людьми, прекрасно видевшими все пороки существующей системы, причем тем яснее, что принадлежали к элите государственных деятелей. Они порицали эту систему в том виде. Они страдали за нее, как только и могут страдать люди любящие свое Отечество. И все же несмотря ни на что, считали ее лучшей для той России, чем «мечтания» декабристов.

Мы уверены, что хорошо знаем, что им надо было делать, за кем идти, точнее, кого вести и куда.

Время как будто рассудило.

Но легче ли им, не знающим того?

И легче ли нам?

ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. Сборник Императорского Русского Исторического Общества (далее: РИО), т. 73, 78. СПб., 1890, 1892; Архив князя Воронцова (далее: АКБ) М., 1891.
2. РИО, т. 73, с. 531–532.

«ГОСУДАРЬ» или «ОТЕЧЕСТВО»?

1. АКБ, т. 37, с. 303; РИО, т. 73, с. 277, 504; т. 78, с. 182.
2. АКБ, т. 39, с. 392; РИО, т. 73, с. 224, 227, 395, 502, 570.
3. РИО, т. 78, с. 124; т. 73, с. 240.
4. Там же, с. 273, 277, 503.
5. Там же, с. 234; Давыдов Д.В. Собр. соч. СПб., 1895, т. 3, с. 231–232.
6. *Марасинова Е.Н.* Эпистолярные источники о социальной психологии российского дворянства (последняя треть XVIII в.) // История СССР. 1990, №4, с. 167.
7. РИО, т. 73, с. 252, 534, 581, 590.
8. Там же, с. 197, 198, 317, 327, 568.
9. *Ермолов А.П.* Записки. 1798–1826. М., 1991, с. 197; РИО, т. 73, с. 209.
10. *Погодин М.Н.* А.П.Ермолов. Материалы для его биографии. М., 1863, с. 112. (Ср. 1812–1814. Реляции. Письма. Дневники. М., 1992, с. 176–177); Шильдер Н.К. Император Александр I. т. 3. СПб., 1876, с. 336.
11. *Михайловский-Данилевский А.И.* Император Александр I и его сподвижники в 1812–1815 гг. т. 6. СПб., 1848–1849, с. 202.
12. РИО, т. 78, с. 220–221, т. 73, с. 221–222, 567.
13. РИО, т. 73, с. 248.
14. Там же, с. 291.
15. *Ермолов А.П.* Записки, с. 175, 262.
16. РИО, т. 73, с. 512, 499, 503.

17. *Погодин М.Н.* Ук. соч., с. 112.
18. Русская старина, 1872, №7—12 (кн. VI), с. 498.
19. РИО, т. 78, с. 271.

«ПРАВИЛА»

1. *Ермолов А.П.* Записки, с. 36, 102.
2. Старина и новизна. Кн.V. СПб., 1902, с. 148—149.
3. РИО, т. 73, с. 499, 593.
4. Там же, с. 256—257.
5. Там же, с. 270.
6. Там же, с. 194.
7. Там же, с. 355, 377, 419—420.
8. РИО, т. 78, с. 212.
9. *Басаргин Н.В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988, с. 74.
10. Русская Старина, 1872, кн. V, с. 625.
11. Старина и новизна. Кн. V. СПб., 1902, с. 125.
12. Там же, с. 143.
13. *Ермолов А.П.* Записка о посольстве в Персию, с. 62. В кн.: *Ермолов А.П.* Записки. М., 1868, т. 2.
14. РИО, т. 73, с. 268—269.
15. Там же, с. 273—274.
16. Там же, с. 269.
17. Там же, с. 247—248.
18. *Давыдов Д.В.* Стихотворения. Л., 1984, с. 67.
19. РИО, т. 73, с. 508.
20. АКВ, т. 37, с. 296—297.
21. *Ермолов А.П.* Записки. М., 1991, с. 134.; Записка о посольстве в Персию, с. 25—26.
22. РИО, т. 73, с. 590.
23. *Ермолов А.П.* Записки. М., 1991, с. 117—118.
24. РИО, т. 73, с. 513, 520.
25. *Толстой Л.Н.* Собр. соч. М., 1951, т. 6, с. 44.
26. *Ермолов А.П.* Записки. М., 1991, с. 32.
27. РИО, т. 73, с. 271.
28. РИО, т. 78, с. 220—221.

ЗАКРЕВСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ

1. РИО, т. 73, с. 512.
2. РИО, т. 78, с. 182, 183.
3. *Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1892, ч. 4, с. 179.
4. РИО, т. 78, с. 331—332, 333, 362.
5. АКВ, т. 37, с. 264, 267—268, 271, 281, 284, 290, 298, 301, 328.

ВОРОНЦОВ ВО ФРАНЦИИ

1. РГАДА, ф.1261, оп.1, д. 2164, л. 1.
2. *Вигель Ф.Ф.* Ук. соч., ч. 5, с. 138, 139.
3. РГАДА, ф.1261, оп. 1, д. 2164, л. 8—9, 206—3, Юоб—11, 15.
4. «Русское Слово». 1912 г., № 149.
5. РГАДА, ф.1261, оп. 1, д. 2164, л.П-Поб., 306—4, 5, 13.
6. АКВ, т. 39, с. 401—402, т. 37, с. 425—426, с. 260.
7. РИО, т. 73, с. 479—480; АКВ, т. 37, с. 263.
8. РИО, т. 73, с. 481, 484—485; АКВ, т. 37, с. 279—280.
9. Русский архив. 1912, кн. 2, № 7, с. 360.
10. *Шильдер Н.К.* Император Александр I. т. 4. СПб., 1897, с. 209—210.
11. *Вигель.* Ук. соч., с. 139; Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 240; *Фонвизин М.А.* Сочинения и письма, т. 1. Иркутск, 1979, с. 24—25.
12. РИО, т. 78, с. 18—19, 200.

ЕРМОЛОВ НА КАВКАЗЕ — 1

1. РИО, т. 73, с. 193.
2. АКВ, т. 36, с. 154.
3. Там же, с. 174—175.
4. РИО, т. 73, с. 196, 213, 233 и др.
5. Там же, с. 271.
6. Там же, с. 222.
7. Там же, с. 263.

САБАНЕЕВ В БЕССАРАБИИ

1. Русский архив. 1912, кн.2, №6, с. 198; РИО, т. 73, с. 194, 516.
2. РИО, т. 78, с. 7, 19, 48, 88, 196, 200.
3. *Раевский В.Ф.* Материалы о жизни и революционной деятельности, т. 2. Иркутск, 1983, с. 312—313.
4. РИО, т. 73, с. 306, 570—571, 574.
5. АКВ, т. 39, с. 433—435.
6. *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Граф П.Д.Киселев и его время. СПб., 1882, с. 83, 86.
7. АКВ, т. 39, с. 452, 456, 457, 461—462. .
8. РИО, т. 73, с. 577—578.
9. *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Ук. соч., с. 86, 87.

КИСЕЛЕВ НА УКРАИНЕ

1. *Басаргин Н.В.* Ук. соч., с. 53—54.
2. РИО, т. 73, с. 575, 577.

3. Там же, т. 78, с. 34, 197.
4. Там же, т. 73, с. 17, 33, 34 и др.
5. Там же, т. 78, с. 19–20, 34, 52, 214.
6. Там же, с. 59, 89, 203, 218, 225, 241–242.
7. *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Ук. соч., т. 4, с. 7–8.
8. Там же, т. 1, с. 50.
9. РИО, т. 78, с. 217.

ЕРМОЛОВ НА КАВКАЗЕ—II

1. РИО, т. 73, с. 217.
2. Там же, с. 206.
3. Там же, с. 217–218, 226 и др.
4. Русский архив. 1886, кн. 3, с. 325.
5. АКВ, т. 36, с. 161.
6. РИО, т. 73, с. 300.

«СМИРСЬ КАВКАЗ»?

1. *Ермолов А.П.* Записки. 1798–1826, с. 338–339; РИО, т. 73, с. 198, 204–205.
2. АКВ, т. 36, с. 183–184.
3. РИО, т. 73, с. 205, 218.
4. Там же.

«БРЕДНИ ПРЕПОРЯДОЧНЫЕ...»

1. АКВ, т. 37, с. 306, 318, 320, 322, 331.
2. Военный сборник. 1861, т. 6, с. 345; РИО, т. 73, с. 295.
3. *Якушкин И.Д.* Записки, письма и статьи. М., 1951, с. 151; Трубецкой СП. Материалы о жизни и революционной деятельности. т. 1. Иркутск, 1983, с. 221; РИО, т. 73, с. 284.
4. РИО, т. 78, с. 189.
5. Там же, т. 73, с. 284.
6. Там же, т. 78, с. 214.
7. *Ячменихин К.М.* Структура Новгородских военных поселений и их управление // История СССР. 1989, №1; Он же: Военные поселения на Кавказе в 30–50-е годы XIX в. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1991, №4; Кандаурова Т.Н. Военные поселения в России. 1810–1857 гг. (проекты и их реализация) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1990, №1 и др. работы.
8. *Кандаурова Т.Н., Давыдов Б.Б.* Военные поселения в оценке современников // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1992, №2.
9. Там же, с. 44.
10. РИО, т. 78, с. 246.

11. Там же, с. 253.
12. *Кандаурова Т.Н., Давыдов Б.Б.* Ук. соч., с. 52.
13. Они же, с. 253.
14. *Ячменихин К.М.* А.А. Аракчиев // Вопросы Истории. 1991, №12, с. 45.
15. РИО, т. 73, с. 284, 301. *Ермолов А.П.* «Письма...», с. 35.

**«УЖАСНЕЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»
«РЕЧИ ПРЕКРАСНОЙ»**

1. АКВ, т. 37, с. 271, 310.
2. *Карамзин Н.М.* Неизданные сочинения и переписка. ч. 1. СПб., 1862, с. 6—7.
3. РИО, т. 73, с. 2, 280, 496; т. 78, с. 2, 192, 428.
4. РИО, т. 73, с. 496.

О ВРЕДЕ МОДНЫХ МЫСЛЕЙ

1. *Ермолов А.П.* Письма. Махачкала, 1926.
2. *Тургенев Н.И.* Россия и русские. Ч.3 // Библиотека декабристов, б.м., 1908, кн.1, с. 125—126.
3. Русский архив, 1912, кн.2, №7, с. 343—344.
4. *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989, с. 99, 113—116.
5. Русский архив, 1912, кн. 2, №7, с. 355.
6. *Тургенев Н.И.* Письма. М.—Л., 1936, с. 302.
7. *Мироненко С.В.* Ук. соч., с. 135—136.
8. *Тургенев Н.И.* «Письма...», с. 309.
9. Русский архив, 1912, кн. 2, №7, с. 363—364.
10. РИО, т. 78, с. 226.
11. *Ермолов А.П.* «Письма...», с. 34.

ЕРМОЛОВ В ПЕРСИИ

1. АКВ, т. 36, с. 155.
2. РИО, т. 73, с. 245.
3. «Записка о посольстве в Персию...», с. 9—10.
4. Там же, с. 38, 63.
5. Там же, с. 22—23.
6. Там же, с. 53, 16.
7. Там же, с. 73.
8. РИО, т. 73, с. 279—280.

НУЖНЫ ЛИ РОССИИ РЕФОРМЫ?

1. См., например, *Русская идея.* М., 1992.
2. *Дурново В.И.* Россия и Европа: обзор материалов по истории русской исторической мысли конца XVIII — начала XIX в. М., 1985, с. 45—76.

3. *Болтин И.* Примечания на историю древняя и нынешняя России г.Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным, б.м., 1788, т. II, с. 152—153.
4. *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. М., 1982, с. 353—354.
5. «Записка о посольстве в Персию...», с. 59.
6. *Сперанский М.М.* Проекты и записки. М.—Л., 1961, с. 43, с. 155—156.
7. Там же, с. 153.
8. Там же, с. 164.
10. *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении. М., 1991, с. 44—47, 49.
11. Там же, с. 49.
12. Там же, с. 46—47.
13. Там же, с. 99—100.
14. Там же, с. 101.
15. *Пытин А.Н.* Общественное движение в России при Александре I: Исторические очерки. СПб., 1871, с. 229—230.

СЛЕПОЙ НА СКАЛЕ

1. Продолжение Древней российской вивлиофики. ч. 1, содержащая Правду русскую и Судебник царя и великого князя Ивана Васильевича с приложением г. тайного советника В.Н.Татищева. СПб., 1786, с. 175.
2. *Болтин И.* Ук. соч., т. 2, с. 235—236; т. 1, с. 174.
3. ЧОИДР, 1861, кн.3, отд. V, с. 98—134.
4. *Дашкова Екатерина.* Записки. 1743—1810. Л., 1985, с. 79—80.
5. Там же, с. 80—81.
6. *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России..., с. 73.
7. Там же, с. 73—74.
8. *Карамзин Н.М.* Сочинения, т. 7, СПб., 1835, с. 252.
9. Русский архив, 1886, кн. 2, с. 8—9
10. *Сперанский М.М.* Ук. соч., с. 44—45, 51.

НЕМНОГО О КОНСЕРВАТИЗМЕ ПРАВЯЩИХ КЛАССОВ ВООБЩЕ И РОССИЙСКИХ В ОСОБЕННОСТИ

1. *Витте С.Ю.* Воспоминания, т. 2, М., 1960, с. 498.
2. Там же, с. 519.

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕНИЯ»

1. *Ланда С.С.* Дух революционных преобразований. М., 1975, с. 159—160.

Оппозиция его величества

2. *Дружинин Н.М.* Государственные крестьяне и реформа Киселева, т. 1, М.—Л., 1946, с. 270.
3. Там же.
4. Там же, с. 269.
5. РИО, т. 73, с. 57. Закревский отвечал на это: «Нет сомнения, что Михаила Орлов, женившись, остепенится и к хорошим своим качествам прибавит скромность, которой у него доселе не доставало». Там же, с. 156.

«ЧЕГО ХОТЯТ СИИ ЗЛОДЕИ?»

1. РИО, т. 78, с. 204.
2. Там же, т. 73, с. 354.
3. Там же, с. 14—15, 16.
4. Там же, с. 536.
5. Там же, с. 16—17.

МИРНЫЙ БУНТ

1. РИО, т. 73, с. 108—109.
2. *Дневник Павла Пущина.* Л., 1987, с. 49—52, 93.
3. РИО, т. 73, с. 114.
4. *Ермолов А.П.* «Письма...», с. 42—44.
5. РИО, т. 78, с. 234—236, 245.
6. РИО, т. 73, с. 113, 134, 149, 51, 60.
7. РИО, т. 78, с. 258.
8. РИО, т. 73, с. 534—535.
9. *Басаргин Н.В.* Ук.соч., с. 63—64; РИО, т. 73, с. 78.
10. *Морозов Н.* Воспитание генерала и офицера как основа побед и поражений. Вилью, 1909 г., с. 49; Русский архив, 1912, кн.2, с. 368.
11. РИО, т. 78, с. 235.
12. Русский архив, 1904, кн.3, с. 82—86.
13. РИО, т. 73, с. 533—534.

ИДЕАЛ

1. *Давыдов Д.В.* Военные записки, с. 44—45.
2. *Ермолов А.П.* Записки. 1798—1826, с. 150.
3. Русский архив, 1873, кн. 1, стлб. 456.
4. *Окуль С.Б.* История СССР. Конец XVIII — начало XIX в. ч. 1. Л., 1974, с. 59; *Лавин Вл.* Ук. соч. с. 57; Русский архив, 1912, кн. 2, с. 146—148.
5. *Давыдов Д.В.* Военные записки, с. 90.
6. АКВ, т. 23, с. 67.
7. *Давыдов Д.В.* Ук. соч., с. 117; 1812—1814. Реляции. Письма. Дневники. М., 1992, с. 278—279.

«САМОЕ ТРУДНОЕ РЕМЕСЛО»

1. АКВ, т. 36, с. 467.
2. *Раевский В.Ф.* Материалы и жизни и революционной деятельности, т. 1, Иркутск, 1980, с. 86, 89–90.
3. РИО, т. 78, с. 90–91, 259, 104.
4. Цит. по: *Гершензон М.О.* Грибоедовская Москва. *П.Я.Чаадаев.* Очерки прошлого. М., 1989, с. 255–25.
5. *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М., 1990, с. 231; Русский архив, 1886, кн. 2, с. 186–188.
6. АКВ, т. 36, с. 158, 163; РИО, т. 73, с. 236.
7. РИО, т. 73, с. 288–289; Русский архив, 1886, кн. 3, с. 327–328.
8. *Ермолов А.П.* «Записки...», с. 147.
9. Русское Слово, 1912, №85.
10. РИО, т. 78, с. 62, 241, 89, 257.
11. Русский архив, 1912, кн. 2, №7, с. 372–373.
12. РИО, т. 73, с. 22, 114–115, 27, 125.
13. Русский архив, 1904, кн. 3, с. 85–86.
14. *Лунин М.С.* Сочинения, письма, документы. Иркутск, 1988, с. 21.
15. РИО, т. 78, с. 25.
16. *Греч Н.И.* Ук. соч., с. 237–238
17. *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Ук. соч., с. 221–224; РИО, т. 78, с. 58.
18. *Шкловский В.Б.* Сентиментальное путешествие. М., 1990, с. 81.

«МЯТЕЖ НЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ УДАЧЕЙ»

1. *Ермолов А.П.* «Письма...», с. 24–25.
2. Русская старина, 1872, №11, с. 371–372.
3. Там же.
4. *Семенова А.В.* Временное правительство в планах декабристов. М., 1982, с. 115–116.
5. *Давыдов Д.В.* Военные записки. М., 1940, с. 43; Русский архив, 1873, кн.1, стлб.435.
6. ЧОИДР, 1862, октябрь-декабрь, с. 165.
7. Русская старина, 1872, №11, с. 374.
8. РИО, т. 73, с. 354–355, 436.

ПОХМЕЛЬЕ НА ЧУЖОМ ПИРУ

1. РИО, т. 73, с. 43.
2. Николай Михайлович, вел.кн. Александр I: опыт исторического исследования. СПб., 1913, т. 2, с. 375.
3. РИО, т. 73, с. 336.

Оппозиция его величества

4. *Шильдер Н.* Ук. соч., т. 4, с. 194.
5. Русский архив, 1879, №4, с. 520.

«ИСТОРИЯ ПРОСЛАВИТ НАШЕ ВРЕМЯ»

1. РИО, т. 78, с. 63—64, 243—244.
2. Там же, с. 70; т. 73, с. 583.
3. РИО, т. 78, с. 249—250.
4. РИО, т. 73, с. 386, с. 389, 398.

«ПОРЯДОК ДЕЛ В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ НИКОГДА НЕ УЛУЧШИТСЯ»

1. РИО, т. 73, с. 584.
2. РИО, т. 78, с. 241, с. 269.
3. РИО, т. 73, с. 375, с. 378, 379, 390, 391.
4. Там же, с. 378, 404, 534.
5. Там же, с. 396, 401.

«КТО ЖЕ МОЖЕТ УГОДИТЬ?»

1. РИО, т. 73, с. 81.
2. РИО, т. 78, с. 139, 287.
3. РИО, т. 73, с. 425, т. 78, с. 140—141.
4. РИО, т. 73, с. 592, 595.
5. *Мироненко С.В.* Страницы тайной истории самодержавия. М., 1990, с. 95.

«ОППОЗИЦИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

1. РИО, т. 78, с. 86.
2. Исторический сборник вольной русской типографии в Лондоне А.И.Герцена и Н.П.Огарева, кн.2, 1861., с. 240.

По вопросам оптовой покупки книг
«Издательской группы АСТ» обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги «Издательской группы АСТ» можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140, АСТ – «Книги по почте»

Литературно-художественное издание

Давыдов Михаил Абрамович

Оппозиция его Величества

Компьютерная верстка: *А. Щукин*
Корректор *В. Борисова*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Издание осуществлено при техническом содействии
ООО «Издательство АСТ»

Издательство «Зебра Е»
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 11
тел./факс (095) 631-25-55
e-mail: zebrae@rambler.ru
forzebrae@mtu-net.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
ФГУП «Издательство «Самарский Дом печати».
443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.

Эта книга о генералах 1812 г. — М.С.Воронцове, Д.В.Давыдове, А.П.Ермолаеве, А.А.Закревском, П.Д.Киселеве и И.В.Сабанееве, о шести друзьях, принадлежащих к лучшим русским людям своего времени. Герои великих сражений начала XIX в., они сумели сохранить себя и свое достоинство и в дни мира, когда жизнь поставила перед ними непростой выбор. Судьбы героев книги, людей отважных, благородных и искренних, не оставят равнодушными любителей истории и в наши дни.

«Михаил Давыдов принадлежит к числу тех историков, для кого источник — не инструмент, используемый для возведения научных конструкций, а почва, из которой они прорастают, сохраняя взятое у нее тепло. Главное обаяние книги — ощущение нерасчлененного шума Времени.

Автором двигал тот единственный импульс, который создает настоящего историка, — любовь к определенной эпохе и определенным людям, если и способным объяснить что-либо в нас самих, то лишь силу этой и значительной любви».

Л. Юзефович

Историческая библиотека

ISBN 5-94663-197-7



9 785946 631976 >

